



ГУБЕРМАН

ИГОРЬ

**ШТРИХИ
К ПОРТРЕТУ**

*Светлой памяти
Натана Яковлевича
Эйделямана*

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

ПШТРИХИ
ПОРТРЕТУ

formaff

Москва 1994

ББК 84Р7
Г 93

Г $\frac{4702010201}{078(02)-94}$ — Без объявл.

ISBN 5-235-02244-0

© Игорь Губерман, 1994
© АО «Молодая гвардия»,
1994.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Не знаю, когда я допишу эту книгу про Вас, уважаемый Николай Александрович, но начать ее я должен непременно здесь и сейчас. Пока восемьдесят четвертый год на дворе, пока мы с Вами ровесники. Мне сейчас сорок восемь, почти столько же было Вам, когда ранней весной тридцать восьмого года Вас расстреляли на грязном утоптанном снегу возле лагерного поселка Чибью. Там теперь большой и шумный город Ухта, и только редкие старики помнят отчетливо (хотя и вспоминают неохотно), ценою жизни скольких зеков поднялся этот город, ныне беспамятно прозябающий на костях.

Не знаю, как другие, но я уверен, что умершие где-то существуют. Они лишены возможности вмешиваться в жизнь живых, но наблюдать ее могут наверняка. Наша память — источник их существования. Именно поэтому, мне кажется, люди так боятся одиночества — словно знают, что одиночество при жизни обрекает их на небытие после смерти. Не отсюда ли отчасти наша жажда продлиться в детях? И желание иметь близких. И тоска по друзьям, если их нет. Впрочем, незачем развивать эту тему — Вы ведь знаете, о чем я говорю. Вас-то помнят, и не забытость, должно быть, мучает Вас, а невозможность отомстить за свою оборванную жизнь. Только кому же, Николай Александрович? Жуткая мясорубка тех десятилетий прокрутилась, не завершившись Нюрнбергским процессом. А ведь сколько миллионов душ обрело покой, если б этот суд состоялся в России! Хотя бы заочный, ибо умерли и большинство

палачей. Впрочем, Вы и это знаете гораздо лучше меня.

Я пишу это сейчас в городе Малоярославце, в доме Вашей старшей дочери, где впервые о Вас услышал, случайно сюда попав. Она читала мне сегодня днем Ваши стихи: освещенные Вашей жизнью и смертью, они показались мне прекрасными. Будь Вы живы, я бы отнесся к ним достаточно равнодушно. Уж извините. Я и сам пишу стихи — видимо, дело в этом. «Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой». Помните, конечно? Как Вы, кстати, относились к Блоку? Современника, вряд ли Вы обожествляли его, как мы. Впрочем, Вы служили по нему в Москве панихиду и читали с амвона церкви его стихи — но к этому мы еще вернемся. Вы дружили с Осипом Мандельштамом много лет — он однажды упомянул Вас в своей «Египетской марке» — священника, отца Бруни, с пакетом кофе в руках. Вряд ли Вы читали это при жизни. А про его смерть в лагере Вам уже узнать не привелось, в одном возрасте с ним Вас настигла гибель, только Ваша была более легкой. Более быстрой, я имею в виду. Он ругал Ваши стихи как-то в разговоре с Ахматовой — у нее об этом сохранилось несколько слов в одной из записных книжек. Что поделаешь, он был безжалостен в своих суждениях о коллегах. Зачем я все это пишу сейчас и здесь, зачем болтаю? Просто боюсь приступить к главному — объясниться, почему решился и осмелился о Вас писать. А надо бы. Уже пора.

Очень быстро уходит и стирается в памяти то время. Уже умерли современники Ваши, очень мало воспоминаний осталось, да и те где-то в рукописях хранятся, сожжены дневники и письма (кроме тех, что отобраны при обысках), еще молчат архивы, да и немного будет материалов, связанных с Вами.

Ваши современники сейчас — как тени, оставшиеся на стенах после взрыва бомбы в Хиросиме. Даже камень тогда выцвел мгновенно от кошмарного атомного сияния, и человеческие силуэты — тени людей — сохранились поэтому на камне. Чьи они — уже неизвестно. Такая же — только растянувшаяся во времени — катастрофа произошла в России. И одну из таких теней мне остро захотелось восстановить. Помните — об оживлении мертвых писал когда-то чудаковатый русский философ? Даже общим делом это назвал, то есть общим долгом. Я согласен с ним в смысле памяти: мертвые должны хотя бы заговорить. Как можно боль-

ще убитых в этом многолетнем истреблении должны заговорить. Ибо ведь погибли лучшие, Николай Александрович, Россия страшный геноцид над собой осуществила. Помните, как мечтали о революции русские интеллигенты? Догадываясь, что она их уничтожит, не веря в это, призрачно надеясь, отказываясь трезво понимать. Сбылось. Вы естественно оказались в их числе. Сколько у Вас способностей было разных! Я сегодня услышал о них впервые. И услышанное — поразило меня.

Уже ночь. Я сижу возле стола; прямо надо мной на стене — Ваш автопортрет, вывезенный Вашей женой из лагеря.

Рисунок этот — прекрасен. У Вас типичное лицо одаренного российского интеллигента: мягкое и твердое одновременно, с высоким лбом под шапкой небрежно откинутых назад волос, усмешливые (ни следа страданий) большие пронизательные глаза. Негустая вьющаяся борода. Худощавость, тонкие скулы, чуть тронутый улыбкой рот. Доброжелательство, готовность понять, любопытство к миру. Именно этот образ был напрочь истреблен в России всего за два стремительных десятилетия. Сейчас снова появляются такие лица, и это очень обнадеживает мою душу.

В Тенишевском училище Вы уже писали стихи, по закончив, поступили в Петербургскую консерваторию. Обнаружив и к музыке способности чрезвычайные — композитора, исполнителя, импровизатора. Немыслимо разносторонняя одаренность клубилась в генах Вашего древнего рода. Истинным Вы были сыном и участником того странного, очень короткого в России, ярко одухотворенного времени, справедливо названного Серебряным веком. Возрожденческая это была одаренность... Но взгляните-ка теперь сторонним глазом на всю Вашу дальнейшую судьбу — это будет лучшим объяснением тому, что я так увлекся Вашей жизнью.

...Десятые года века. Николай Бруни блестяще закончил консерваторию (учителя дружно прочили концертную славу), живет частными уроками музыки, безоглядно наслаждается жизнью (весел, умен, красив и азартен), пишет стихи, уже печатает их, член Цеха поэтов — того первого, легендарного ныне, собранного Гумилевым. Дружит Николай Бруни с лучшими (интереснейшими, во всяком случае) людьми своего поколения. А еще хватает времени и страсти играть в первой

футбольной команде, тогда возникшей в Петербурге.

Наступает подлинное, а не календарное начало двадцатого века: первая мировая война. И немедленно все оставив, уходит Николай Бруни на фронт в качестве санитар-добровольца. Вскоре именно под таким названием («Записки санитар-добровольца») публикует он фронтовые свои заметки в журнале.

Еще год — Бруни заканчивает летную школу, он в отряде первых русских военных летчиков. Трижды Георгиевский кавалер, за находчивость произведен в прапорщики. В сентябре семнадцатого самолет разбивается. Второй пилот (он же стрелок) — погибает сразу, а в искалеченном Николае Бруни еле-еле еще теплится жизнь, слабо и неуверенно пробивается пульс. Врачи колеблются, стоит ли его лечить, на всякий случай из чисто профессиональной добросовестности зашивают раны и накладывают гипс на переломанные руки и ноги.

И тут у него — видение. Или галлюцинация. Разве дело в названии, когда ясно и четко видит он возле своей больничной кровати участливо склонившуюся к нему деву Марию, пресвятую заступницу всех скорбящих? Она молча смотрит на него, и он дает ей обет: если останется в живых, то примет сан священника, посвятит свою жизнь служению ее Сыну.

И приходит в себя. И стремительно начинает выздоравливать. Срастаются кости, заживают рваные раны, полную сохранность обнаруживает рассудок после страшной черепной травмы. И, конечно же, Бруни исполняет данный в беспамятстве обет.

Свое служение Николай Бруни начал в двадцать первом или двадцать втором году. Замечательно подходящее время, чтобы быть в России священником. Уже семья к тому времени была (да и нельзя священнику без семьи), двое детей (всего их будет шестеро), проступила первая седина.

Все благополучно шло до двадцать седьмого года, когда просто-напросто закрыли церковь (срочно овощехранилище понадобилось), и он счел это за разрешение свыше прекратить обет служения.

Переехала семья Бруни под Москву и около двух лет терпела страшную бедность, ибо глава семьи перебивался лишь случайными заработками. Пока не встретил старого приятеля по летной школе; тот пригласил работать переводчиком в авиационном институте. С че-

тырех европейскнх языков (знал с детства) переводит Бруни специальную техническую литературу. Года два. После чего — не случайно же всю жизнь обожал он Леонардо да Винчи именно за разбросанность талантов и интересов — обнаружил незаурядные конструкторские способности.

Тут бы вот жить и жить. Семья, великолепная работа, даже две комнаты дали в старом бараке на окраине Москвы, поблизости от института. Старшему сыну шел уже пятнадцатый год, годовалая младшая была шестым в семье ребенком.

Арестовали его девятого декабря тридцать четвертого года. Ибо, услышав об убийстве Кирова, громко сказал инженер Бруни: «Теперь свой страх они зальют нашей кровью». Статья обвинения известна доподлинно: знаменитая ныне на весь мир пятьдесят восьмая — пресловутая, проклятая, повальная. Срок небольшой — пять лет.

Как обычно тогда было это, как буднично — правда же, Николай Александрович? Только каждый полагал, что мимо просвистит, что его минует сия чаша. Странной это все игрой казалось. Хотя смертельной, но игрой. Выписал я из прочитанных недавно мемуаров одно письмо конца двадцатых годов: «Миша очень милый и интересный. Отбыл наказание после войны, вернее, он был на проверке пять лет без обвинения и статьи, а теперь попал под амнистию».

Не правда ли — замечательно спокойная интонация? Подержали ни за что пять лет и выпустили по амнистии. И за то спасибо. Игра. Непонятных и разнузданных стихий игра.

Оказался Бруни в лагере в Чибью. На реке Ухте, на севере державы разворачивалось строительство гигантского нефтепромысла.

И снова повезло невероятно, ибо стал он лагерным художником. Это обещало жизнь, и его письма к родным полны любви, надежды, шуток. Более того — в тридцать седьмом, когда вся страна так пышно и громко отмечала столетие смерти Пушкина, словно шумиха эта призвана была заглушить звуки повсеместных расстрелов, получил зек Бруни почетный заказ: поставить памятник Пушкину в разрастающемся городке для надзорсостава и вольнонаемных работников. Это была первая в его жизни работа скульптора (раньше, прав-

да, много по дереву вырезал), и он блестяще выполнил ее.

Очень распахнутый, очень свободный, словно с наслаждением дыша морозным воздухом, сидел российский гений на скамье, вольно откинув руку. Так что не случайно памятник этот стал украшением города.

А тогда Вам за него дали свидание, и жена, три дня пробыв у Вас, привезла два рисунка и тетрадь стихов.

А весной тридцать восьмого перестали приходить из лагеря письма. Жена слала телеграммы, запрашивала начальство, в какую-то центральную контору ходила. Плакала, умоляла, настаивала. Ждите, отвечали ей, перевели, должно быть, этапы длятся очень долго.

Так она и ждала до начала войны. Вас давно уже не было в живых. В феврале или марте тридцать восьмого расстреляли Вас на лагпункте Ухтарка — специальное такое место было там для коллективных убийств, вроде Кирпичного завода под Воркутой — эти места еще войдут в историю России, станут в ней нарицательными, символами эпохи станут. Непременно, но еще не знаю когда.

А расстреливала Вас специальная палаческая группа Кашкетина, уже описанная в статьях и книгах. Семья о Вашей смерти узнала двадцать лет спустя. История страны по всей Вашей семье прокатилась к тому времени чугунным катком. Но об этом я чуть позже расскажу отдельно и намного подробней.

Что же есть у меня для книги о Вас, Николай Александрович? Почти ничего. Та тончайшая канва биографии Вашей, что помнят дочери, небольшая тетрадь чудом сохранившихся стихов, письма из лагеря — одно или два (остальные сожгли, была такая ситуация в доме, по-русски банальная: ждали обыска, так что не обижайтесь), надеюсь разыскать (вряд ли) хоть немного знавших с Вами стариков. Очень поздно я за это взялся, Николай Александрович. Ушли ровесники Ваши, да и младшие современники — тоже в большинстве своем ушли. А тень Вашу восстановить мне очень хочется. Верней, Ваше лицо — по этой тени. Не уверен, что сумею и повезет. Но постараюсь. Поверьте мне — постараюсь.

Кончилась страница, и литератор Илья Рубин чуть откинулся назад, приятно ощущая твердый уют полу-

круглой спинки стула. Снял очки, закурил и ощутил одновременно — радость, что положено начало, страх, что не справится с задуманным, нервный азарт неведомой доселе работы. Раньше он писал статьи и очерки, популярные книги о науке, сценарии документальных фильмов, просветительские халтуры для телевидения. Это давалось ему легко, усилий души и разума почти не требовало. Теперь надо было рыться в воспоминаниях (где их возьмешь?), наудачу и наугад отыскивая в них следы Бруни, что-то сочинять — из эпохи, которую он не знал, искать и расспрашивать стариков (жив ли еще кто-нибудь?), лезть в архивы — скорей всего напрасно, главное — найти форму повествования, чтобы стала выпуклой и живой фигура необыкновенного человека с обычной для эпохи судьбой. Топилась печка, пламя классически ровно гудело в ней, хрестоматийно потрескивали березовые дрова, со стены смотрел прямо на Рубина — и мимо него — человек с негустой курчавой бородкой, иронической усмешкой в глазах и замечательно высоким лбом. Его ровесник — герой задуманной документальной книги. Напечатать ее, конечно, не удастся, ибо слишком много в ней окажется всякой правды о кровавом и несправедном времени.

Ну и наплевать, что не удастся, надо же когда-нибудь начинать писать по-настоящему. Только хватит ли знаний, понимания, пороха? Хорошо бы... А кормиться пока можно халтурами.

Следует сказать, что у литератора Ильи Рубина все же были основания надеяться, что он справится и книгу напишет. Знаниями был он современен и вполне под стать коллегам, то есть, окончив школу и институт, оказался разносторонне и глубоко невежествен. Однако, в силу характера это способствовало в нем любознательности (отчего и начал он когда-то писать о науке), а любопытство к людям и событиям было у него с рождения — острое, щенячье, бескорыстное. Кроме того, достаточно начитанный к своим почти пятидесяти годам, он уже знал, что прозу следует писать так, чтобы умолчанное скрывалось под написанным зримо, впечатляюще и весомо (как нижний бюст девицы Айсберг, подумал Рубин — склонный, увы, к неуместным шуткам, что не раз уже портило ему жизнь, отношения с людьми и репутацию). Он осознал, по счастью, что не будучи свидетелем того времени и не являясь (кроме того) Львом Толстым, он описывать ту эпоху в форме

романа просто не имеет права. А может только рассказать о найденном и прочитанном, используя подробности и факты (а также мысли, если случайно возникнут), не впадая в соблазн живописания. Ибо, не обладая даром художественного повествования, имел Рубин (по сравнению с такими же обделенными) одно преимущество: не пытался этот дар имитировать. Что подедаешь, меланхолически подумал он, высохли во мне эти соки (даже если ранее были) от бесчисленных статей, которые кормили семью. И тут же вспомнил собственный свой стишок об этом (издавна писал короткие стихи, служившие отдушиной чувству юмора, непригодного для прокорма семьи): «Наследства нет, а мир суров — что делать бедному еврею? Я продаю свое перо и жаль, что пуха не имею».

Но вот о Бруни ему неудержимо захотелось написать, как бы возвращая к новому бытию этого напрочь забытого человека, словно доказывая кому-то невидимому, что справедливость все-таки существует, и не беда, что одной жизни обычно не хватает, чтобы ее дождаться. Именно таков был основной мотив вдруг вспыхнувшего в нем азарта.

И по образу мыслей Рубин был готов к такой работе: молодость его пришлась на конец пятидесятых, когда сознание всей страны стало мучительно и медленно просыпаться от многолетнего обморока затмения и страха.

И еще немаловажная деталь должна быть упомянута немедленно — впрочем, о ней лучше расскажет некая короткая история. Однажды Илья Рубин с приятелем пошли в гости к одному известному литературному критику. Тот был всегда величественно грустен — от обуревавших его высоких переживаний, а также от неотзывчивости его мыслям нашей глухой и несовершенной эпохи. Это о нем был когда-то у Рубина стишок: «Такая жгла его тоска и так томился он, что даже ветры испускал печальные, как стон».

Пили водку. Рубин был в настроении, что-то весело и легкомысленно болтал, из-за чего глубокие и чуть надрывные монологи хозяина (когда ему случайно удавалось вставить свое трагическое слово) звучали так неуместно, словно это не они к нему, а он пришел куда-то в гости не совсем по адресу. Потом он вдруг встал и вышел. Прошло минут пятнадцать, и жена его забеспокоилась и пошла узнать, в чем дело. Ее супруг и

повелитель лежал ничком в соседней комнате на диване, гневно сопя свежевыкуренной трубкой.

— Не пойду, — ответил он на немой вопрос жены. — Просто заболеваю, так меня раздражает в Илье его физиологический оптимизм.

Эти замечательные слова стали известны впоследствии, а тогда хозяйка просто и изящно соврала приятелям о сердечном приступе, и они, быстро-быстро допив водку, сразу же тактично удалились.

Слова эти были правдой. Оптимизм, раздражавший утонченные натуры, проявлялся у Рубина в постоянной и неизбывной радости существования. Смешанной с удивлением, что столько дано: жить, дышать, ездить, любить, читать, обмениваться словами. Это шло, возможно, по наследству, ибо нечто промелькивало такое же в его отце, но отец был искалечен многолетним страхом до того, что даже дома оставался тих и безличен. А возможно, это являлось поэтической чертой — за такое истолкование своего характера Рубин в молодости целый год любил одну пылкую дуру, бросившую его, по счастью, ради флегматичного кандидата наук. А возможно, оптимизм был утешением природы за умственную недостаточность (на этом варианте довольно часто настаивала его любимая и любящая жена Ирина, устающая от его беспечности). Неважно. Важно, что эта черта вмиг почудилась Рубину в человеке, о котором он собрался писать, — и немедленно приблизила его образ, объяснила легкость, с коей тот поступал, менял пристрастия, искушал судьбу, оставался самим собой под сокрушительным прессом времени.

Легкомыслие, оптимизм, неподготовленность — составляли такой законченный букет качеств, сомнительных для настоящего литератора, что просто грех было однажды не попробовать взяться за настоящую книгу. И об этом Рубин подумал мельком, закуривая в ту ночь несчетную сигарету.

Впрочем, несмотря на склонность к болтовне, знал он за собой умение слушать, на которое очень надеялся, решив разыскивать стариков, что-либо помнивших о хотя бы последних годах Бруни. Ибо на печатные источники надежды не было. Печатные источники повествовали о людях, коих власть назначила и уполномочила быть героями эпохи, так что те, кто сгнил в лагерьях, к их числу заведомо не относились.

Разве что генеалогию можно было выяснить из

книг, ибо покойный Николай Александрович Бруни был отпрыском почтенного и старинного рода, хорошо известного и памятного в художественной жизни России.

А старики отыщутся, Бог даст, — надо будет спросить приятелей. Завтра же вернусь в Москву. Повезло мне, думал Рубин, повезло, год буду копать, все заброшу и запущу, на остальное плюну и забуду. Повезло мне, крепко повезло. И никуда теперь от этого не деться. Вот Ирина обрадуется! А чем же, она спросит, мы кормиться станем этот год? У тебя ведь двое детей, Илюша, вечно ты об этом забываешь. Что же, скажу я ей, вон у Бруни было шестеро, да какое время было на дворе. С нынешним никак не сравнить. Сегодня дышать дают, и стука в дверь не надо ждать. Кстати, о стуке в дверь: не каждого встречного о той эпохе расспрашивать безопасно. А то и тормознут на полдороге и все собранное отберут. Или, что еще хуже, отнимут, когда закончу. Как у Гроссмана было с романом. Эва, куда хватил, еще не начал свою жалкую повесть, а уже у тебя мания величия. Кому ты нужен, бедолага-графоман?

И еще одно во тьме явилось вдруг высокое и важное соображение. Где-то вычитал случайно Рубин в сложной и скучной специальной книге, что формы прежнего романа устарели все до единой (убей Бог, не знал Рубин, какие это были формы), и что настало, дескать, время, чтобы взял в романе главное слово интеллигентный и проницательный автор, прямо говорящий о жизни сам, от своего лица. И хотя там ни намеком не сквозило, что таковым явиться мог бы именно Рубин, однако же прогноз этот (совет или наказ) очень ему лично вдруг польстил и сильно запал в душу. Именно вот так: интеллигентный и проницательный автор, повествующий и размышляющий, не скрываясь.

И на этой мысли остановившись, блаженно уснул литератор Рубин — счастливый, что затеял непосильное.

* * *

Начинать историю семьи следовало, безусловно, издавека — с того тысяча восемьсот восьмого года, когда швейцарский подданный Антонио Бароффи Бруни внезапно бежал в Россию. Правда, со всей семьей и имуществом, так что бегство было не поспешное. Какая-то

произошла глухая история, скорей финансовая, нежели романтическая; известно лишь доподлинно, что бегством Антонио Бруни избавлялся от грозившей ему тюрьмы. В России он поселился в Царском Селе, стал Антоном Осиповичем, быстро признан был как «живописного и скульптурного дел мастер», а спустя семь лет после приезда — академик Академии Художеств. Занимался он декоративной живописью во дворцах Царского Села и Павловска, расписывал потолки и стены во многих домах Петербурга, был всегда приветлив, доброжелателен и хлебосолен. Бывали у него на завтраках и лицеисты — из перечислявшихся фамилий глаз Рубина привычно выхватил Пушкина, и машинально Рубин вычислил немедля, что подраставший в этой семье сын (в дальнейшем знаменитый Федор Бруни, ректор Петербургской Академии Художеств) на два года всего Пушкина моложе, они вполне могли бы подружиться.

Не случилось. Но пунктирный след связи художников из рода Бруни с веселым именем Пушкина не оборвался и скоро возник опять. Весьма способный ученик Академии Художеств Федор Бруни в девятнадцать лет оставил вдруг учебу и на много лет уехал в Италию. Там он пишет портрет княгини Зинаиды Волконской (школяр тайно и безнадежно влюблен в знатную красавицу), и литографию с одного из набросков княгиня посылает Пушкину. Это восторженно-романтический портрет: Зинаида Волконская перевела на итальянский драму Шиллера «Жанна Д'Арк», превратила ее в оперу и сама же пела заглавную роль в домашнем театре. Молодые русские художники, учившиеся в Италии, рисовали ей декорации и с восторгом изображали толпу.

Когда-нибудь, думал Рубин, будут непременно статьи и книги о такой вот переключке с именем Пушкина многих поколений русских людей, очень разных по характеру и судьбе. И тогда этот яркий портрет, нарисованный в Риме юным художником Федором Бруни (молодость, влюбленность, Италия), станет в один ряд со скульптурой Пушкина, сделанной столетие спустя зекон Николаем Бруни (лагерь, отчаяние, тайга).

Скоро Зинаида Волконская уедет в Россию ненадолго, войдет в историю культуры своим литературным салоном, станет задыхаться в российском воздухе, вновь оставит Москву ради Италии — уже теперь, кажется, навсегда, ибо станет ревностной католичкой, — пока

что именно от ее семьи получен юным Федором Бруни первый в его жизни заказ на большую картину, сразу принесшую ему известность.

Классический опыт с шекспировскими страстями: вражда двух древних городов — Рима и Альба-Лонги, смертельная схватка трех братьев Горациев (Рим) и трех братьев Курациев (Альба-Лонга). Пятеро участников погибают в этой схватке. Но когда Камилла, сестра Горациев, начинает рыдать по своему убитому возлюбленному (из враждебного рода), то оставшийся в живых родной брат насмерть поражает ее мечом. Классическая римская доблесть: долг и честь выше любой любви.

На полотне Федора Бруни только что совершено это убийство: вдохновенное и непреклонное лицо Горация, умирающая красавица Камилла, в ужасе отпрынувшая толпа. Картина была названа «Триумф Горация», ибо в своем главном значении триумф — это высокий победительный миг торжества и воли. С испанским «моментом истины» есть в нем созвучие и перекличка, то есть внутренняя смысловая рифма.

Снова застыл Рубин, слепо глядя на репродукцию картины и уже не видя ее. Ибо иное внутреннее созвучие ему слышалось в этом родственном древнеримском убийстве — с поступком и гибелью (много столетий спустя!) маленького замызганного школьника из деревни на Северном Урале. Имя его надолго стало в России символом одобренного свыше и рекомендованного всем предательства. Почему же, подумал Рубин, от убийства Горацием сестры веет жутковатой и трагедийной, но доблестью, а от доноса Павлика Морозова на отца — мерзостью и гнусью непреходящей? Оба деяния — ради абстрактной идеи. В чем же дело?

Кстати, Гораций своим поступком обрекал себя на верную смерть и отлично понимал это: законы Рима карали беспощадно такую расправу. (Он не знал, что все кончится счастливо: отец его обратился к народу Рима, и толпа проявила великодушие). Что же касается несчастного Павлика Морозова, то он был совершенно бескорыстен — вот единственное, что можно сказать в его защиту. Но подлинной трагедийной жертвой оказался. Ибо не совсем уразумел из-за легкой дебилности, на что он обрек отца, но после удостоился хвалы приехавшего начальства и, безумный прилив мальчишеского тщеславия испытав, принялся ревностно высле-

живать укрывателей хлеба, за что и был зарезан родным дедом (или дядей, который тоже был при этом).

Только что довелось Рубину прочитать книгу (вернее, рукопись книги) о Павлике Морозове. Кропотливо и скрупулезно собрал один журналист разные факты, объехав и расспросив тех свидетелей, кого ему удалось найти. Втихомолку, разумеется, это сделав, ибо давцо уже подлинная история России собирается тайно и втихомолку. (Какое счастье, что собирается все же, подумал Рубин, читая). Очень страшная получилась книга. Удручающая скорее, чем трагическая. О темноте, жестокости, грязи, слепоте и подлости. Никаким он даже пионером не был, этот несчастный, ибо в помине еще не было пионерской организации в их заброшенной Богом и людьми глухой деревне. В четырнадцать лет едва умеющий читать по складам, вырос Павлик в нищей семье среди четырех столь же оборванных и запущенных детей (ссорясь, они мочились друг на друга). Недоразвитый, он предпочитал общаться с младшими и командовать ими. Колхоз тоже никак не удавалось организовать в их селе — посреди собрания кто-нибудь истошно вопил «Пожар!», и все разбегались. А отец его был назначен (или избран как бедняк и неудачник) председателем сельского совета. И чисто российское милосердное совершил преступление: дал справки нескольким ссыльным кулакам, что они местные крестьяне, это помогло им исчезнуть из гибельных мест. Ссыльных с Украины и Кубани привозили туда тысячами, просто высаживая и бросая в болотистых лесах. Тайга сама рассортировывала их. Немногие выносливые добирались до деревень, но никто им не осмеливался помогать, несмотря на древнюю традицию сострадания несчастным. А отец Павлика — осмелился. Да еще бескорыстно. Очень о нем сохранилась в селе хорошая память. А когда он ушел в соседнюю деревню к другой женщине, тут и донес на него сын — это обиженная мать науськала его на отца. А после он вошел во вкус и еще полгода доносил на односельчан — у кого спрятано зерно, у кого мясо. И кичился бедный недоумок, что его повсюду стали бояться. И был убит своими же родными. Остальное все было придумано и раздуто. Нужен был той атеистической эпохе свой святой, и она его по заслугам получила: умственно недоразвитого подростка, ошалевшего от счастья вызывать у всей де-

ревни страх. А ведь судят потомки об эпохе — по ее прославленным героям.

И никак теперь, никаким усилием воли не мог вернуться сейчас Рубин в высокий и отвлеченный мир классической живописи.

Очевидно это было в середине страшных тридцатых, когда такого размаха достигло безумие доносительства, что на слете стахановцев всей страны сам Орджоникидзе говорил с похвалой об ударниках осведомительного движения. Приведа пример некоей семьи со станции Кривино Юго-Западной железной дороги. Муж, жена, два сына и три дочери донесли на сто семьдесят двух человек (немедленно посаженных, естественно), за что были всей семьей награждены орденами и ценными подарками.

А в пионерском лагере Артек на берегу Черного моря затеяна была вовсе дьявольская игра: собран пионерский слет последователей Павлика Морозова. Сотни две мальчиков и девочек съехались по путевкам в Крым, чтобы поделиться у вечернего костра, как они посадили в тюрьму родных и близких. Каждый вечер излагалось несколько историй: кто и как донес на папу, маму, бабушку или дядю. Пионервожатую их, молодую комсомолку, беспокоило, что дети во сне кричали, с кем-то спорили, мочились под себя, плакали и будили друг друга. Тогда вожатая обратилась по начальству с просьбой перенести обмен опытом на утро, а у вечернего костра заняться чем-нибудь не возбуждающим. На само мероприятие она не думала посягать, оно было вполне в гармонии с ее идеями новой жизни. Обвинили ее, однако же, именно в покушении на мероприятие. Из лагеря она вышла через семнадцать лет. Надо только добавить, что пережитое никак на ее образ мыслей не повлияло (именно поэтому ее история стала известна): всем и каждому она повествовала, что хотела сделать как лучше — чтобы дети отдыхали по ночам и как следует за лето поправились. Для новых подвигов на полюбившемся патристическом поприще.

Возьми себя в руки, идиот, опомнись и возвратись в Италию, громко сказал Рубин сам себе, закурил, побегал по комнате и нехотя сел за стол делать выписки о жизни Федора Бруни.

Живописец вернулся в Россию летом тридцать шестого и маялся, ожидая прибытия из Рима огромного холста, главной своей работы. А пока что — снова

Пушкин. Федор Бруни рисует его на следующий день после смерти.

Спустя чуть менее ста лет потомок Федора художник Лев Бруни сделает рисунок мертвого Блока — тоже на другой день после смерти. И запредельное истощение, и черты отчаяния на всегда бесстрастном лице — ничего не упустит взгляд рисовальщика. А в эти же дни его брат, священник в маленькой церкви Николы-на-Песках в арбатском переулке, совершит заочную церковную панихиду и поступит небывало: стоя на амвоне, начнет отпевание стихами Блока. «Словно пророческий голос самого поэта раздался в церкви», — запишет в воспоминающих потрясенный участник панихиды. Не за это ли нарушение порядка службы было отказано священнику Бруни в Московском приходе? Впрочем, об этом в свою очередь.

Снова Рубин записал в тетради свой навязчивый повтор: семья Бруни и русская культура. Тридцать седьмой год, лагерь в Ухте, огромная скульптура Пушкина. Ровно сто лет спустя после рисунка Федора Бруни делает памятник голодный, мерзнувший, мало на что надеющийся зек. А до смерти ему — ровно год. Пушкин сидел в широко распахнутой шубе, вольный до умопомрачения, вольный изнутри — до такой свободы не дотянуться, чтоб одернуть, такое не пресечь; это богоданное состояние, пожизненная благодать, от нее — и легкость во всей фигуре. Монументальная, величественная легкость неколебимой внутренней независимости. Лагерный художник Бруни был счастлив, делая эту последнюю в своей жизни работу.

Но пора вернуться к его предку. Ибо Федор Бруни выставлял свою главную картину — «Медный змий». Эпизод из Библии, воплощенный историческим живописцем.

В очередной раз отчаялись, возроптали и возмутились в пустыне люди, ведомые Моисеем к обетованной земле, вчерашние рабы на тяжком пути к свободе. На этот раз их недовольство карается дождем из ядовитых змей. В муках умирают ужаленные. Нет пощады ни детям, ни старикам. А спасение — в огромном медном змее, воздвигшемся посреди толпы. Стоит человеку взглянуть на это священное изображение (с верой и мольбой взглянуть) — и он спасен.

Жестокий ветхозаветный сюжет: возроптавшие против воли Бога, против судьбы и предназначения свое-

го — обречены. Он о безнадежности, этот сюжет, и одновременно — о высшем милосердии. О бессмысленности противостояния верховной стихии и необходимости (неизбежности) покорства и послушания. О прощении за сомнения и ропот, если согласен одуматься и прильнуть.

Мечутся женщины, болью и ужасом искажены молодые лица. Стоическое отчаяние у мужчин. Дети, не понимающие, за что им и откуда этот кошмар. Младенцы, гибнущие на руках у матерей. Стоны, мольбы, проклятия. Мужчина на переднем плане картины корчится в судорогах боли, голова его запрокинута в смертной муке — ничего кроме богохульства его уста сейчас не могут произнести. Многие уже мертвы, повсюду змеи, пафосом всеобщего ужаса дышат жесты, мимика лиц и пластика фигур, сами краски. Безвыходность, мучение, гибель.

А вокруг — бездушные скалы. И пространство, чуждое сострадания. И на фоне этой пустыни и камня — им созвучная по холодной отрешенности — группа людей вокруг величественного пророка. Суровость и беспощадность на их лицах. Неподвижны застывшие фигуры. Это приближение пророка. Праведники. Соучастники карательной акции.

Вполне мог вспомнить эту картину своего предка заключенный Николай Бруни. Вполне подумать мог о новом звучании старого холста через столетие. Снова рыдали женщины, разлучаемые с мужьями и детьми, снова, сжимая зубы, уходили в небытие мужчины, снова не было пощады ни детям, ни старикам, и то же самое кошмарное недоумение: за что? откуда? и доколе? — царило в воздухе и столах. Снова проклинали, отчаивались, молились, надеялись, смирялись, жаловались и гибли. Миллионы, а не десятки на полотне. По всему гигантскому пространству обреченной страны. Только смерть была не такой картинной, романтической, эффектной, красочной и театральной. Смерть была голодной, грязной, унижительной, в муках и вшах, цинге, нарывах, холоде, заброшенности, дизентерийной вони и духоте.

И еще абсолютная, совершенная безвыходность и безнадежность. На картине Федора Бруни спасительное изваяние чем-то напоминало Александрийский столп в Петербурге: тоже уходящая ввысь мраморная колонна, только вместо бронзового ангела на ней — медный

змиЙ. Тоже символом империи выглядела такая композиция. Только не спасались теперь от гибели даже те, кто смиренно, покаянно и преданно к символу этому был готов припасть и припадал. В низком страхе непрестанно находясь, жалкой дрожью теперь дрожали даже первосвященники империи, слуги и соучастники палача-пророка, ибо их он тоже время от времени отправлял на гибель. Только крайние, запредельные выродки остались целы: молотовы, берин, кагановичи. Их спасла пресмыкаемость, яростное соучастие, дикое количество совместно пролитой крови, смерть хозяина. Остальные почти все ушли, успев перед бесславной смертью опозорить свое имя предательством друзей, соратников, близких. Ибо лишение правдивой невинности было изначальным условием участия в кровавой вакханалии-эстафете. Их было не жалко никого, только мучительно было жаль миллионы непричастных — мечащихся, невинных обреченных.

Историю России двадцатого века надо бы читать у этого полотна, подумал Рубин. Может быть, и станут когда-нибудь. Интересно, думал ли об этом Николай Бруни? Или он об Иове больше думал, об индивидуальной, личной каре и проверке на стойкость? А заставить его думать — неудобно. Я лишен возможности даже единожды написать: «Бруни подумал». Даже «Бруни сказал» — только на чужое слово я имею право сослаться. Но зато так будет честно.

А теперь уже пора и о потомстве. Только вот еще о славном предке, чтоб не забыть: Исаакиевский собор обильно расписал Федор Бруни великолепными и необычными композициями на ветхозаветные темы. И успел еще сделать пробные картоны для росписи Храма Христа Спасителя в Москве, но их заканчивали — уже другие. Ибо Федор Бруни, российский академик живописи (и многих иностранных академий почетный член) — завершил свой земной путь.

Детям (их было пятеро) его ген пластических талантов передан уже не всем. С дочерей, естественно, спрос маленький (обе вышли замуж за итальянцев и уехали на родину мужей), а двое сыновей изменили семейному ремеслу, так что только о Юрии Федоровиче стоило упомянуть, архитекторе. Тут семейная традиция налицо: в ранней молодости — золотая медаль за проект богадельни для военных ветеранов. После строил или перестраивал дома в Петербурге, проектировал за-

городные особняки и усадьбы, часть из них расписывал сам по потолкам и стенам, был последним, кто говорил в семье по-итальянски, умер в девятьсот одиннадцатом году. И с его смертью, как написал один историк их фамилии, — кончилась эра процветания семейства Бруни.

Процветание действительно было, была известность, была не увядающая до сих пор фамильная слава. А еще у Федора Бруни был брат Константин, умерший довольно рано, но оставивший талантливых сыновей. А у тех, в свою очередь, тоже выросли сыновья, не обделенные талантом.

Чтобы перечислить сделанное ими (еще двое стали академиками), не хватило бы огромного альбома. Дома в Петербурге (на Невском и на Фонтанке), дома в Варшаве (там и там часть домов — дворцы, и роспись в залах — тоже их работы), сотни живописных холстов, фрески в Храме-на-Крови, Манеж в Петергофе, проект Академии живописи и скульптуры, университет в Томске, набережная возле Адмиралтейства, церкви в Петербурге и Варшаве, торговые ряды в Нижнем Новгороде, портреты, дачи, мозаики, иконы, витражи, декорации... Неразрывная связь фамилии Бруни с историей русской живописи и архитектуры, широко известна она в мире профессионалов и любителей. Совокупно творилась эта слава — усилиями нескольких поколений. Замечательные две особенности счастливо сопутствовали фамилии: пластический талант и многодетность. Генеалогическое дерево семьи (где в основании — совсем недавний житель России почтенный Антонио Бруни) насчитывает уже многие десятки ветвей, как ни обрубала их разбушевавшаяся в двадцатом веке стихия истории.

А когда в 1887 году архитектор Александр Александрович Бруни женился на некоей Анне Александровне Соколовой, к генеалогическому дереву Бруни оказалась привита ветвь, столь же богатая художественной наследственностью.

Ставший с годами известным художником их сын Лев Бруни говаривал часто, что от живописи ему деться просто некуда, ибо в жилах его течет не кровь уже, а акварельная краска, столько одних акварелистов насчитывал он среди родни. О писавших маслом нечего и говорить.

А всего у Александра и Анны народилось пять детей. Одного из них назвали Николаем.

Трудно было Рубину по прошествии многих лет вникать в перипетии двух давно угасших жизней и пытаться угадать причину, по которой семья распалась. Всякое случалось и ранее: супруги образцом семейственности не были. В частности, сохранилось глухое семейное предание, что истинным отцом Льва был лесничий из пригородного имения. Но однако же не это было причиной разрыва, тем более, что после сына Льва родилась дочь Настя, всеми горячо любимая в семье.

Анна Александровна обладала немалыми литературными способностями: писала и печатала рассказы, переводила с немецкого и норвежского, была женщиной глубоко и истово религиозной (но не чересчур богобоязненной, как легко догадаться), восторгалась и увлекалась без меры, не жалела времени на детей (став взрослыми, сыновья ее любили и почитали), хранила множество семейных преданий. Что-то из них записывала. Пропали записи. Глупо и случайно пропали, еще могут отыскаться однажды.

Александр Александрович проектировал и строил дома по частным заказам, был ведущим архитектором при реконструкции Таврического дворца (перекраивали его для Государственной Думы), запомнили о нем в семье немного, ибо наступил разрыв. Может быть, последним поводом послужила страшная трагедия: в течение полугода погибли сразу трое детей. Заражение крови, скарлатина и дифтерит. От такого потрясения либо сплывается неразрывно семья, слитно и дружно переживая рухнувшее горе, либо раскалывается по паутине давних трещин. Здесь — распалась. Анна Александровна с двумя сыновьями ушла к своему отцу (он был хранителем музея при Академии Художеств), Александр Александрович вскоре снова женился и уехал в Дрезден, где дожил до пятидесяти и умер от туберкулеза.

Деньги на воспитание детей он присылал до самой смерти, присылал достаточно, ибо даже репетитора для обоих сыновей (нехотя учились эти художественные натуры) смогла нанять Анна Александровна. За репетитора и вышла вскоре замуж, так что в доме появился отчим. Был он моложе своей жены на двенадцать лет, и о мотивах его любви поговаривали разное, а когда он с Анной Александровной разошелся — не удивились.

Только это случилось потом, нескоро. Уже он не детям своей жены преподавал, а в Академии Художеств, где сошелся со студенткой. Дело житейское, не стоило бы это ворошить, если б не крохотная (однако значимая) деталь: быстро-быстро вступил он в партию, как только приняли, а уже немолод был, слепым энтузиазмом это не объяснялось никак. Больше о нем семья Бруни не помнила ничего или не хотела помнить. Но вовсе обойти его нельзя было, так как, уходя, Анна Александровна оставила ему квартиру своего деда (очень непростая, знаменитая была квартира при Академии Художеств, но о ней — потом). Из той квартиры один только рояль впоследствии забрал Николай Бруни, а у рояля этого — судьба особая.

Пока же выростали в семье два сына: старший Николай и Лев — на три года младше. Николай Бруни родился в девяносто первом году. У обоих детство было чрезвычайно светлое и счастливое, что совсем немало важно, чтобы выросли хорошие полноценные люди.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Да, я мельком видел вашего Николая Бруни, и не раз, — вяло сказал старик в светло-синей ковбойке, подчеркивающей его худобу и пергаментную ветхость кожи. — Ваш Бруни в лагере портреты нашего начальства рисовал и ихних жен. И по их заказу — картинки: мишки в лесу, красотки с виноградом, домик над рекой, а в пруду лебеди или русалки, естественно, чтобы красивей выглядело. То же самое он делал, что все наши художники на воле в то время. Как и сейчас, впрочем. Искусство, оно же ведь народу принадлежит. А народ знает, что с искусства требовать надо. Утро нашей родины, где усатый в кителе стоит, он тоже рисовал. В штабе у них висела. Или на вахте? Не помню точно.

Старик на Рубина не смотрел, он смотрел в окно все время, вверх куда-то, и Рубину легко было разглядывать его лысину в пятнах старческой пигментации, некогда явно красивое с правильными чертами лицо (серо-желтая кожа сейчас туго обтягивала скулы), большие серые глаза, оплывшие красной сеточкой проступивших склеротических сосудов, темные и острые зрачки, иссеченную морщинами вялую шею. Непрерывно

трясущиеся кисти рук то и дело схватывали друг друга, чтобы унять дрожь. Привычно вытянув ноги, старик полулежал в низком кресле. Длинный, худой, легкий. Пальцы рук удивили Рубина: тонкие, подвижные, первые — такие бывают у хирургов и музыкантов. Вспомнил о старике один приятель, имевший дело с Ухтинской архитектурно-строительной мастерской, которой некогда старик руководил, а перед этим тут же в лагере сидел. Гостя старик встретил сухо и без интереса, молча выслушал то, что Рубин рассказал, вяло откликнулся, что видел Николая Бруни. И обличительную фразу про искусство произнес, Рубина отчего-то задевшую. Впрочем, технари и ученые всегда любили при случае обвинить литературу и искусство в продажности, слепо и надменно полагая, что сами ведут жизнь если не вольную и независимую, то уж не такую рабскую; с этой облегчительной иллюзией Рубин был давно знаком. И неприветливость тоже смутить не могла, он давно уже был достаточный профессионал, чтобы завести собеседника на разговор и, то поддакнув, то поспорив, что-нибудь услышать интересное.

— Вы правы, конечно, — ответил Рубин, улыбнувшись. — У одного моего приятеля даже стишок был, очень вашим словам созвучный. «В лице начальства год от году всему советскому народу искусство так принадлежит, что вечно с кем-нибудь лежит».

Старик сощурился и мельком быстро глянул на Рубина, снова отведя взгляд в окно.

— Какую же вы книгу собираетесь о вашем Бруни писать, если жизнь его оборвалась в лагере, а вы о лагере писать не можете, поскольку эта тема у нас закрыта? — спросил он с легкой насмешкой, как показалось Рубину, и холодок ощущения, что разговор будет сложнее, чем ожидалось, приятно прокатился у него где-то внутри. — Не было ведь у нас никаких лагерей и в помине, так только, мелочь была какая-то, издержки осужденного партией культа личности — нет разве?

Снова чувство, что разговаривает с кем-то, с кем не ожидал. Сам тон, слова и построение фразы — все настораживало рубинское чутье журналиста. Таких одушевленных породистых дряхлецов изображает западное кино, когда речь идет о старых почтенных судьях в отставке, разорившихся отпрысках аристократического рода или злодеях, обратившихся к благородству.

— Мне много лет уже, — сдержанно ответил Ру-

бин, — и меня мало интересует, смогу ли я напечатать книгу. Человек этот, признаться, очаровал меня чем-то, я только о его жизни и могу сейчас думать.

— Угрожайте руку, чтоб она от правды не отвыкла? — полюбопытствовал хозяин. И продолжил, как бы поясняя:

— У нас в лагере сидел такой отец Николай — епископ Ростовский, кажется, так он за час до подъема вставал каждый день в любую погоду и куда-то в темень исчезал. Мы подумали — уж не стучать ли ходит, и послали ему вслед одного молодого. А епископ — юрк за поленицу, дрова у нас огромным штабелем лежали. Он там, оказывается, утреннюю службу служил. Махал воображаемым кадиллом, оборачивался к воображаемому алтарю, невидимым хором руководил, сам пел.

— Красивые у вас ассоциации возникают, — ответил Рубин, уже собравшись для серьезного разговора или вежливого ухода в случае обиды хозяина. — А вы, должно быть, в Ухте все здания строили по капризу своего вдохновения, а не по заказу и под надзором той же империи?

Теперь старик уже прямо на Рубина внимательно смотрел, и длинные пальцы его рук сплелись, унимая дрожание.

— Нет, отчего же, — спокойно ответил он. — В пятьдесят втором году мы, например, огромную тюрьму строили. Только не успели немного, пришлось поправки вносить, и после переделки это стало зданием городского совета депутатов трудящихся. Только я не архитектор, даже не строитель, собственно говоря, это я после лагеря обрел такую специальность. Но поговорим давайте лучше о цели вашего визита. Значит, насколько я теперь понимаю, я должен что-то рассказать о лагере тех лет в Ухте.

Рубин закивал радостно головой и подвинул к себе ближе тетрадь, давно положенную рядом на диван. Старик покосился на нее и бесстрастно продолжал:

— Вы напишете книжку, изо всех сил подражая вашему кумиру Солженицыну, а в ней будут поименованы все, кто вам что-нибудь рассказал об этих годах, и они все, включая вас, разумеется, но меня больше волнует судьба рассказчиков, непременно получают по заслугам. Извините, я на это не согласен. Так что увольте. С меня достаточно.

Ах ты Господи, со злобой подумал Рубин, тебе ведь

жить осталось два понедельника, чего же ты боишься до сих пор? А вслух уже спокойно и рассудительно говорил:

— Во-первых, я собираюсь писать роман, а не документальную книгу. Никаких сегодняшних имен и фамилий у меня не будет. Во-вторых, меня интересуют детали лагерного быта тех лет, а не какие-нибудь обобщающие обвинения, в которых можно усмотреть правдивую клевету на наш прекрасный государственный строй. В-третьих, что важнее всего, — Рубин последние слова растянул, ибо хотел сказать, что писать еще будет года два, а на такой срок загадывать не стоит даже в его возрасте, но спохватился и бестактность проглотил, — времена сейчас совершенно другие. Уж во всяком случае вот так вдвоем люди что угодно без опаски говорят.

— Времена другие? — старик поднял брови сердито и недоуменно, но Рубин перебил его, спеша выложить все козыри убеждения. Зачем я так мельтешусь и настаиваю? — мельком подумал он, — мало ли еще других стариков осталось? Однако же добавил торопливо:

— Если вы боитесь до сих пор — извольте, вот я пишу в тетради, что моего собеседника зовут Павел Павлович, это достаточно непохоже на ваше имя. Так вас устроит?

— Вполне, — сказал старик медленно, и зрачки его сузились, в глаза Рубина уставившись очень прямо и тяжело. — Не хочу я повторения пройденного и вовсе не стыжусь в этом признаться. До сих пор у меня нету чувства безопасности. Осуждайте меня, смейтесь, ваше право.

— Но тогда скажите, Павел Павлович, — Рубин улыбкой и тоном старался показать, что полностью принял условие разговора, — скажите, откуда у вас настолько прочен этот страх? Не обижайтесь, но я со многими уже разговаривал, — ему показалось неудобным слово «старики», однако Павел Павлович, едва лишь он запнулся, сам невозмутимо подсказал: «старыми лагерными развалинами», и тогда Рубин сказал, что нет, с вполне сохранными стариками, сидевшими в разных лагерях, и ни один подобной осмотрительности не выказывал.

— Не знаю про всех других, — ответил Павел Павлович, снова в окно уставясь, — они, должно быть, все

как на подбор люди мужественные, отважные и беспечные.

Тут он быстро и молодо стрельнул глазами в Рубина, и впервые какое-то подобие усмешки промелькнуло у него на чуть ожившем лице. Ладно, подумал Рубин, лишь бы память не подвела премудрого пескаря, что-нибудь он все-таки расскажет.

— У меня же лично этот страх, — медленно говорил старик — лагерем и дальнейшими годами только укрепился, а возник намного раньше, на следствии. И не как чувство, а как осознание устройства мира. Нашего, российского, разумеется. И все годы только подкреплялась, оправдывалась эта картина.

Рубин молчал. Старик покосился на тетрадь и, словно успокоившись после ссылки на свой немеркнущий закоренелый страх, принялся говорить — размеренно и четко:

— Я, видите ли, окончил университет. В Ленинграде. Восточное отделение. По специальности я китаист. И уехал в конце двадцатых в Китай, где в торговом представительстве работал. Не хочу от вас скрывать, был я разведчиком, знал Рихарда Зорге очень хорошо, но еще много писал тогда, мечтал о литературской стезе. Английским и китайским свободно владел, японским слабее — читал легче, чем разговаривал. Отозвали меня домой и арестовали в тридцать пятом. Так что страх мой датируется исчерпывающе точно: мартом тридцать пятого года. День сейчас не помню, они текли однообразно, тем более, что ночь тогда была, уже под утро — это я о главном дне, сейчас поймете.

В комнату вошла невысокая полная женщина с огромным узлом волос на затылке, явно еще следящая за собой. Рубин встал и представился.

— Молодой человек, Верочка, пришел с нами разговаривать о лагерной Ухте, — сказал старик.

— А...? — женщина не произнесла вопрос.

— Мы уже договорились с ним, — ответил старик, снова отвернувшись к окну. — Сделай нам по чашке кофе, пожалуйста.

Женщина вышла, долгим взглядом пройдясь по тетради Рубина.

— Следователь Буковский долго уговаривал меня, что я — японский шпион. Вы, кстати, не знаете, кто был отцом того Буковского, который борется с советской властью?

— Нет, — засмеялся Рубин. — Но я точно знаю, что не тот.

— Почему бы и нет? — тускло возразил старик. — В жизни это бывает сплошь и рядом. Правда, того Буковского вскоре расстреляли, это я достоверно знаю. Осенью. Но дело не в этом. Он меня довольно крепко материл, но рукоприкладства не было, им это позволили позже.

— Даже предписали, — вставил Рубин. Старик, по-прежнему не глядя на него, кивнул головой.

— Даже предписали, вы правы. Любые меры разрешили и предписали. Знаете ли вы, что режиссеру Мейерхольду следователь Родос лично сломал руку и заставил пить мочу?

— Нет, — хрипло ответил Рубин. — Можно, я это запишу?

— Нет, — быстро сказал старик, — жив еще человек, который мне это рассказывал. Я просто вспомнил. Родоса расстреляли в пятьдесят пятом. Только не торжествуйте и не радуйтесь, это не возмездие было, — невероятно выразительная брезгливость прозвучала в голосе старика, — просто банда с бандой сводила счеты, борясь за власть. Я вернусь, однако, в свой тридцать пятый, с вашего позволения. Идиллическое время, исключительно психологическое воздействие. Следователь мне упрямо галдычил, что им уже все известно, так что пусть я лучше сам сознаюсь и назову сообщников, это облегчит мою ситуацию. Называл людей, уже якобы показания на меня подписавших, но я этих людей знал, так что в ответ смеялся. Зря смеялся, кстати, и плохо знал, но это неважно. Вот терпение у него и лопнуло. В ту как раз мартовскую почь, уже под утро.

Пальцы рук его переплелись и сцепились, кисти перестали дрожать. Голос старика был так же монотонен, только легкая усмешливость в нем слышалась, будто он о давнем курортном романе вспоминал.

— И он вдруг вышел. Я сижу. Входят в комнату двое мужчин, довольно молодых и в штатском. Очень, кстати, интеллигентного вида. Я ещё, знаете, успел подумать, что начальники какие-то, очень по-домашнему галстуки у них распущены были, узел книзу, и запахнут воротничок. Собственно, это последнее было, что я заметил. Сбоку меня ударил тот, что пониже. В ухо. Дальше не помню.

Рубин отложил ручку и смотрел на старика, не сводя с него глаз. У того ни единый мускул не шевельнулся на породистом лице, все так же смотрел он в окно, буднично и тускло продолжая:

— Били они меня минут тридцать. Очень, хочу признать, мастерски. Как-то, знаете ли, больно и унизительно. То подминали почему-то, то топтали. Молча. Только один сопел очень. Насморк, наверное.

— Вы не кричали? — сипло спросил Рубин.

— Я из Харбина только что приехал, — ответил старик, не оборачиваясь. — В Лондоне бывал, в Берлине, Париже, Токио. Я ошеломлен был. Боль и ошеломление — вот, собственно, это я испытывал. Нет, я не кричал. Стонал, наверное. Или ухал, как живая мясная туша. Хрипел, кажется. А до страха я сейчас дойду, у меня страха не было еще. Отнюдь. Помню, в какой-то момент подумал, что сознание все не теряю, хорошо бы потерять сознание. Но не получалось. И они ушли так же молча. Из графина плеснули на меня, посадили снова на стул и ушли.

Старик обернулся к Рубину. Лицо его было бесстрастно и неподвижно, только из глаз исчезла куда-то кровавая сеточка сосудов, отчего они помолодели и стали ярче.

— Теперь про страх. Через минуту возвращается в комнату следователь Буковский. Два стакана чая принес, два бутерброда с сыром, папиросы. Оживленный такой, приветливый. Вы здесь, говорит, не заскучали без меня? И вот тут — я до сих пор простить себе не могу — я ему рассказал, что только что было. Сказал, что жаловаться буду прокурору. Он так засмеялся душевно: это бред у вас какой-то был, гражданин подследственный. У нас советское государственное учреждение, соблюдается законность в полной мере; у вас, милейший, галлюцинации. Я ему синяки показываю по всему телу, уши распухшие показываю, кровь из них течет, о враче говорю, прошу зафиксировать побои — а он смеется. В камере, говорит, вы с кем-то не поладили, очевидно, а у нас такого не водится. А сидел я в одиночке, и ему это прекрасно было известно. Вот от смеха его и спокойствия — тут мне и стало страшно. Как-то враз и мигом я все понял, ясно и на всю жизнь. Уже полвека прошло, а помню озарение свое кошмарное. Всю систему понял, все устройство государственное, в котором так усердно участвовал. Что же, говорит он,

будем сознаваться или хотите отдохнуть? Если желаете на завтра перенести — пожалуйста, мне совсем не трудно лишний раз за чаем сходить. Нет, я говорю, зачем же откладывать, пишите. И бутерброд стал есть, запивая чаем и диктуя. Знаете, единственно, чем я горжусь, — что все твердо на себя одного сочинил. Совершенно новую версию о своем подкупе японской разведкой, но такую, что всякое соучастие других исключалось. Так что никого другого мое признание не потопило. Кстати, мне так и полезней оказалось: всего пять лет. И на всю оставшуюся жизнь — этого следователя голос: ничего с вами не было, милейший, у нас такое просто невозможно.

Вошла его жена с подносом: две чашки кофе и два ломтя свежего домашнего кекса. Кофе был сварен по-восточному: черный, сладкий и очень крепкий. Рубин прихлебывал его медленно и с наслаждением, старик выпил жадно и быстро. Вопросительно глянул на жену.

— Тебе нельзя больше такого крепкого, — ласково, но твердо сказала она. Голос у нее чем-то кофе напоминал: густой, бархатный, чувственный.

— Тогда в гущу кипятка плесни, — попросил старик. — Будет крепостью, как в лучшем ресторане.

Рубин улыбнулся: в этом кратком разговоре, звуках его и тоне было слышно, что дома все в порядке: лад, понимание, покой. Старик заметно подобрел.

— Супругу мою Верой Павловной зовут, — сказал он улыбаясь, — узнаете имя?

— Ну как же, — отозвался Рубин, — если сбывается четвертый сон.

Вера Павловна молча встала и пошла к полкам с книгами, а старик наставительно сказал:

— Я тут на досуге одно литературное открытие сделал. Вот Вера Павловна вам сейчас подаст книжку, и вы поймете свою чисто школьную неправоту, только что вами проявленную.

Рубин взял протянутую книгу. Достоевский — «Преступление и наказание». В конце, почти перед обложкой вылезала закладка. Он открыл. Отчеркнутое красным фломастером место было в самом низу страницы.

— Вслух, вслух читайте, — нетерпеливо сказал старик. — Хотя мы уже наизусть знаем.

Рубин прочел вслух.

— «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти

существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали...»

— Только подчеркнутое читайте. Это сон Раскольникова, — вмешался старик. Рубин продолжил.

— «Не знали, кого и как судить, что считать злом, а что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться, остановилось земледелие...»

Здесь Рубин, улыбающийся в местах точных совпадений, громко захохотал.

— Вот! — сказал старик торжествуя. — Это вот и есть на самом деле пятый сон Веры Павловны. И не зря к Достоевскому попавший. И сбылся он, а не четвертый. Чернышевский ведь убогую мечту нарисовал, мираж-ублюдок. Хотя он-то всех и очаровал. А сбылся — пятый сон.

— Интересно, — сказал Рубин, откладывая книгу. Вера Павловна тотчас отнесла ее на полку и вышла. — Очень интересно. А в строители вас как занесло?

— Судьба, — ответил старик очень серьезно, даже с почтением к величавому року, видному сейчас только ему. Он опять отрешенно смотрел в окно и к принесенному Верой Павловной жидкому кофе не прикасался. Она снова ушла, унося чашку Рубина и тарелку с нетронутым кексом. Лицо ее было замкнуто. Ее явно гипнотизировала и раздражала тетрадь.

— По порядку так было, — сказал старик, — что строительством сперва мы все занимались. Наш этап от Котласа, грандиозная там была пересылка, город целый, доставили до Усть-Выми на грузовой барже, в трюме. Как доставили, не буду говорить, но в живых

остались. Почти все. А уже оттуда пешком пошли. Двести сорок километров до места. Настроение, между прочим, было отличное, когда на свежий воздух попали. Тем же путем, конечно, и ваш Бруни шел. Тоже, небось, от воздуха в эйфорию впал, когда из баржи выпустили. А со мной, как сейчас помню, журналист ленинградский рядом шел, Цыбин некий. Все говорил, что нас вот-вот освободят, и еще он мне в подарок свежий очерк пришлет о пережитых днях, и мы с ним выпьем на гонорар за этот очерк. Да. Он в первую же зиму погиб. Старался очень. Умирали тогда быстро две категории: кто старался чересчур и те, кто крылышки сразу опустил. Пришли на голое место, называлось Сидью. Это земля народа коми, отсюда и все названия.

— Тогда Ухта ведь называлась еще Чибью? — спросил Рубин.

— Верно, — подтвердил старик. — Это по реке название. Но мы строили чуть ниже отдельный лагерный пункт. И все с нуля. У нас даже мисок еще не было. Первые дни нам кашу на лопухи сваливали.

— Это как? — не понял Рубин.

— Сорвешь лопух, а тебе туда две ложки каши накладывают, — молодое объяснил старик. — Потом уж из дерева стали корытца резать. Из коры тоже делали, из бересты, вполне по-скотски кормились. Правда, быстро мы и вид приобрели, своей посуде гармоничный. Там еще большой каменный карьер был. Дробили, естественно, вручную. Сколько там народу полегло — не сосчитать. И смею заметить, что отменного народа, штучного. И профессоров было достаточно, и просто ученых, и врачей, и гуманитариев всякой масти, и инженеров, и священников. Они ведь в Ленинграде прямо по старым адресным книгам ориентировались, план по арестам выполняя, — «Весь Петербург» и «Весь Петроград» — знаете, наверно, такие справочники были? На несколько огромных научно-исследовательских институтов и больниц хватило бы с лихвой специалистов. Удивляются теперь, что с наукой нашей стало, отчего медицина такая чахлая и куда все эрудиты подевались. И где все люди со смекалкой. И с инициативой. И с чувством чести. Интеллигенцию, конечно, Сталин люто ненавидел. Очень в этом отношении был настоящий и последовательный народный вождь. В смысле созвучия своих чувств победившему гегемону. Это ведь зощенковский герой на самом деле победил. Зощенко первый его

заметил и описал. А тот подрост и задушил своего портретиста. Простите, впрочем, я отвлекся.

— Нет, нет, вы как раз о нужном, — откликнулся Рубин. — А где и когда вы видели Бруни? Вы общались?

— Нет, мы даже не были знакомы. В управление я стал ездить год спустя, машины со щебенкой от нас ходили, а я сводки привозил и всякую отчетность. Тогда и видел. Он мне, правду вам сказать, не показался. Или я тогда уже придурков этих сильно не любил, что нам плакаты рисовали. В Котласе, между прочим, над воротами лагеря — знаете, какой плакат висел? «Смерть врагам народа!» Вот вам и добро пожаловать на наш манер. Нет, у немцев, пожалуй, было поаккуратней с наглядной агитацией. «Труд освобождает» — это легче психикой воспринимается. Или: «Каждому свое», как у них в другом каком-то лагере висело. Между прочим, когда ваш Бруни скульптуру Пушкина ваял, так ведь она возле окон лагерного начальства ставилась, в начале улицы вольнонаемных, так что Пушкин этот как бы у них Дзержинским числился.

— Жалко, — сказал Рубин. — Очень жалко. И Бруни жалко, и Пушкина.

— Я перегибаю палку, должно быть, — смягчился старик и легкое свое длинное тело чуть повернул в кресле, прямо теперь на Рубина глядя. — Я никого не вправе осуждать, я тоже быстро стал придурком, я в технологи выбился. А погиб ваш Бруни, скорей всего, в кашкетинские расстрелы. Так и есть, да? В зиму на тридцать восьмой год как раз и лютовал у нас Кашкетин с подручными. Лагеря он северные разгружал, такая у него была задача. Заодно и страх навел свежий. Свежий страх — он пронзительный, как ветер осенью, прямо сквозь кости. Вскоре после этого Кашкетина расстреляли в Котласе. Прямо перед зеками, что там были.

— Его, кажется, в Москве расстреляли при перемене Ежова на Берию, — осторожно сказал Рубин. — А перед этим орденом Ленина наградили за удачную операцию. Или Красного Знамени.

— Это я тоже читал, — надменно отозвался старик. — Только мне приятней верить в то, что мне рассказывали. Что собаку эту бешеную перед строем зеков свои же псы уничтожили. А у нас расстреливали на Ухтарке — это вроде как предместье Ухты. Там огромный

деревянный барак стоял с земляным полом, вот и вся зона. Отдельный лагерный пункт. Там и не работал никто. Там убивали только. И закапывали кое-как. И перед войной, и в войну. Там и Бруни ваш лежит со всеми вместе.

— Подождите-ка, — спохватился Рубин. — Срок ведь был у вас пять лет. Значит, вы ко времени войны уже год как жили на свободе.

Старик засмеялся неслышно, отчего лицо его чуть сморщилось, свою породистость отчасти утратив.

— В сороковом, за неделю ровно до звонка, лихорадка меня трясла от нетерпения, вызвал меня хозяин, генерал Бурдаков, и говорит: освободиться хочешь, а ты еще здесь нужен. Я отвечаю, что если нужен, то останусь в качестве вольного. Нет, он говорит, потом лови тебя и уговаривай. Живется тебе неплохо, так что выбирай: или завтра мы тебе привариваем восемь лет за попытку побега и агитацию, или на год забудь, что тебе звонок прозвенел. Через год обещаю отпустить. Слово офицера даю. Договорились? Я кивнул только, я не мог тогда говорить, сердчишко свело. Но через год с небольшим освободил. За четыре дня до войны.

— А вы уехать попытались? — Рубин помнил, что чуть раньше говорилось о судьбе.

— Еще как, — энергично сказал старик, и тень какой-то мысли или воспоминания промелькнула в его глазах; он отвел их от Рубина в окно и на мгновение запнулся. — Еще как! У нас шутка была: какой твой любимый город? Ухта, конечно. А заветная песня? Прощай, любимый город. Сразу попытался. Только меня арестовали на вокзале: кто-то стукнул, что я на волю письма везу, утром оказалось, что на другого стучали. Меня даже без обыска потом отпустили. Лучше бы обыскали, — это моя отдельная боль. Суток пять, однако, продержали в милиции на всякий случай. Что война идет, я там и узнал. Там же и заявление в военкомат написал. Думаю, что миллионы тогда о смерти на войне, как о свободе мечтали. Выпустили меня, пригрозили только, чтоб не подряжался в почтальоны. А в военкомате говорят: ждите, но на работу устройтесь. Я на завод строительных материалов поступил. И не призвали. Так я в Ухте и тормознулся на пятнадцать лет.

— А завод в системе того же управления? — зачем-то поинтересовался Рубин.

— Там вся жизнь в системе управления. Так что я

снова на совещаниях у Бурдакова оказался. Типичный он был сталинский строитель. Царь и бог одновременно. Как-то случай у нас произошел: большой станок везли или насос, уже не помню. Подняли в кузов грузовика, а крепить не стали. Двое работяг туда влезли и спинами его подперли. Только разве спинами столько тонн удержишь? На одной из горок пополз этот насос и их раздавил, о борт расплющил. А работяги — вольные, за них прораба под суд. И осудили. А тот — любимец Бурдакова. Так он судью вызвал, приговор велел принести со всем делом и на глазах судьи разорвал. Если ~~кого~~ из моих людей без моего ведома еще раз осудишь, — это он судье так сказал, — будешь у меня в каменном карьере киркой махать, а не пером водить в своем вонючем суде. Понял? — говорит. А тот, конечно, понял, белый от него вышел и глаза под лоб закатаны. Такой был человек. Много искренних почитателей у него было: хозяин. Страх с любовью неразлучен у русского человека. Рабы мы все.

— Уж так ли все? — машинально спросил Рубин, хотя спорить об этом вовсе не хотел. И немедленно был награжден за любопытство.

— До единого! — старик запальчиво и твердо почти выкрикнул это, и в дверях сразу выросла Вера Павловна, переводя встревоженный взгляд с мужа на рубинскую тетрадь и обратно. — До единого! — повторил старик, успокаиваясь. — Знаете, из-за чего я с последними своими лагерными друзьями рассорился? Из-за рабства. Из-за холопства и холуйства. Совсем недавно это было.

Он остыл и сел поудобнее, слегка расслабься. Но снова дернулся, напрягся и подался вперед, начав рассказывать.

— Город Ухта свои пятьдесят лет праздновал. О зек-ках, естественно, ни слова. И в Норильске также было, и в Воркуте — повсюду. Слово не на их костях и крови все построено. Ладно, к этому привыкли, проглотили. Но туда приехало на праздник много бывших зеков, мы ведь и сдружились сильно, да и место памятное. А кто-то вообще остался там работать. Кто за северную надбавку, кто привык, кому ехать некуда. Прижились, одним словом. Я с инфарктом, по счастью, лежал, не выбрался. Зато прибыл на этот юбилей персональный заслуженный пенсионер, почетный гражданин города Ухты, генерал-лейтенант в отставке Семен Николаевич

Бурдаков. С женой приехал, бывшей его секретаршей. Он когда сошелся с ней, то мужа ее на фронт устроил. Тот очень быстро и погиб. А Бурдаков свою жену с детьми тогда оставил и на этой женился. В те годы на это косо смотрели, в партком ходили жаловаться брошенные жены, а тут кому пожалуешься? Один хозяин на сотни километров. А выше куда писать — со свету сживет. А может, гордая была, не знаю. Детям, правда, он помогал. Да, вот приезжает, значит, Бурдаков, на всех митингах и торжественных собраниях он герой, сидит везде в президиумах и гостит у юных пионеров. А наши зеки, человек их было тридцать, кто дружил, собрали на чьей-то квартире стол и пригласили к себе — вы представляете? — своего палача-охранника, своего убийцу, который просто не успел из них соки до кожуры выжать. И они с ним пили и чокались! И они с ним разговоры разговаривали! Вспоминали они с ним бы-лое! Мои друзья!

Старик откинулся в кресле на последнем слове, желтый цвет его лица сменился белым, а руки, перестав трястись, зашарили по коленям беспомощно и конвульсивно, словно слепо ища опору. Возникшая немедленно в дверях Вера Павловна кинулась к столу, где толпой стояли пузырьки и баночки, неизменный атрибут стариковских комнат, схватила что-то, накапала, дала выпить, мгновенно принесла воды запить, таблетку валидола (или нитроглицерина?) достала прямо из кармана фартука и сунула мужу в задышливо раскрытый рот. Негодуюше глянула на Рубина, уже хотела сказать что-то, но старик открыл глаза, поймал ее руку, поцеловал и скупно улыбнулся. Она погладила его легко по щеке и к Рубину обернулась уже с улыбкой — искренней, очень доброй и очень женской. Вышла, ступая твердо и легко — как выплыла. Старик сидел, полуприкрыв глаза желтыми веками в голубых прожилках.

— А можно, Павел Павлович, — спросил Рубин, снова подчеркивая обращение, чтобы напомнить о соблюдении условия, — пока вам трудно говорить сейчас, пока сердце не отпустит, я попробую поискать вслух мотивы этой рабской истории?

Старик кивнул головой, не поднимая век.

— Старые зеки мне рассказывали, — осторожно начал Рубин, — они часто себя ловили на этом, а в других подавно замечали — эдакое влечение к пачальству, желание с ним пообщаться, поговорить, постоять рядом.

Тут ведь многое себя подспудно оказывает, разное: тут и заявление безмолвное о своей лояльности, и поиск уверенности, что под тебя не копают и опасность новая не грозит, и надежда что-то важное для себя услышать или уловить, не могу слово точное найти. Словно ты как-то лично знаком после этого становишься, не безлик уже, а к знакомому и отношение другое. А когда освободились, им эта выпивка совместная — вроде свежего ощущения, что свободен, если рядом запросто сидишь за одним столом с человеком, который в руках твою жизнь держал и ею полностью распоряжался бесконтрольно. Станным образом это лестным кажется, заманчивым и привлекательным, на каких-то тайных струнах играет. Я их понимаю вполне, только вот высказать эти мотивы точно не могу.

— Вы бы с ним за стол сели? — спросил старик, тяжело и медленно поднимая веки.

— Не знаю даже, — честно ответил Рубин. — Только я и осуждать их права не имею. Понять хочу. Боюсь я только, вы не обижайтесь, что если бы вы рядом оказались, в той же компании, вы бы тоже с ним пошли посидеть. Что-то в этом острое есть, душещипательное, привлекающее.

— Я бы пошел, — угрюмо сказал старик. — Только я бы ему в морду дал после первой рюмки, для меня именно это было бы символом свободы. Он ведь там еще и разглагольствовал, паскуда, что всегда, дескать, хотел как лучше, что по мере сил облегчал, что не он вовсе карцером и размером пайки распоряжался, чтобы добавить и выжать, что время было такое, что сам по острию ходил, что и на него жали нещадно, что он рад за них за всех, что вон какой город выстроили стране на радость. Плюнуть бы ему в бокал или в глаза.

Выговорив это единым духом, старик снова раскрыл рот, жадно и обессиленно глотая воздух.

— И вот еще, — сказал он одышливо. — Бурдаков всегда казался человеком, знающим нечто важное о жизни и смерти, потому что многие годы был абсолютной властью в этом смысле облечен. Это, знаете ли, тот же мотив, по которому мы о Сталине любопытствуем и обо всех, кто рядом был. Вы ведь наверняка тоже с интересом любите истории о нем выслушиваете. Оттого, наверно, и Пастернак, как известно, со Сталином о жизни и смерти поговорить хотел.

Рубин кивнул головой, полностью соглашаясь. 

— И не только! — старик явно увлекся. — Обратите внимание, что все лагерные воспоминания вызывают обостренное любопытство, если касаются крупномасштабных, известных лиц, а благородных или подонков — неважно. Вы ведь, признайтесь, очень склонны сейчас меня расспросить, кто из бывшего начальства или известных деятелей со мной сидел?

— Есть грех, — засмеялся Рубин. Старик тоже улыбнулся слегка.

— Вот и моим приятелям казалось, будто он знает что-то. Он, однако, пустым мешком оказался. Скучный и недалекий старикашка, хвастал, пыжился. Главное, что умственно очень оказался убог. Он такой нам тогда фигурой представлялся! С железной волей, с пониманием чего-то непостижимого, чуть ли не высшего порядка существом, а не погонщиком высокого ранга. Было тогда много таких. Волю они стальную проявляли, потому что над собой такую же чувствовали. А значительность ощущали собственную — от той власти, что им была над нами дана. Это наши страх и бессилие их изнутри величием и обаянием надували. И вся страна на том держалась, как лагерь. И сейчас держится. Или у вас еще есть какие-нибудь иллюзии на этот счет? Если есть — не пожалейте и поделитесь. Только откуда им взяться, если вы не кретин. Строителям известна простая штука — закон природы, собственно: чем ниже центр тяжести, тем сооружение устойчивей. Так вот наше скопище рабов — самое устойчивое сооружение, потому что центр тяжести у каждого не в уме или сердце, а в заднице, где, как известно, страх гнездится. Оттого и вся система устойчива невероятно.

Рубин засмеялся, радуясь образу

— Да, да, — удовлетворенно подтвердил старик. — Оттого же, кстати говоря, старх этот и убирать опасно — такие пойдут шатания, что не приведи Господь. Снова кровь польется. Из-за несходства заблуждений. А страх — он воедино всех цементирует.

— Вы в архитектуре практик или доучивались потом? — спросил Рубин.

— Выучился, — старик кивнул головой. — После войны устроили специальное заведение — ускоренные курсы для тех, кто высшее образование имел. Любое. Кого там только не было из бывших: историки, астрономы, музыканты, дипломаты, биологи, искусствоведы. Всех лагерь в строителей обратил. А без них и не по-

строили бы империю. Пригодилась усатой гниде интеллигенция. Были эти курсы на территории Донского монастыря. Знаете, конечно?

— Знаю, конечно, — ответил Рубин. — Крематорий особенно хорошо знаю, в молодости часто там бывал.

— Зачем? — удивился старик, очень красивым, неувловимо светским движением приподняв пегие мохнатые брови.

— Я когда-то со скульптором одним приятельствовал, с Эрнстом Неизвестным, — объяснил Рубин, — а он там на стене огромный барельеф делал. Не видели?

Старик не видел.

— Просто внимание не обратили. С левой стороны, если на вход смотреть. Символика пехитрая: в земле лежит мужчина, а из его сердца растет дерево. С веток яблоки свисают. На земле молодая женщина стоит с маленьким ребенком на руках, и ребенок срывает яблоко с одной из веток.

Снова, как недавно, быстрая тень мелькнула в глазах у старика, оживляя их и пряча куда-то склеротическую сеть сосудов.

— Очень эта символика непроста и уместна, — быстро заговорил он, — если к ней одну историю добавить. Вашему приятелю она была, конечно, неведома, человек пять всего на белом свете ее знают. Как интересно все в России увязывается, — он отключился на мгновение, отвернувшись к окну, но тут же возвратил взгляд. — Я когда на этих курсах в Донском монастыре учился, у нас уборщица в общежитии была, такая классическая русская тетя Маша. Нам давали талоны на обед, но еще сухой паек был и деньги платили — крохотные, но деньги. Словом, мы этой старухе тете Маше — ей лет-то пятьдесят было, не больше — для детишек еду подкидывали, а она за это нам стирала. И вот как-то рассказала она нам после поднесенной рюмки.

Старик остановился, задохнувшись.

— Удивительный мы народ, россияне. Она в конце тридцатых работала в этом крематории. Тоже уборщицей, но несколько особого назначения. Когда покойника сжигают, пепел в урну ведь кладут, чтобы родственникам выдать прах, не правда ли? А часть пепла остается — много на самом деле, она возле печи работала, остатки убирая. И вот года два подряд, если не больше, — годы понятные — к ним каждую ночь многие

десятки трупов привозили. И жгли их всю ночь. Своих они тогда стреляли, сами знаете. А у тети Маши была напарница постарше. И она ей говорит однажды: грех мы с тобой, Машка, совершаем, что православный этот прах не погребаем, а выкидываем как мусор. Ведь какие-никакие, а люди были. Может, и хорошие, да хоть любые. Давай мы пепел этот будем погребать, и если не на этом свете нам зачтется, то на том. Так вот: помните, там две длинные цветочные клумбы — целые аллеи с цветами и кустами, что идут от крематорских ворот почти до входа в само здание?

Рубин кивнул.

— Выросло все на прахе убиенных. И чекистов там полно, и военных, всяких. И жертв и нечисти поровну. Вот где подлинно проспект энтузиастов! С барельефом вашим теперь в естественной гармонии это находится. Не чувствуете? Горемыки уже в землю ушли, а плодами с яблони этой — дети кормятся. И кошмарная плоть у этих яблок. Ядовитая для духа и разума. И не лучше плоти семена. Веры нету прежней в этом семени. Только страх остался. И продажность.

Рубину уже мучительно хотелось курить, пора было перевести беседу на Ухту, ибо явная симпатия к собеседнику проглянула в старике от соединившихся случайностей разговора.

Помолчав, старик медленно и значительно заговорил — тоном, каким нечто сокровенное поверяют:

— От того же страха неизбывного я единственное в жизни преступление совершил. Настоящее. Перед Богом и людьми. Перед Россией, если хотите. И при этом человека убил. Необыкновенного. Сейчас расскажу.

Он снова помолчал, то ли силы, то ли решимость собирая.

— Мы с ним дружили долго. Он из Ленинграда был, меня моложе. Правда, с ним многие дружили. Опекали, скорее. Берегли. Он редкостным был поэтом. Настоящим. Я поэзию любил когда-то очень и знал хорошо. Старокитайскую в оригинале читал, японцев читал свободно и англичан. О русской нечего и говорить. Знаете, на кого он похож был, как это ни странно? На Ахматову. Глубина ее, достоинство, чистый звук — только все мужское было. Ничего вам, к сожалению, вспомнить не смогу, да и тогда не помнил наизусть. Очень техника была у него своеобразная: фраза одна длинная переливалась из строки в строку, рифмой толь-

ко разделяясь, и не на одну строфу хватало фразы, а на несколько. Словно изумительно ритмическая проза, перебитая созвучиями, чтоб держалась. Оттого и запомнить было тяжко. Интересно, что ни капли в его стихах не было, что сейчас клеветническими измышлениями суд назвал бы. Он куда на более высоком уровне существовал, к стихиям ближе. О судьбе, о смерти, о любви, притом ничуть не жалуясь и не томясь. Это великий был поэт, поверьте. Я ему клочки бумаги добывал. Мы ведь на чем расчеты и записи делали? На обрезках досок — химическим карандашом. А вместо стирания или смены листа бумаги — рубанком проходили. А то, что в управление везли, на бересте писали, как древние, — не было совсем бумаги первые годы. Единственная изредка бумага была — мешки из-под цемента, но он чаще прямо в вагонах поступал, в бумажных мешках реже намного. Вот я Левке обрывки и доставал. И еще газетные поля он уважал, тоже дефицит был, потому что шел на курево. И стопа этих клочков у меня хранилась на заводе, им исписанная, он свои стихи совсем плохо помнил, глюкозы было мало, она очень, говорят, на памяти сказывается. Ее отсутствие, вернее. На заводе я все время Левку опекал, чтобы он мог не работать на износ. Правда, все равно он уже кровью харкал. После его на вовсе легкую работу удалось устроить — в большом бассейне температуру измерять, там вода была для промышленных нужд. Его везде любили. Замечательно всегда он говорил, свою махорку предлагая: вам табачку аддис-абебского или баб-эльмандебского? Почему-то всех смешило это очень. Долговязый, тощий, неприкаянный. Не жилец он был для наших мест. Как птица певчая случайная. Когда меня забрали на вокзале, у меня его стихи с собой были. Такой пакет с клочками. А меня обыскивать не стали вечером, ждали коменданта, это он задержать меня велел. И прождали так всю ночь. Я сидел на скамейке в коридоре, а охранник ходил, чтоб не уснуть. Очень я боялся, что найдут стихи и что-нибудь пришьют. Попросился прикурить от печки. Он разрешил. Потом еще раз. Все рука не поднималась. На третий раз я сжег его стихи. А утром, я уже вам говорил, даже не обыскали — не на меня был стук, оказывается. Лучше б на меня, мне легче было бы. Перед этим незадолго он с оказией такую же пачку в Ленинград отправил, у него там брат в каком-то театре на комических ролях паясничал.

Вскоре ему брат письмо прислал: дескать, с ума сошел ты, Левка, не вздумай больше, а полученное мы с женой сожгли. Хитро это как-то было сказано, но Левка понял. А теперь вот я. Словом, еще месяц он протянул, таял прямо на глазах, и больше вроде некуда, а он худел. Я к нему ребят посылал, он сам со мной уже не разговаривал, — но стихи он отказался припомнить. И так ушел.

Старик резко замолчал, не отворачивая глаз от окна, и глубже осел в кресле.

— Как его фамилия была? — спросил Рубин.

— Я вам этого не скажу, — тускло ответил старик.

Рубин задохнулся от прихлынувших к горлу звуков, но ни слова не произнес.

— Все знают, что я единственный с ним дружил так близко, меня легко опознать, — объяснил старик.

— Но вы и так о себе столько рассказали, — стараясь удержать спокойный тон, медленно выговорил Рубин, задыхаясь, — и потом...

— Что сказал, все можно сочинить или узнать у других, а фамилия Левки ни к чему, — упрямо и монотонно повторил старик, глядя в окно.

— Павел Павлович, — Рубин говорил негромко и размеренно, — а вы понимаете, что этим отказом вы еще раз убиваете своего друга?

— Ему уже не нужно ничего, — холодно возразил старик. — Вот я когда умру, возьмете у Веры Павловны его фамилию.

— Желаю вам здоровья, — сказал Рубин, вставая. — Благодарю вас за разговор. Всего вам доброго.

— И вам успехов, — равнодушно ответил Павел Павлович, не поворачивая головы.

Когда Рубин одевался, из кухни вышла Вера Павловна. Лицо у нее было расстроенное и отчужденное, она естественно и справедливо сердилась на незванного гостя за доставленное мужу волнение. Чопорно кивнула, прощаясь.

Из подъезда выскочив, Рубин закурил, первые несколько затяжек не ощущая вкус дыма. Нормальный сегодняшний человек, думал он, просто не поверит в стойкость такого закоренелого страха. Не может в это поверить здоровый человек. Если сам такого же не испытал. И бессилия, и безнадежности, и беспросветности. Только к Богу можно было обратиться, но в него они как раз не верили совсем. Отчего еще прочней и ощу-

тимей были в полном рабстве у бурдаковых. И духовном тоже, вот где может быть разгадка той совместной выпивки. И покойный следователь Буковский не случайно его некогда сломал именно так: ничего не было, милейший, у нас такого просто быть не может. А если снова эта мельница оживет?

И Рубин закурил вторую сигарету, стоя у лестницы метро, куда вдруг страшно показалось опускаться.

* * *

Отчего юный Николай Бруни вдруг оставил живопись и бросил студию при Академии художеств? Увлёкся музыкой? Да, это частичная, но несомненная причина. Его распирали способности, разнообразие которых мешало реализоваться каждой. И уже стихи начал писать, в девятьсот десятом напечатался впервые, был сразу принят (в консерватории учился в это время) в первый российский Цех поэтов, и синдик цеха Николай Гумилев снисходительно хвалил молодого неофита (сам-то тезка был старше на пять лет, но уже несомненный мэтр).

Только этим не объяснялась полностью загадка разрыва с живописью. Времени хватало бы у Николая Бруни. Как еще хватало времени на яхту и на коньки, на верховую езду и на футбол, плавание и охоту. Рассказы (еще писал он и прозу) и скоротечные любовные романы (бурные и быстро тающие, так что скорей новеллы) — тоже здесь должны быть упомянуты, раз речь зашла с времени и его нехватке. Кстати, увлечение спортом было не любительским и не случайным — отнюдь, ибо энергия и азарт быстро выводили его за пределы любительства: перед войной уже играл в городской футбольной команде. Что же все-таки случилось с живописью, и почему он так не скоро к ней вернулся? Возникла лишь одна правдоподобная версия. Ревность. Успехи в живописи младшего брата. Десятки акварелей брата Льва постоянно сохли на столах и подоконниках, всем попадались на глаза и привлекали общее внимание. А однажды (эту историю часто рассказывали в семье) дедушка Соколов, хранитель музея Академии художеств, решил, что удавшуюся работу уже можно и пора кому-нибудь показать. Этим кем-нибудь оказался маэстро Бенуа (трудно тут не поставить восклицательный знак), первым попавшийся в то утро в коридоре

Академии. Дед протянул ему работу и без особого интереса в голосе (неудобно, собственный внук) слегка конфузливо спросил:

— Взгляните, это что-нибудь обещает?

Бенуа бережно принял лист, искоса и хищно глянул на него и незамедлительно ответил столь же лаконично:

— Здесь уже все есть.

Следует добавить, что обмен летучими фразами происходил по-французски, так что история была проста, но изысканна. Каким стимулом явилась эта похвала для Льва Бруни, говорить излишне: его жизнь была всецело отдана живописи до скончания дней. Старший же брат характером обладал сложным, и поэтому версия, что одного хвала маэстро подстегнула, а второй решил искать иное поприще — вполне правдоподобна.

Консерваторию Николай окончил незадолго до войны. Перед этим было Тенишевское училище, где он на много лет сдружился с Мандельштамом, как ни попустил этот безжалостный друг его стихи. Полагая преступлением еще и любую измену поэзии (ибо дар — обязанность и долг), а Бруни разбрасывался наотмашь.

Начал его печатать журнал уже забытый сегодня, даже в самых дотошных мемуарах упоминаемый редко — «Новый журнал для всех», надежное в ту пору прибежище умеренных талантов. Но именно таковым поэт Бруни и являлся, был он из тех, кого вечно именуют кратким «и др.» в перечне присутствовавших и выступавших.

Может быть, именно этим и оказался он дорог Рубину — широким спектром не крупных способностей, усредненностью своего уровня на фоне яркого созвездия начала века. Это был негромкий, очень личный поэтический голос среди обильного русского Возрождения — краткой и ослепительной эпохи, по прихоти Бога русского, истории российской, цепи случайностей — резко и безжалостно усеченной.

Рубин сидел в библиотеке, перелистывая уцелевшие номера «Нового журнала для всех» в поисках стихов и прозы Николая Бруни, заодно выписывая все, что привлекало внимание и могло пригодиться. Редко-редко мелькали здесь имена и Блока, и Бунина, и Ахматовой, и Кузмина, однако же в основном забытые ныне поэты и новеллисты печатали здесь свои шедевры второго сорта. Объявлялось, что журнал дешевый, демократический, рассчитанный на широкую публику. Так оно, к со-

жалению, и было. Объявлялось, что чужд он какому-либо пристрастию или партийности. Это тоже было правдой. Очень было много стихов. Бруни писал, как большинство. Похоже и по стилю, и по уровню.

Голос ветра в граве склоненной,
Мы касались друг друга плечом...
Я носил, как мальчик влюбленный,
Твой потрепанный Гете том...

И так далее, и подобное тому. С юношеской кокетливой меланхолией, с юношеской зеленой умудренностью, с маской скептика, ибо подлинные чувства были неприлично яркие и восторженны, что для настоящего символиста — стыд и срам.

Создал себе земной уют.
Пред образом горит лампада.
Душа какой-то боли рада,
Цветам, которые взойдут.
И новой боли мне не надо...
Туманы тихо стерегут
Давно уснувший старый пруд,
Куда упали листья сада...

Рубин продолжал читать журнал в полглаза, но какая-то возникла неотвязная и смутная мысль. Она тревожила его, не всплывая в сознании, но именно ей поддавшись, по ее неясной указке принялся он выписывать куски чьей-то прозы с пошлыми красотами повсюду:

«...Черный шелк так же струился вокруг тела и шумел печально, точно мертвые листья в осенних аллеях...

...Склонила голову на тонкую руку и застыла в молчании, а в продолговатых глазах где-то глубоко собрались слезы, но только две крупные и яркие капли докатились до матовых щек. Остальные замерзли в сердце...

...Откуда-то плыла стыдливая и задушевная мелодия старинного вальса, и звуки кружились, как голуби, и умирали покорно...

...Долго в тот вечер горели толстые свечи под матовыми колпачками, проливали тихое сияние на седую голову, склоненную над книгой...».

Зачем я это делаю, к чему мне эта чушь, спохватился Рубин, откладывая ручку и разминая затекшие пальцы. Для чего-то надо, однако, — он это ясно ощущал. Непременно и сразу пригодится. Вот еще и это объявление тоже (объявлений было много, они явно помогали журналу сводить концы с концами).

Интересуетесь ли вы тайными науками? Психо-френолог Шиллер-Школьник из Варшавы бесплатно высылал книгу «Самоучитель гипнотизма, хиромантии, физиогномики, френологии, графологии и астрологии» с рисунками в тексте. По ней, обещал сей альтруист-благодетель, очень просто определить характер, прошлое, настоящее и будущее любого человека.

Рубин тихо засмеялся наивности безвестного Шиллер-Школьника, обещавшего прогноз будущего, не подзревая, что скоро и необратимо оно взорвется, потечет кошмарно и непредсказуемо. Рубин догадался уже, чем его привлекли эти пошлости семидесятилетней давности, надо бы еще и побольше. В толстой общей тетради где-то хранилось до случая похожее объявление из газеты того времени, оно теперь пригодится.

Из газеты «Утро России». Предлагала Жанна Гренье:

«Каждая из вас, уважаемая читательница, может развить свой бюст, увеличить его или же из вялого сделать упругим, гармонически-развитым, благодаря моему новому способу, методу Гренье. Я счастлива, что имею возможность без применения запрещенных внутренних средств одним женщинам дать, а другим, независимо от возраста, вернуть и восстановить упругость и красоту форм, отсутствие или увядание которых приводит в уныние, разрушает планы и часто делает женщину несчастной. Если природа наделила Вас роскошными формами, если Ваш бюст мал, опущен или вялый, обратитесь ко мне, и Ваша мечта сбудется. Мой способ настолько прост, что Вы можете им пользоваться тайно, без посторонней помощи, так что Ваши знакомые и близкие, не подозревая причины, уже через короткое время будут поражены переменой, происшедшей в Вашей фигуре. Итак, пишите мне как другу, и я немедленно отвечу Вам в закрытом конверте...»

Далее следовал подробный адрес.

Замысел, явившийся Рубину, был нехитрым, но обрадовал его и в качестве приема безусловно годился: вот такими объявлениями, а не прямым текстом показать, как мало подготовлен был российский мир ко всему, что с ним вскоре случилось, как беспечен был, благополучен и безмятежен, как поток таких вот объявлений и прочих похожих текстов начисто глушил и забивал те пророчества и догадки, что высказывали Блок и Хлебников (не считая других), что сквозили издавна

(кто им верил всерьез?) в истовых и долгих российских спорах за остывшим чаем.

Рубин собирался писать роман серьезный и обстоятельный — так, будто он впервые и первый о преддверии катастрофы думал и рассуждал. Удаленность времени представлялась ему возвышенностью, с которой он имел право на суждение и обязанность этим правом воспользоваться.

Далее лежали под рукой выписки о кафе «Бродячая собака». Остальные номера «Нового журнала для всех» должны были дожидаться своей очереди — начала первой мировой войны, куда Бруни кинулся добровольцем.

А пока что — член Цеха поэтов и студент консерватории Николай Бруни усердно посещал легендарное ночное кафе, кабачок богемы «Бродячая собака». У него даже нехитрые стихи о нем были:

Люблю «Бродячую собаку»,
Она врачует сердце мне!
Когда душа поверит мраку,
Иду в «Бродячую собаку»,
Где пиджаку, рубахе, фраку
Почет дается наравне.
Люблю «Бродячую собаку»,
А в дни угрюмости — втройне.

Разбросанные по книгам и журналам воспоминания об этом кафе исчислялись уже не десятками, а сотнями, беззастенчиво повторяя и перепевая друг друга. Основал его некий Борис Пронин. С ним впоследствии очень подружился Николай Бруни, а тогда, в двенадцатом году, когда только открылось кафе — побаивался и почитал Пронина. Еще бы: разница в возрасте — полтора десятка лет, теснейшее знакомство и приятельство со всеми мэтрами театра, живописи и поэзии (юный Бруни издала благоговейно смотрел, как те обнимались с Прониным при встрече), полновластное владение интереснейшим в Петербурге (и во всем подлунном мире следовательно) ночным кабачком богемы.

Борис Пронин, личность недюжинная, энергии и фантазии неистощимой, — был, по всей видимости, сделан из того редкостного теста, что идет на выпечку уникальных, знаменитых со временем организаторов, администраторов, устроителей. И конечно же, долго искал приложения своим способностям, которые ощущал, но никак не мог осознать. Учился на историко-филологическом факультете университета, после там же — на

естественном отделении физико-математического, потом — на юридическом изнемогал, вслед за этим плюнул на свое неуловимое будущее и подался в актеры. Лицедеем оказавшись ниже среднего, пробовал заниматься режиссурой. И никак не мог найти того душевного уюта, при котором люди заняты с утра до ночи, счастливы и стонут о ненужном вожделенном покое. В бурно расцветающей в те годы коммерции мог сыскать он себе место по силам, но увы — бескорыстен был до подозрения в юродстве и гуманитарий — до мозга костей. К искусству, людям искусства и сутолоке вокруг них тянуло его, как задыхающегося — к воздуху (или наркомана — к опиуму, что одно и то же в данном случае). Им тоже он был явно нужен, ибо общение с ним стимулировало, одушевляло замыслами и азартом самых разнообразных людей искусства — от художников и музыкантов до режиссеров самодостаточного таланта. Мейерхольд, к примеру, (в частном письме): «Я готов плакать, что зимой с нами не будет Пронина. Если бы Вы знали, как я страдаю, что его не будет с нами зимой».

Разное писали о дрожжевой натуре Пронина разнохарактерные воспоминатели — большей частью снисходительное нечто: дескать, живой был, неумный человек, прирожденный энтузиаст-организатор, возбужденно чувствующийся вокруг талантов. И только тихий сумасшедший Велимир Хлебников, истинную цену людям видя безошибочно и сразу, включил Бориса Пронина, не колеблясь, в свой список непрременных Председателей Земного Шара, а снисходительных воспоминателей он в этот список не включил ни одного.

Так бы и увял в средних актерах Борис Пронин, бурля энергией и выкипая в пустоте (чисто по-русски сложилась бы судьба, пить бы начал, чтобы остудиться), но время было милостиво к нему. Дух российский всходил, как на дрожжах (до чугунной сверху крышки еще лет десять оставалось), и пришедшую в голову мечту-идею Пронину удалось осуществить: он учредил кафе для артистической (в широком смысле слова) публики. Удалось ему устроить место, как любил он говорить, куда могли приткнуться к ночи ближе беспрютные собаки — только что отыгравшие и не остывшие актеры и музыканты. А что к ним потянутся художники и поэты — он это чутьем понимал.

Так и открылась «Бродячая собака» в подвале дома

(вход со двора) на углу Михайловской площади в ночь с одиннадцатого на двенадцатый год. За два дня всего (и две ночи) расписал ее от пола до потолка (включительно) изумительный художник Судейкин. И еще художник Сапунов участвовал — имена обоих достаточно сегодня известны, чтобы поверить всем воспоминателям, что прекрасен был этот подвал при всей неприхотливости мебелировки. Деревянные легкие некрашенные столы, соломенные стулья и табуретки, дешевые скатерти, огромная самодельная люстра. Да еще кирпичный камин грубой кладки.

А на стенах и на потолке там было вот что (Рубин аккуратно выписал из воспоминаний): орнаменты всевозможные и разноликие, птицы и звери в изобилии видов и пород, диковинные цветы и растения. Негры, женщины, дети. Венеры и Вакхи, нимфы и наяды, сюжеты фантастических романов всех времен. Пьеро с Пьереттой и печальный Арлекин. Горестная судьба спившегося поэта. Фокусники, шуты, паяцы, клоуны и мимы. Дон-Кихот и его верный Росинант. Гномы, карлики, феи. И танцы, танцы, танцы...

Предназначенное для актеров кафе имело друзей, обладавших правом приходить запросто когда угодно. Друзьями «Собаки» стало множество поэтов и художников, однако (далее слова самого Пронина) — «другом был и один инженер, который ставил флюгер и ночью во фраке и белой сорочке лазил на чердак и на крышу, благодаря его стараниям камин в «Собаке» стал гореть».

Пили умеренно. Курили ожесточенно. Были нехитрые закуски, ибо наличествовал буфетчик Кузьма. Но кто за все это платил? Артисты и художники — весьма немного (да и не смогли бы), остальное несли посетители «Бродячей собаки», люди самых разных занятий и слоев общества, кто готов был оплатить, не скупясь, вечер в кругу богемы. От желающих не было отбоя. Издавна и точно замечено, что преуспевшие на своем поприще врачи (особенно дантисты и венерологи), адвокаты и маклеры начинают со временем горячо и трепетно любить искусство и людей искусства. Их в «Бродячей собаке» собирательно именовали фармацевтами. Стоимость их билетов покрывала сполна расходы на содержание подвала, а о доходах Борис Пронин не помышлял отродясь.

Ближе к ночи несколько десятков человек тесно за-

полняли обе комнаты подвала, и перебивали там, пожалуй, все (или почти все), кого с особым вниманием упоминает ныне история российской культуры. И великое множество других и прочих.

Запимаясь подготовительными выписками и уже набрасывая отдельные страницы книги, Рубин впал внезапно (и естественно) в соблазн пошлости недопустимой, но понятной. Изумительно емкое это слово — пошлость (только в русском языке существующее) — ни одним из определений в словарях не исчерпывается, и неисчислимо количество ее видов и форм. Ибо пошлость — это просто тень и спутник жизни (тень на за-саленной стене — этот образ Рубин записал отдельно, чтобы потом зарифмовать), а кто сочтет разнообразие жизненных форм? Тот вид пошлости, в который впал Рубин, был легко объясним, так как слишком много знаменитых людей посещало тогда «Бродячую собаку» — стоило хоть кое-как пристегнуть к ним в собеседники Николая Бруни, и какая бы вышла книга! Вот Ахматова, наклонясь к Бруни через столик, шепчет ему задумчиво и доверительно: «Все мы бражники здесь, блудницы» — и тут же лезет в сумочку за карандашом, чтоб записать удавшуюся строчку. Или Осип Мандельштам, надменно откинув лысеющую голову, читает приятелю свои ранние стихи: «Дано мне тело, что мне делать с ним?» — и в тот же день, уже утром, ведет его Николай Бруни знакомить со своим младшим братом — вот и готова история портрета Мандельштама, сделанного некогда Львом Бруни. Тут же заехавший из Москвы Владислав Ходасевич говорит что-то дружественно-едкое молодому собрату, тот возражает с пылом и меткостью, немедленно вслед пойдут строчки стихотворения Бруни (оно есть!), посвященного Ходасевичу, — в них действительно явно слышны отзвуки еще не остывшего спора. А стихотворение Ходасевича «Авиатору», написанное много позже — о земле, зовущей летчика упасть, — не навеяно ли оно (как убедительно!) именно катастрофой с Бруни, которая уже не за горами? А у молодого Георгия Иванова — просто есть сонет, посвященный начинающему поэту Бруни, — со следами тесного знакомства притом: знает о его родстве с Брюлловым и об увлеченности музыкой. В сонете есть некое покровительственное напутствие (просто от молодой наглости, ибо начал ненамного раньше), но и явное дружеское участие есть:

Поэт, мужайся,
оксан готов поэзии открыться пред тобою:
сверкнет пучина зыбью голубою,
блистательными россыпями слов.
Тебя к художеству зовет Брюллов,
Бетховен манит сладостью иною —
но их забудь! Бестрепетной рукою
свой невод правь — и будет щедр улов.

И так далее, но восьми строчек достаточно вполне, чтобы понять: он там свой, он принят этими людьми как равный, он с ними пьет и курит, обмениваясь высокими репликами (уж их-то можно было надергать сколько угодно, не говоря о собственных придумках, ибо осененные высокими именами, прозвучат любые банальности значимо и веско).

А Хлебников, бывавший неоднократно в «Собаке», — что стоило ему, увлеченному магией чисел, шепнуть однажды юному Бруни, что грядет скоро «некто семнадцатый» — и все прошлое взорвется, обрушится и погибнет. А юный Бруни, чтоб ему не поверил, возразил с оптимизмом молодости, и тогда прекрасный вышел бы исторический разговор, и никто бы не усомнился, что подлинный.

А Маяковский — тогда еще талантливый необыкновенно, застенчиво-наглый (впервые читал свои стихи в «Собаке»), не погрязший в слепом и низком служении высокому мифу, от которого освободился только пулей, не разменявший еще себя на славу и плату, — тоже вполне мог быть застольным собеседником Бруни.

Все это могло быть. И в каком-то виде было, несомненно. И с трудом исцелился Рубин от соблазна, который дня два трепал его воображение сладостной легкостью наплести красивые пошлости, пользуясь магией имен.

А соблазн осилив, он вернулся к сухой документальности. То есть к необходимости догадываться, ибо прямых свидетельств не было.

Сбылась давнишняя мечта Мейерхольда о клубе для художников и актеров, где поэты и музыканты могли чувствовать себя как дома — очевидную и неизмеримую пользу предвидел гениальный режиссер от такого тесного и естественного общения творческих людей.

Менее десяти лет оставалось до времени, когда именно такое содружество под названием ХЛАМ (Художники, Литераторы, Актеры, Музыканты) соберется в одном из монастырских подвалов на Соловец-

ких островах, образовав первую в стране лагерную самодетельность. Бравируя (с иронией обреченных) своим названием, которое точно и убийственно выражало отношение новой власти к людям искусства, с очевидностью лишним для построения нового общества.

Но пора было гадать, в какие дни (вернес, ночи) поэт Бруни сидел в «Бродячей собаке» наверняка. Както в январе двенадцатого года — безусловно, ибо чествовали поэта Бальмонта (тут знакомство давнее и тесное) в ознаменование четверти века творчества. Сам юбиляр в это время был в Париже. Участники Цеха поэтов, равно мастера и подмастерья, читали свои стихи. Много было и шумно говорено. Всякого и разного, разумеется. Конечно, меньше всего — о Бальмонте.

В октябре того же года чествовали Сергея Городецкого в связи с выходом сборника, увенчали собрата лавровым венком, и все опять читали собственные стихи.

Наступало время авангарда. Футуристы шумно провозглашали нечто неясное в смысле конструктивном и положительном, но, безусловно, разрушительное, отрицающее и взрывное по отношению к искусству прошлому. Нечто вроде такого, ныне общеизвестного из мемуаров и манифестов:

— Затасканный комментаторами и почитателями, Пушкин является мозолью русской жизни.

Или:

— Серов и Репин — арбузные корки, плавающие в помойной лохани.

Ниспровергались и осмеивались (вернес, охаивались) подряд все каноны, догмы, традиции и святыни прежнего искусства. Зудом сокрушения, вскоре поразившим всю страну, густо был пронизан и насыщен воздух времени — первыми это, естественно, почувствовали и ощутили художники, так что авангард в поэзии и живописи был провозвестником, барометром надвигающейся бури, породившей в результате тоже нечто глобально авангардное: хаос, разлом, сумятицу. В относительный порядок это все чуть позже привела железная рука (и железная метла в ней).

А пока что доходили ниспровергатели до уничтожения смысла, до ничего, до пустоты, лишь бы отвергнуть все, что было ранее. Свою «Поэму конца» (вся поэма — из одного только заглавия на чистом листе) с успехом читал в подвале худосочный туберкулезный автор. Он

ее читал мимикой и жестом: произносил название, руку вздымал вверх, закатывал глаза, другую руку заводил резко назад и — сходил с эстрады.

Были и другие художества. Пафос ниспровержения и сокрушения нарастал пока что только в безопасной для человечества области пластических поисков. Скоро он овладеет всеми.

Жадной горстью собирал Рубин факты, наискосок просматривая книги и статьи, не всегда удосуживаясь даже менять слова в заимствованных фразах и призывах. Во всяческих декларациях, хартиях, скрижалях и манифестах (не было им тогда числа и предела) он нацеленным глазом выбирал главное, общее тогда у всех и у всех звучавшее в крик, лаконично сказанное некогда яростным ниспровергателем Бакуниным: «Страсть к разрушению есть творческая страсть».

Хищный взгляд Рубина упал на имя Исая Добровейна — пианиста, часто посещавшего подвал. Это он однажды будет играть Бетховена, и его слушатель Ульянов-Ленин скажет свои знаменитые авангардные слова, что хочется ему от этой музыки плакать и гладить кого-то по голове, а сейчас время такое, что непременно надо бить по этой чьей-то голове. Смыкались и совпадали чувства самых разнообразных людей в эти обреченные годы в этой обреченной стране. Так что интеллигенции российской меньше всех следовало винить кого-то постороннего в своей последующей агонии и гибели.

Николай Бруни был и на сборище в честь итальянского футуриста Маринетти. (Не было никаких документальных подтверждений, но уж очень интересный получился тогда вечер в «Собаке»).

Маринетти говорил то же самое, что говорил вездѣ. Вернее, не говорил, а провозглашал свои свирепые (столь безобидные в устах художника!) сентенции и лозунги:

— Разрушить музеи и библиотеки! Сокрушить обветшалую культуру прошлых поколений! До основанья! И по возможности — немедленно.

— Вашим Пушкиным вам затыкают рот не хуже, чем нам — нашими покойниками!

— Динамизм — основной принцип современности!

— Война — единственная гигиена мира!

И всякое подобное — по всем проблемам бытия и мироздания. Ничего в мире загадочного для Маринетти не было, ценного было тоже очень немного: разве что

техника, дарующая скорость. Автомобили и аэропланы он уважал. Позже светлое будущее усмотрел он в опереточном итальянском фашизме, так что вполне последовательно шел по авангардному пути.

А тогда в «Бродячей собаке» он вдруг притих. Было это уже под утро, фармацевты разошлись, утолив свою жажду приобщения к богеме. Оставались только завсегдатаи. У входной двери Борис Пронин (это его рассказ) увидел Сашу Орлова, знаменитого в то время артиста, первого комика Марининского театра, исполнителя на эстраде «характерных» танцев.

— Граф тут? (Это была дружеская кличка пианиста Цибульского, постоянного тапера и аккомпаниатора в «Бродячей собаке»).

— Здесь, — ответил Пронин.

— Когда я свистну, пусть Граф начинает русскую в минорных медленных темпах, а ты, Борис, очисти стол.

Отдернулся занавес — красный с золотой бахромой — из крашеного солдатского сукна. Раздался пронзительный разбойничий свист. Орлов вышел на эстраду в пиджаке, кашне и картузе. Сделал несколько шагов в ритме аккордов — и, перелетев на столик возле эстрады, принялся плясать русскую на этой крохотной непрочной опоре. Пианист стремительно ускорял темп, и Орлов плясал, плясал, перейдя к концу на сумасшедший вихрь вприсядку. Соскочил и залпом выпил стакан вина, запрокинув голову, но не уронив картуз. Знай наших! Зал взорвался аплодисментами. Маринетти в ужасе и восторге (он ведь был только теоретиком динамизма) спросил, кто это. Ему объяснили. — О, — воскликнул Маринетти, — теперь я понял русскую тройку в степи.

Мысли Рубина соскользнули немедленно и привычно в круг ассоциаций, из которых ему никак было не выбраться последние месяцы.

Начало сороковых. Война. Один из бесчисленных лагерей на Урале. Одессит Петр Фредин, лет пятидесяти, чуть похожий на Чарли Чаплина. Клоун, циркач, эстрадник, дрессировщик. Был когда-то беспризорником, выступал на ярмарках в балаганах, после попал к Дурову, много лет работал у него со зверьми, стал близким человеком в доме знаменитого артиста, даже псевдоним себе взял с его позволения — Петр Дуров. Приглашен был выступить однажды в итальянском посольстве, был осужден за это, как тысячи таких

же, — по подозрению в шпионаже, то есть ни за что, единичка в плане по посадкам. В лагере участвовал в самодеятельности, с лихостью и блеском исполнял любые танцы и нехитрые показывал эстрадные фокусы. Это от работы не освобождало, но работу подыскивали ему нетяжкую — сторожем в механических мастерских. А они однажды днем загорелись. Хотя он был сторожем ночным, но требовался виноватый, и стрелочником выбрали Фредина. Впрочем, наказание дали небольшое: три месяца штрафной командировки на отдаленном каменном карьере. Но практически это означало смертный приговор. Ибо на карьере был тюремный режим, то есть после дня невыносимо изнурительной работы (штрафняк!) запирали зеков в тесный зарешеченный барак. И еду давали утром и вечером — в одном баке на всех. (Норма, естественно, пониженная — штрафная.) А раздачей распорядились уголовники. Так что те, кто послабей или постарше, просто не получали еды. Срок жизни был отмерен им — несколько дней. И все в лагере это прекрасно знали. Начальница культурно-воспитательной части лагеря попросила начальника по режиму, чтобы Фредина привезли на концерт. Тайный замысел (скорей надежда) был у этой доброй, но безвластной в лагере женщины, ибо на концертах в первых рядах всегда сидело начальство. Тут последний был для обреченного артиста шанс, как некогда у рабов-гладиаторов. Фредин танцевал чечетку на столике для цветов, то есть на шаткой поверхности размером в небольшое блюдо. В диком, невообразимом темпе (по его же просьбе задал темп баянист) Фредин исступленно, мастерски исполнил номер. А в глазах его — как написал впоследствии бывший там зек — стояла ясная, видимая смерть и отчаяние последнего удальца. Зал взревел от восторга, и начальство отменило штрафняк. Этот номер так потом и вспоминали зеки как «пляску смерти»; ведь сам Фредин не рассчитывал на милость, он просто плясал последний в жизни раз. А соскочив, когда закончил, тоже залихватски сказал: «Знай наших!»

Рубину показалось необходимым записать эти истории рядом.

Были наверняка в «Бродячей собаке» и другие вечера, на которые мог прийти поэт и музыкант Николай Бруни, но главное проступало с очевидностью в его жизни тех лет: масса друзей и тьма приятелей, стихи и музыка, множество запутанных, как водится, любов-

ных историй. А еще — непреходящее ощущение изумительно долгой, насыщенной и непредсказуемой жизни. Было осознание своих способностей, чувство нерасторжимой связи с миром и Россией, благодарное счастье существования.

Ожидаемо и неожиданно началась первая мировая война. Началась кровавая сумятица, началась кровавая неразбериха, началось кровавое усечение судеб. Начался подлинный двадцатый век.

Рубин испытал однажды странное чувство прикосновенности к тому времени и тому поколению, словно стерлось несколько десятков лет и прошлое перестало казаться древностью. Просто повезло невероятно: он попал на день рождения знаменитого некогда футуриста Алексея Елисеевича Крученых. И сидел, боясь лишнее слово проронить, чтобы не пропустить чужое. Чуть наискосок от Рубина помещался сам семидесятилетний юбиляр, маленький и не очень аккуратного вида щуплый подвижный старичок, некогда друг и сподвижник Хлебникова, Бурлюка, Маяковского. Самая мысль об этом завораживала Рубина сладким и мистическим чувством сиюминутной причастности к самой что ни на есть истории российской словесности, а был он тогда тридцатилетний (почти что) журналист, и его очень очаровывала ситуация и разговоры в застолье. Да еще один раз, привскочив на каком-то тосте, Крученых громко сказал:

— Нет, мне сидеть надо, мне Маяковский говорил всегда: вы, Алексей, сидите, вы сидя страшней.

А вокруг пировали за столом тоже не простые прохожие, каждый с именем и интересен по-своему, жаль, что далеко не все были ему известны, кто есть кто. Странно и забавно было Рубину, чуть наклонясь вперед или отклонившись, видеть сбоку от себя через двух старушек живого Льва Никулина, о котором шутку помнил, широко ходившую некогда: «Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?». Искал и не мог найти Рубин в мудром и привлекательном лице черты растления и предательства, что приписывались этому старику всеведущей столичной молвой. Ничего, кроме острого интереса, Рубин к нему не чувствовал, и втайне укорял себя (молод был) за полную беспринципность, только не уходить же ему было отсюда из-за случайного соседства с многолетним осведомителем Лубянки (так ведь это же по слухам только, мало ли что наплетут на том лишь

основании, что допускается писатель в сокровенные архивы сыска).

А сейчас бы, подумал Рубин, ушел? Тоже нет, признался он себе, только сейчас бы и укоров совести не было, притерся.

И еще там были разные древние старушки и старики, только Рубин в ту пору молод был, — так что и не особенно, должно быть, древние. Шел застольный оживленный разговор сразу ни о чем и обо всем, а еще были блины в изобилии и отменная соленая рыба. Один обмен репликами был настолько прекрасен, что Рубин тайно отметку сделал на сигаретной пачке обгорелой спичкой: не забыть. Одна из старушек чинно спросила юбиляра, часто ли и как подолгу он видел Блока.

— Я однажды был в гостях у Короленко, — сказал Крученых сквозь быстро поедаемый (текла сметана) блин, — и Владимир Галактионович сказал мне, когда я ем, я глух и нем.

И замолчал, готовя следующий блин.

— А Блок? — недоуменно и застенчиво спросила старушка.

— А Блока там не было, — невозмутимо пояснил маститый юбиляр.

Еще смеялись, когда пришел встреченный шумными приветствиями Сергей Михалков. Раньше только в кино и на портретах видел Рубин этого автора государственного гимна, поэта и лизоблюда, прожженного циника, тайно помогавшего семьям ссыльных, яркое российское совмещение подонка с интеллигентом.

Михалков сел возле юбиляра, вкусно выпил за его здоровье, смачно закусил блином с икрой, сочно и громко заговорил, — немедля став душой стола и тамадой. Легкое заикание совершенно не мешало ему. Текли пряные литературные байки былых и нынешних времен.

— А х-хотите, — вдруг сказал Михалков, — расскажу вам н-необыкновен-ную историю? Х-хотите?

И рассказал. Действительно очень стоящую историю. Произошла она в Будапеште в пятьдесят шестом году, когда было уже подавлено и растоптано обреченное венгерское восстание, и карательные наши войска стягивались в городе на ночлег. Ехал по улице в казарму бронетранспортер, набитый доблестными российскими душителями (замечательными, скорей всего, парнями, слепыми и послушными исполнителями воинского приказа), когда с чердака откуда-то резко хлестнула по

тишине одинокая автоматная очередь. Солдаты бросились в дом и оттуда выволокли немедленно — разъяренные и растерянные одновременно — двух детей, девочку лет двенадцати и мальчика лет восьми. У девочки даже не вырвали из рук автомат, она держала его, обняв, как куклу. Их привезли в комендатуру. Что делать с детьми, никто не знал. Со взрослыми — проще простого и на месте, а тут младенцы. Стали звонить начальству, спрашивать докладывать, выяснять. То ли ответственность на себя боялись взять, а то ли грех на душу. Мальчик, наконец, не выдержал и заплакал. И тогда сестра ему сказала — громко, все слышали в комендатуре.

— Не плачь! Мы умрем вместе. Ты погибнешь, как Олег Кошевой, а я — как Зоя Космодемьянская.

Молчание повисло над пиршественным столом. Тягостное и оглушительное молчание. Михалков, сперва окинувший слушателей победительным взглядом опытного рассказчика, оценил немедленно ситуацию и, чтоб общее оцепенение снять, назидательно сказал:

— В-вот какая моральная ясность должна быть в нашей литературе — чтобы дети не путались.

Кто-то хмыкнул, но молчание не разорвалось. Эта секунда, показалось Рубину, длилась тягостно и бесконечно, у него не хватило выдержки.

— А по-моему, — сказал он негромко, — моральная ясность должна быть в поступках государства, тогда и дети не будут путаться.

Он сконфузился от своей поспешливости (сколько старших было за столом, явной бестактностью было высказывать), поймал одобрительный взгляд незнакомой сгорбленной старушки с яркими живыми глазами и увидел, как медленно-медленно поворачивает к нему лицо Михалков.

И за это мгновение промелькнула в его памяти, как перед утопающим — жизнь, одна история, благодаря которой он уже ясно знал сейчас, что ему скажет Михалков. Это была давняя байка, пересказанная кем-то со слов Виктора Луи, журналиста и проходимца, известного исполнителя щекотливых поручений Лубянки. Будто был некогда Луи в Иерусалиме по таинственным своим делам, а там зашел в православную церковь, где служил обедню приехавший от Московской Патриархии невзрачный попик. После службы подойдя к нему, якобы спросил у попа Луи — кто разбил в церкви над

дверью стекло. Просто так спросил, для завязки разговора, но попик радостно оживился:

— А жиды, батюшка, жиды, — проникновенно ответил он. — В праздник свой какой-то водки выпили и булжничек в стеклышко звезданули.

— Вроде как не пьют они, не хулиганят, — усомнился Луи. — И с чего бы им камнями в храм кидаться?

Тут, согласно байке, осветились по-рысьи глазки попка непристойным для священнослужителя следственным огоньком, и он ласково спросил собеседника:

— А ты, кстати, милый, где в Москве живешь, кем работаешь?

Так что совершенно не удивился Рубин, что глаза Михалкова осветились острым огоньком, непристойным для служителя муз, и он ласково спросил у Рубина:

— А вы кем и где работаете, батенька?

Рубин вместо ответа неприлично засмеялся от утробной пронизательности своей, тут же опять сконфузился от громкого смеха и так почувствовал себя, словно пролил на скатерть расплавленное для блинов масло из старинного кузнецовского соусника. И пролепетал невнятно, что литератор. Михалков отчего-то успокоился и потерял к нему всякий интерес, громко начав говорить с юбиляром о шальной и дивной его молодости, мигом вовлекши всех старушек в воспоминания. А Рубин выбрался из-за стола, чтобы украдкой записать услышанное по свежим следам: в каждой байке ему виделась тогда притча. А когда он возвращался к столу, уже прежний беспорядочный и шумный царил хмельной разговор, словно пролитое масло вытерли или собрали тряпкой аккуратно, а пятно заставили новым блюдом.

И запомнил Рубин после этого вечера свежее и странное свое ощущение: совершенно рядом то легендарное время начала века, вовсе нету в нем непостижимой мистики или необыкновенной загадочности, если вот из него живой человек сидит.

А еще тот вечер запомнился потому, что познакомился там Рубин со своей будущей (очень вскоре) женой. И уже который год жили они в покое и счастье — насколько существуют, естественно, в реальной жизни эти относительные понятия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Нет, я никогда не встречал вашего Николая Бруни, мне очень жаль, — негромко сказал грузный и рыхлый старик, вальяжно полусидевший в кровати, тяжело вдавливаясь в две заботливо подложенные большие подушки со свежими наволочками.

Рубин обернулся — он искоса смотрел в окно — и живо спросил:

— А почему вам жаль?

— Я хотел бы всю жизнь прожить именно с такими людьми, а прожил... — старик вяло, но выразительно шевельнул толстой белой кистью левой руки, неподвижно протянутой вдоль тела. В самом голосе его, в застылости большого и гладкого отечного лица — чувствовались бессилие и усталость. Старческие, последние. И в чисто прибраной проветренной комнате ощутимо пахло тленом, тем сладковатым запахом ухоженной, но разлагающейся плоти, который всегда примешивается потом к запаху цветов, приносимых на последние проходы.

Старик не продолжал, и Рубин не повторил вопрос. Он еще плохо понимал, с кем разговаривает и зачем сюда пришел. Вчера вечером ему позвонил давний его друг, врач-психиатр Фальк, дал телефон и адрес, объяснил загадочно и немногословно, что Рубину это будет полезно и интересно, старику же — просто необходимо повидаться с Рубиным, так что это нужно и Фальку, лечащему старика. Утром Рубин послушно позвонил, услышал бодрый и приветливый немолодой голос, приехал, дверь ему открыл пожилой снулый человек лет шестидесяти, оказавшийся сыном пациента. Он учтиво помог Рубину скинуть и повесить куртку, после чего молча провел его через коридор в комнату, где лежал отец. О родстве неопровержимо свидетельствовали лица обоих — одинаковые, словно воспроизведенные специально. Отец назвался Владимиром Михайловичем, сын сразу вышел, старик молча и бесцеремонно разглядывал Рубина маленькими мутными глазками, странно выглядящими на большом овальном лице под огромным лепным лбом и буйными седыми бровями. А еще темные фиолетовые мешки под глазами выделялись на мучнистом лице. Рубин глянул на старика, перевел взгляд на телевизор, косо повернутый на письменном столе, чтоб видеть экран с кровати, посмотрел за окно и на секунду

застыл от великолепия маленькой церквушки, уютно и влажно светящейся куполами в сумеречном окружении тополиной листвы.

— Из окна замечательный у вас вид, — сказал он, чтобы что-то сказать.

— Да, но не на жительство, — хрипло откликнулся хозяин.

Реплика понравилась Рубину, он засмеялся, повернулся, сел. Толстый старик молчал и лицо его было неподвижно, только глаза неторопливо и ощупывающе скользили по гостю.

— А вы Фалька давно знаете? — неловко и напряженно спросил Рубин, мучаясь догадками, зачем он здесь. Взгляд старика остановился и ушел куда-то внутрь.

— Нет, — ответил старик тихо и размеренно. — Он был у меня два раза. Он, по-моему, отменный человек и, вероятно, прекрасный врач.

— А вы? — спросил Рубин. — В смысле — кто вы по профессии?

— Я понимаю, что вопрос не о моих душевных качествах, — не улыбаясь прошелестел старик с застывшим лицом, и только глазки его чуть ожили и смотрели теперь остро и твердо. — А я убийца, — спокойно и чуть громче сказал он. — Профессиональный убийца.

Рубин вежливо и недоуменно молчал.

— Пушечных дел мастер, — пояснил старик. — Площадь поражения, убойная сила, покрываемость цели — такие у меня были проблемы. И я всю жизнь решал их очень успешно.

В его безжизненном тоне не слышалось ни юмора, ни вызова, Рубину было неясно — хвастает или досадует старик. И он опять промолчал.

— Мне объяснили это еще в сороковом, — старик ни единой мышцей лица не двигал, только лиловые губы большого рта чуть заметно шевелились. — Я тогда молод был, на тюрьму досадовал сильнее всего, что она меня от дела оторвала, и все время порывался лекцию кому-нибудь прочитать о своем увлекательном ремесле. Вот в Бутырской тюрьме нашлись как раз и время, и аудитория. Рассказал немного, мне и говорит кто-то из старших: милый, да ведь ты убийца. А я так жизнерадостно в ответ: что вы, это же так нужно родине, так интересно, так...

Старик замолк и шумно выдохнул воздух. Снова шевельнулась и опала кисть руки.

— После я это вспомнил, уже в старости, — он цедил слова размеренно, веско и негромко. — А жизнь ушла. На что ушла, во имя чего, зачем — не помню.

И безо всякого перехода старик резко и требовательно спросил:

— Вы документальное что-то пишете? Фальк сказал, что документальное. — В твердом взгляде его тусклых и острых глаз не было ни доброжелательства, ни вежливого радушия, ни даже простой приветливости. Словно некий назойливый посетитель явился к нему с жалкой просьбой во внеурочное время.

— Документальное, — медленно ответил Рубин, решив в назидание этому огромному дряблему невеже быть отменно приятным собеседником. Улыбнулся через силу и добавил:

— Твердо знаю, что начисто лишен воображения. Так что способен только к документальному жанру.

— Это хорошо, — не улыбаясь сказал старик. — Это даже очень хорошо. Только вы вот на меня сердиться начинаете, злитесь даже. Станный и наглый тип, думаете вы, обездвиженный вялый мучной червь без проблеска человеческих эмоций. Даже на простое хозяйское радушие не способен.

Старик замолк на секунду. Рубин хотел было возразить, но белая старческая кисть руки шевельнулась так досадливо и повелительно, что он на полузвуке проглотил свои слова. И старик вдруг улыбнулся еле заметно, сразу резко потеплели и углубились его выцветшие глаза.

— Не сердчайте, — сказал он тихо, но энергично. — У меня, поверьте, нету сил ни на что кроме коротких фраз. Уже столько всякого с моей дурацкой плотью стряслось — не перечислить. Еле выкарабкался. Как сами видите — не слишком надолго. И еще я сон потерял. Я не сплю совсем, вообще. Дай вам Бог не знать, что такое долгая бессонница. Оттого мы и позвали Фалька. Тут и всплыло ваше имя. И не обижайтесь на меня. Дайте мне передохнуть и расскажите, о чем вы пишете.

Острый стыд за свое нетерпеливое раздражение подстегнул Рубина, отчего все известное ему о Николае Бруни было рассказано живо и неформально. Выслушав, старик прошелестел, что он не знал, к сожалению,

художника Бруни и что ему жаль, что он не знал. Рубин спросил, почему жаль. Только тут и начался разговор. Старик расходовал силы экономно, теперь Рубин видел и понимал это. И на кисть левой руки все время смотрел. Очень она значимо шевелилась каждый раз на ворсистом оранжевом одеяле. А уже потом негромкие текли, очень отмеренные слова.

— Я родился в Петербурге, уезжал учиться из Петрограда, арестован был в Ленинграде, а хотел бы жить всю жизнь в Петрополе.

— В Петрополе? — переспросил Рубин.

— В несуществующем, условном, отвлеченном. В городе Белого, Ходасевича, Гумилева. Я бы слушал их стихи, завывал при случае собственные. Я всю жизнь писал стихи. Не пугайтесь, я не буду их читать.

— Этим меня трудно испугать, — усмешливо возразил Рубин. — Я графоман, сам их пишу.

— Да, я слышал, — без интереса продолжал старик так же размеренно и негромко. — Мне Фальк об этом говорил. Очень притом похвально отзывался. А я не верю. Я не верю в ничьи сегодняшние стихи.

— Ни в чьи? — удивился Рубин.

— Ни в чьи, — твердо ответил старик. — Мое поколение еще нюхало пиджак живого Блока, а сегодняшним нюхать нечего.

Рубин проглотил обидчивое возражение, но старик, его чувства уловив, опять заговорил монотонно:

— Не обижайтесь. Я всегда очень обидно шучу, я знаю. Говорят, у Мандельштама был характер не лучше и не легче моего. И с ним я пообщался бы в Петрополе.

Рубина потянуло спросить, уверен ли уважаемый собеседник, что названные поэты с ним тоже захотели бы общаться, но старик опять его обиженную мысль угадал.

— Только вы меня правильно поймите. Я ведь сознаю, что им со мной общение нужно, как соловью бронхит, но ведь и Петрополь вымышленный, так что мечты мои вполне условны и бесплотны. С Бруни вашим я бы тоже виделся с удовольствием.

Это сразу примирило Рубина с платоническими помыслами старика — что-то донеслось до него, значит, сквозь марево бессонницы и недугов.

— Я бы и сам не отказался, — пробормотал Рубин.

— Если бы нашли общий язык, — снова спокойно оскорбил его собеседник. И снова поторопился объяс-

ниться, даже голос его обрел энергию и чуть блеснули глаза.

— Мы ведь невероятно разобщены. Посмотрите, как мы с вами сейчас бессильно пробиваемся друг к другу. Вы мне возразите, что в этом виноват я, — не спорю. Но лишь отчасти. Главное же, что мы каждый в себе. Очень это тяжкая работа — пробиться сквозь невидимую вату. Застреваешь на каждом слове. Знаете, мне часто думалось, что библейская легенда о вавилонском смещении языков — она вовсе не о рождении разных наречий, а как раз о нашей неспособности понять друг друга, каждый каждого, на родном для обоих языке.

— Хорошая идея, — одобрил Рубин искренне. — Правдоподобная.

— Я необыкновенно интересных людей встретил в Бутырках в мое первое и второе сидение, — сказал старик. — Но в первое я был мальчишкой и дураком, оттого и не умел их оценить, а во второе...

Он замолчал, устав и дыша открытым ртом. Рубин терпеливо ждал, потом спросил нарочито медленно, чтобы дать старику передохнуть:

— А вы много просидели в общей сложности за эти две посадки?

— Очень мало, — прошелестел старик. — Но я хочу вам рассказать. Мне кажется, что я поэтому не сплю. От того, что мне надо кому-нибудь рассказать. Чтобы это сохранилось у кого-нибудь. Чтобы не ушло со мной.

А не оттого ли, что убийца, подумал Рубин. Так ведь бывает: совесть и все такое.

— И мальчишки кровавые в глазах, — сказал старик. — Вам хочется у меня спросить, не потому ли я не сплю. Не потому. Я ведь только рассчитывал, изобретал и проверял на полигонах. В этом смысле огромное, между прочим, облегчение современным убийцам доставил технический прогресс. Убивают они теперь заочно, массами, не сами и на расстоянии. Конечно, легче. Игра, а не убийство. Умозрительная задача. Да и не в том даже дело. Все равно ведь убийцы в личной жизни доброй души бывали и очень милые люди. Детей баловали, кошек обожали, разводили розы, на скрипках пиликали, искренне плакали, Аппassionату слушая. И миллионы, миллионы от игры ума творцов этих ушли в небытие. И без поминовения ушли, вот это меня мучает неимоверно. Мы все сегодняшние люди, быть может,

потому и неполноценные, что наши умершие молчат, исчезнув. А они заговорить должны, тогда хоть внуки наши выйдут в человеки. Я совсем немного лично помню, но я должен, должен их назвать, я для этого позвал вас, я без этого уйти не вправе. Вы, скорей всего, просто не понимаете меня?

Он смотрел сейчас на Рубина грозно и напряженно. На огромном его лбу проступила испарина возбуждения.

— А для чего бы я тогда занимался биографией Бруни? — сухо возразил Рубин, ощущая смешную детскую обиду от того, что его используют как поминального писца. Зачем я в это ввязался? — подумал он.

— Вставьте туда мой крохотный свидетельский поминальник, — старик не попросил, а потребовал. — Мне это очень нужно, поверьте. Уж не знаю как, но вставьте. Кроме того, мелкие детали и факты могут обнаружиться и истории послужить. Вы, например, знаете, что Ежов был жив еще в сороковом году? Это ложь была, что он расстрелян. Его видели в сороковом, этого гнусного карлика с чистыми фиолетовыми глазами.

— А он тоже был маленький? — этому Рубин почему-то более всего удивился.

— Очень. Ведь Коба рослых ненавидел. В судьбе людей, к нему причастных, рост играл очень значительную роль. Был даже случай, когда в Кремль вызвали сразу нескольких генералов, нужен был срочно какой-то крупный начальник, уж не помню какого ведомства. Они стояли, обмирая от страха и не зная, зачем их вызвали, а Коба вышел, трубкой ткнул в самого маленького, сказал, как в детской считалке «Ты будешь» — и ушел. И самый мелкий стал начальником, для тысяч богом и царем. Только давайте не отвлекаться пока. Из нашей камеры в Бутырках осенью сорокового года моего соседа по нарам возили на очную ставку с Ежовым. Будете писать?

Рубин взял авторучку и раскрыл тетрадь. Ритм речи старика сразу переменился. Он медленно и тщательно диктовал. Глаза его смотрели не на Рубина теперь, а на тетрадь и ручку в руке.

— Егоров, начальник политического управления Киевского военного округа. Чекист еще с гражданской войны. Очень когда-то мужественный и сильный, а в Бутырке — сломленный и конченный человек. Студень дрожащий. Он участвовал во всех вакханалиях и Яго-

ды, и Ежова, а теперь попал в мясорубку сам. И она его совершенно перемолола. Покалечен он был сильно на допросах — видно, упирался сперва. Ребра сломаны были, с суставами что-то, все лицо перекашивалось от боли, когда двигался. Но не стонал. У него в тюрьме словно глаза открылись — кажется, это его и доконало. Там еще были с десятков чекистов, но те держались особняком. Как волки. И надменно очень. Еще надеялись. Говорили, что их вот-вот обратно призовут. Кстати, Егоров много говорил о плановости этого террора. Из Москвы спускали разнарядку по республикам и областям: обнаружить столько-то и столько тысяч врагов народа. Те — в районы запускали соответствующее число. А уж там — по городам и селам. А еще полно было любителей выслужиться и план перевыполнить. Так что это тоже было стахановское движение. Области друг с другом соревновались, доклады делали. Вообще я интересную идею слышал: что такой размах арестов в тридцать седьмом объяснялся не чем иным, как окончанием пятилетки, то-есть и для органов тоже годом ударного труда. Опять я отвлекся. Вот Егорова, значит, к Ежову и возили. Что-то новое готовили, очевидно, осенью сорокового — уже Берия мясорубку вертел. А вернулся Егоров в ужасе и омерзении. Что рассказывал, в деталях не помню. Говорил, что борода огромная у Ежова выросла, лопатой грязно-седой висит, что весь он дергался, что впечатление полного умственного расстройства. И что все время о Боге вспоминал — заметьте это особо и подчеркните. Потому что доподлинно известно: когда Ягоду посадили и к нему Ежов приходил в камеру дела принимать, то Ягода ему сказал однажды: знаешь, а я здесь в Бога поверил. Вот интересная какая метаморфоза с палачами происходит в финале. Вы знаете, что и Маленков на пенсии верующим стал и в церковь ходит? А ведь лично в сорок девятом людей пытал, у него чуть не в кабинете пыточная камера была. Кабинет — на третьем этаже, а лифт — в подвал. Там сейчас гараж, кажется. Это если стать на площади лицом к вертепу ихнему, то с левой стороны в торце заезд в подвал, вот он туда лично спускался каждый раз, без него не начинали. Интересно, отчего они в веру ударяются? Или просто подличают, надеясь Бога обмануть? Я отвлекся, извините великодушно.

Рубин поднял голову от тетради, но старик вовсе не

смотрел на него. Он руке и ручке диктовал, только записью остро интересуясь. Досадливо дернулась вялая кисть, и Рубин снова склонился над тетрадь, как прилежный студент под носом лектора, следящего за его пером.

— О Ежове нам рассказывал и наш другой сосед. Кохановский Константин Владимирович. Он был что-то вроде замнаркома по морскому транспорту. Или по речному? Словом, по водному. Или главный инженер? Наверно. Туда назначили наркомом как раз Ежова, когда сменили его на Берню. Коба, он ведь несколько месяцев выдерживал свою жертву, мариновал для большей готовности. Ягода, когда сняли его, тоже наркомом почти был короткое время. Наркомпочтель это, по-моему, называлось. Да, так дальше о Ежове. Каждый день верзилы-охранники баскетбольного роста привозили карлика этого. Пробегали через вход, вестибюль осматривали, вели до лифта и с ним ехали. А он весь день сидел один в кабинете — крохотный за огромным столом. И-жутким, вы не поверите, делом занимался: перед ним бумаги чистой лежала целая стопка, он целый день вырезал ножницами бумажных петушков, сразу кромсал их и бросал в корзину. С утра до вечера. Доклады ему пытались делать о насущных срочных вопросах — нарком все же; он и в это время петушков не прекращал вырезать. Выслушав, равнодушно говорил: «Хуйня!» или давал невнятные то ли издевательские, то ли идиотские распоряжения, так что скоро от него просто отстали. Потом исчез. А Кохановского крепко мучили. От него можно было много получить.

Старик вдруг негромко засмеялся. Рубин поднял голову и тут же снова опустил ее, словно подсмотрел нечто неприличное. Лицо старика оставалось застывшим, только kloкочущие звуки вырывались из горла, это было малосимпатичное зрелище. А старик, оказывается, вспомнил байку, некогда уже слышанную Рубиным.

— Где-то в Азербайджане, мне рассказывали, взяли и пытали какого-то начальника, чтобы выдал соучастников своего заговора. Тот оказался сметливым и начитанным человеком: сказал, что его завербовали трое москвичей — Дюма, Бальзак и Мопассан. Следовательно местный с гордостью послал признание в столицу и ждал повышения. А оттуда срочная депеша по начальству: отпустите сумасшедшего и увольте идиота.

Рубин засмеялся вежливо и сделал вид, что записал,

хотя запись была о жутковатом впечатлении от горлового клокочущего смеха при лице-маске. Начинаящий беллетрист, он дорожил деталями бытия, усердно веря в их художественную ценность.

Старик размеренно и диктуяще продолжал.

— Удивительный был человек Шор. Моисей, а отчество не помню. Он в сорок первом появился. Сильно за шестьдесят, мне древним старцем он тогда казался. Маленький, щуплый, мужественный необыкновенно. От ума. И оптимист от того же. Знаете, есть ведь гормональные оптимисты, уж такая биохимия у них счастливая, а есть — от мудрости. Вот он такой был. Главный раввин Варшавской синагоги. Занесла его нелегкая во Львов, когда Сталин с Гитлером земли делили, что кому заглатывать. Сенатор Польского сейма. Профессор древней истории. И еще кто-то, уже не помню. В нем столько жизни было! Простой, общительный, спокойный. Учености фантастической. Каждый день молился, но аккуратно как-то, личное дело свое делал душевно, без демонстрации. Очень мне это нравилось. А то я много верующих встречал, они с надрывом часто к Богу обращались, с показухой — то ли к нему, то ли привлекая публику в свидетели, что молятся с должным рвением. Множество языков он знал — и древних, и современных. Оцените, кстати, уровень нашей камеры: на классическом немецком он читал нам лекции про археологические раскопки в древней Палестине, — что они дают для понимания Библии, и его чуть ли не половина камеры отлично понимала. Он воспалялся весь, о Библии разговаривая. А свиную колбасу охотно ел. У него своих не было передач, ни родных в Москве, ни близких, ни знакомых. Он мне объяснил, что когда еврей в смертельной беде, то от запретов наступает разрешение или послабление ритуальное. И послабление это строго соответствует размерам беды, сам должен по совести решать. И что даже худший грех — просить при том прощения у Бога, ибо не следует его обижать неверием в его всевидение и милосердие. Очень я тогда бесстрашию жизненному у Шора научился и благодарности за любое существование. Вы понимаете, надеюсь?

Рубин кивнул, не отрываясь. Старик размеренно продолжал:

— Еще поляк один был. Высокий, худой, костистый. Тоже сильно пожилой. Не сгибалась правая нога у него, как-то я спросил о причине. Он так просто и при-

ветливо мне ответил: в колене у меня, сынок, застряла пуля вашего Буденного. Князь Евстафий Сапега, первый министр Польши после войны. Философ, шутник, аристократ. Мало говорил, но только с шуткой и всегда по сути. Юмор, правда, висельный, но нам тогда как раз годился. Отчего-то висельный в такой обстановке сильней поддерживает. Очень тоже был спокойный и твердый. Эдакое мужество обреченности.

Рубин взмолился об отдыхе, выразительно помахав пальцами. Старик прищурился и чуть кивнул.

— А Блока нам читал изумительный актер из Художественного театра, — мечтательно сказал он, — Какое это было чтение! Блока я стихи только знал, а любил и почувствовал — в Бутырках. Знаете, если сосчитать, сколько людей к поэзии и знаниям приохотились в тюрьмах и лагерях, то на многие университеты хватило бы. Только погибали они потом, вот что. А еще одна троица была, тоже не без творческой жизни, я их уже не помню по именам. Современная очень идея им в голову пришла. В Москву много всяких тогда гостей приезжало. Летчики, полярники, стахановцы, выдвиженцы — помните, наверно, это время? Впрочем, что же я мелю, простите, вы ведь сопляк юный. Много было шума вокруг них. Бенгальского, разумеется, но понимаешь только задним числом. И эта троица решила; награды — наградами, почет — почетом, но и женщинами их надо обслужить. И устроили подпольный публичный дом. Где-то в старой квартире на Покровке. Створческой выдумкой, заметьте: девиц спускали с антресолей на качелях, и цветы при этом сверху сыпались. Шампанское, разумеется, в ассортименте. Полный провинциальный размах. Так они себе роскошную жизнь представляли. Девиц вербовали где-то в училище или институте, там они, по-моему, и работали эти умельцы. От клиентов отбоя не было. А под утро всех гостей обирали дочиста. Только паспорт и партбилет оставляли. И все молчали, разумеется. Пока кто-то спросонья не выпрыгнул утром из окна. Тогда их и накрыли всех. Что, отдохнули?

И старик переменял тон.

— Очень было много искалеченных на допросах. А у одного на спине между лопаток от самой шеи и почти до копчика полоса шла неширокая, коричневая, клином чуть сужаясь. Знаете на что похожая? На сморщенную выделанную кожу — переплеты старинных

книг напоминала. Это ему следователь сделал. Каждые полчаса приносил чайник крутого кипятка, слегка заправленный чаем, и лил за шиворот, чтоб он признание подписал. А в чае ведь дубильные вещества имеются — как раз для разделки кожи, я уж о кипятке не говорю.

Рубин вскинул голову, чтобы сказать что-нибудь, но старик немигающим и невидящим взглядом смотрел на руку и тетрадь. Он ведь, собственно, и не мне это рассказывает, подумал Рубин. Куда я все это дену? Теперь ведь обязательно куда-то надо деть.

— И еще один был. Гарбер, кажется. Нет, Фарбер. Это легко восстановить. Он был один из первых кавалеристов, славу Конармии составивших, орден Красного Знамени тогда за так не давали. Вот он, возможно, вашего Бруни знал. Потому что он после гражданской войны служил начальником в какой-то авиаконторе. У него было навязчивое действие, он непрерывно себе лицо раздирал — будто выщипывал невидимые волосы. С кожей, в кровь. Щеки у него и скулы были — сплошные раны кровавые, страшно смотреть, уж на что мы привыкли ко всему. Это после следствия такое у него началось. Ему изо дня в день несколько человек, смеясь, часами в лицо плевали. Крича при этом: сознавайся, жидовская морда, за сколько ты Россию продал? Вот он с тех пор себе лицо и раздирал.

— А один был нелюдимый, очень замкнутый. Однажды словом перекинулись по случаю. Он астрономом оказался, но не это важно. Главное, что был он председателем большой масонской ложи. Вот они как генерально поступили: объявили великое молчание и уход в анабиоз. До лучших, так сказать, времен. И не распустились, заметьте, не распались, а в молчание все вместе ушли. Что-то в этом есть величественное, согласитесь. Гастев была его фамилия. Был еще поэт такой известный тогда. Из романтиков, энтузиастов, подвижников. Он еще раньше был расстрелян. Или наш не Гастев был? Астров, может быть?

Страшно напряглись, словно выламываясь в негнущую сторону, толстые пальцы неподвижной руки. И, медленно расслабляясь, опять легли на одеяло.

— Больше не могу рассказывать, Илья Аронович. Я правильно вас величаю? Извините, но самое худшее, чего я так боялся... Я забыл. И все тогда теряет смысл. И в том числе я сам. Как я упустил это время, когда начал забывать фамилии?

Рубин поднял голову. Растерянно и недоуменно смотрели на него маленькие мутные глаза. Острую жалость и сочувствие ощутив, Рубин сказал:

— Если не устали еще, Владимир Михайлович, расскажите о себе немного.

Старик выпятил толстую нижнюю губу, задумавшись, взгляд его уплыл куда-то, пальцы на одеяле распластались и напряглись. Он начал медленно и словно нехотя, но сразу увлекся.

— Благополучная семья, интерес к математике, университет, ранняя любовь к загулу и к игре. Картежный долг повис однажды крупный, решили с другом нэпмана одного пощипать. В Москве он на Остоженке платьем торговал. А у него в тот вечер в гостях районная милиция пьянствовала. Хорошо хоть не пристрелили на месте. Три года дали. Очень справедливо, хочу заметить, и весьма гуманно. По сегодняшним временам — великодушно и милостиво, ибо одного служивого мы крепко помяли, а он в форме был, нынче бы втрое дали. Вот отсюда и Бутырка. Лучше я о ней вам расскажу. В двадцатых это рай был, а не тюрьма.

Старик мечтательно закрыл глаза, и лицо его снова чуть одрябло в подобии сентиментальной улыбки.

— Я бы этот период назвал наивным и романтическим. Нет, я о расстрелах в те годы знаю. Но система еще была патриархальной. Достаточно сказать, что на выходные некоторых домой отпускали — до утра понедельника. Камеры утром открывались, и общение — свободное. По коридору гуляли, как по бульвару. Снова запирали только на ночь. А библиотека какая! Кстати, на многих книгах был экслибрис: «Вацлав Воронский» — видно, всю его библиотеку тюрьме отдали, когда сго в Лозанне пришили. Замочили беднягу на глушняк.

— У вас блатная музыка в разговоре прорывается, — вставил Рубин, чтобы показать, что понимает.

— Я когда-то с легкостью по фене ботал, — хвастливо подтвердил старик. — От молодого любопытства. Кстати, Шор мне интересно объяснил: оказывается, много слов на уголовной фене из еврейского языка заимствовано. Вы иврит или идиш не знаете?

— Нет, к сожалению, — ответил Рубин. — Хотела бабушка когда-то научить, а я ленился. Очень теперь жалею.

— Да, вы здесь крепко обрусели, — подтвердил ста-

рик. — Я даже помню обрывки этимологии. Мы вот все говорим — мусор, мусора — на милицию, а ведь это не от презрения, это от слова «мусер» — сообщающий то есть, на идише или на иврите.

— А еще? — Рубину впервые довелось об этом слышать.

— Ну! — старик еле уловимо улыбнулся-ощерился, и лицо его порозовело. — Хавира, шмон, хевра, ксива, хипеж, фраер. Да их десятки, не упомяну сразу. Очень вы блатной язык обогатили.

— Забавно, — протянул Рубин. — При таком духовном вкладе странно, что евреев до сих пор с ростом преступности не увязали.

— Еще увяжут, — бодро сказал старик, и оба помолчали секунду, с пониманием глядя друг на друга.

Старик прервал молчание первым.

— А я теперь вернусь в Бутырку, не пожалеете. Башни бутырские как сейчас помню. Пугачевская, Полицейская, Северная и Часовая. Прогулка каждый день была два часа. Летом вообще — вы не поверите — многие вытаскивали одеяла и загорали во дворе в эти часы.

— Оглянись на свою молодость — как она похорошела, — усмешливо вставил Рубин чью-то припомнившуюся шутку.

— Не спорю, — откликнулся старик. — Но мы все там усердно работали. Между прочим, одно это я считаю огромным плюсом. И не из-под палки, а за сделанную плату. Сначала одна прачечная была. Туда гостиницы, санатории, больницы, дома отдыха белье привозили. После швейная мастерская открылась. Там ведь, кстати, фабрика Москвошвей прямо за стеной располагалась. Даже дверь туда была, но при мне уже заложная.

— Я человек эпохи Москвошвей, — вспомнил Рубин строчку из Мандельштама, удивленно ощутив, что от нового знания она новое звучание обрела. Собеседник запальчиво ответил:

— А что вы думаете? Мы красили там трикотаж и шили майки и трусы. Это именно в них комсомольцы тех лет шли на митинги и демонстрации.

— Потрясающе, — искренне выдохнул Рубин.

— Знаменательно, во всяком случае, — с удовольствием подтвердил старик.

— Простите меня, Владимир Михайлович, — быстро

пробормотал Рубин. — Не могу вам не прочесть одно четверостишие. Совпадение дьявольское. Можно?

И торопливо прочитал: «В первый тот субботник, что давно датой стал во всех календарях, бережно Ильич таскал бревно, спиленное в первых лагерях».

— Смешно, — без улыбки сказал старик. — Ваше?

— Приятеля одного, — уклонился Рубин.

— Значит, ваше. Что же, оно ведь так и было. Могло, во всяком случае, быть. А сапожная мастерская? Она отменную обувь выпускала. Где-то на Тверской-Ямской был наш обувной магазин. Фирменный, как по-нынешнему сказать. Там на подошве штамп стоял — Бутюр. Просто не задумывались, покупая. Думали — иностранная работа. Очень ценилась эта обувь. А столярка наша какую мебель делала! Для клубов, для домов культуры, для контор.

Тут Рубин захохотал, не выдержав. Старик недоуменно замолчал.

— Извините, просто живо я вообразил сцену партийной чистки где-нибудь в клубе. Они все в ваших костюмах, в исподнем белье тюремного пошива и в ваших башмаках — на стульях вашего производства. А президиум сидит — за столом из Бутырок. На стене портреты висят...

— Художников полно у нас было, — поддержал старик.

— И сидят они, друг друга из партии вычищая, готовя новые кадры вашему производству, — поторопился Рубин завершить картину.

— Так ведь и это еще не все, — продолжал старик, и пальцы его на одеяле проиграли что-то плавное и гармоничное. — Булочная своя у нас была. На углу теперешней Новослободской, наискосок как раз от нашей тюрьмы. И кондитерское у нас обильно пекли, знатоки-любители туда ездили специально. Пекли в бывшей синагоге для арестантов-евреев. А вот что было в бывшей православной церкви, уже не помню. Кажется, пустой она стояла. В ее притворе протодьякон Лебедев свои метлы и скребки хранил, он был дворником, когда сидел. Кто-то мне рассказывал по секрету, что он всякий раз, когда не было начальства, в церковь быстро заскакивал и большевикам с амвона анафему возглашал.

Рубин писал со скоростью, какой не знала ранее его рука. Старик ушел в воспоминания целиком и говорил, уже о записи не заботясь.

— Духовенства сидело очень много. Тогда ведь только что это бандитское изъятие прошло, когда у церкви ее ценности отобрали, веками скопленные. Ильича благословенная идея. С понтом — для помощи голодающим Поволжья. Вот у сидевших иерархов церкви было часто обвинение: за противодействие изъятию. Чтоб неповадно было. Очень, правда, быстро их на Соловки поотправляли. Мы ведь тогда не знали, что на смерть.

— Еще припомните, — попросил Рубин, — что-нибудь про ваш тюремный коммунизм.

— Трудовую армию скорее, — строго поправил его старик. — Коммунизм намного тяжелей. Уже той хотя бы малостью, что у нас не было ни единого стукача, и говорили обо всем на свете, и было с кем поговорить. Завхозом этого всего хозяйства был фантастической энергии еврей Модров. Уже не молодой, старик скорее. Это он отладил все и организовал, а на дворе, где начальство обреталось, еще устроил закуток для свиней — их отходами от нашей пищи кормили, были в те года еще отходы от еды арестантской. А вы говорите — коммунизм. И, естественно, колбасу производили. Ветчину и окорока. Слушаю сейчас себя и сам не верю. Баснословная какая-то эпоха. Сидел бы и сидел. Но на волю, между прочим, хотелось до обморочного кружения в голове. Особенно после шахмат почему-то. Много я там играл с одним. Коробовский Сережа. Музыкант он был, его Рахманинов хвалил когда-то. Шахматист тоже высокого класса. Уж не знаю, как и где он жизнь закончил. Но до старости навряд ли дожил — больно светлая была голова и норов крутой и яркой. Такие не уцелевали.

— О себе расскажите дальше, — попросил Рубин, боясь, что скоро усталость прервет их разговор.

И сразу же увидел исподлобья, как напряглись и выгнулись пальцы на одеяле.

— Да, пора теперь и обо мне, — сказал старик. — На воле кинулся я сломя голову по военной стезе. Как учился, как карьеру ломил, как унижительно в свои просачивался — гнусь эту не стану излагать. Только скажу, что пошел я в гору очень шибко в конце тридцатых, поскольку много мест освободилось, военных тысячами крошили. А я взбирался и взбирался. Правду сказать, работал я по-настоящему. И для души спасительно мне это было, потому что и на пользу дела, и

от разных мыслей отвлекает. И войной частично оправдался мой тогдашний трудовой запал. А послевоенный мне покрыть уж нечем. Но до этого дойдем.

— А страшно не было? — спросил Рубин, отрываясь от тетради. — Когда вокруг сотрудники исчезали или просто знакомые?

Старик в упор посмотрел на него невидящими мутными глазами.

— Один раз так было страшно, что картину эту помню до сих пор, — медленно и тягуче сказал он. — В очень тихом месте стало страшно. На Сретенке. Там был уникальный магазин открыт в тридцатые годы. Во всемирном, думаю, масштабе уникальный. Магазин случайных вещей. Торговал конфискованным имуществом. Сразу при входе жуткое было скопление мебели.

Старик шумно и глубоко вздохнул и продолжал, словно идя по магазину:

— Диваны были, кресла, кровати, стулья. На них — резьба, позолота, парча, кожа. Секретеры, шкафы, буфеты. Часы напольные, настенные, каминные. В бронзе, в малахите, в дереве. Картины в музейных рамах витых. Люстры, сервизы, вазы. Ковров невообразимо много разных. Шали какие-то цветастые, халаты, платья. Скатерти, накидки, покрывала. Кожанок всяких очень много. Бекеши, френчи, кители всех родов войск с оторванными пеглицами и ромбами. Следы были видны на каждом. Галифе всякие, брюки, клеши. Сапоги. Яловые, шевровые, хромовые. Не солдатская кирза, а командирская обувка. Всякое белье, даже детское. Все что душе угодно. Все, что вчера еще носили. Едва остывшее. А трубок курительных! И объявление аккуратное: новый товар в начале каждой недели. Вот объявление меня и доконало. Не соображал, как вышел, опомнился где-то на Садовой. Бежал, похоже. Только вот что прошу отметить непременно: я от пережитого страха стал еще усердней работать. Вроде как в запой, словно в побег ударился — чтоб и не помнить, и не думать. А еще вроде заручка от судьбы, отмазка и оправдание: меня, мол, не за что, я вон какой писквозь прозрачный и старательный. Даже и не помню эти годы. В себя пришел, когда арестовали.

Рубин поднял голову: взгляд старика был мягок и добродушен, даже немного посмеивались маленькие осветлевшие глаза.

— Обвинение мне стали шить, будто я на отдыхе

Сочи в октябре тридцать пятого получил от Блюхера секретный пакет и его тайно переправил для Тухачевского. Я до таких высот никогда не поднимался, разве что пару раз таких начальников видел издалека. Крутили меня крепко. Из тюрьмы в тюрьму переводили для чего-то. И в Лефортове я побывал тогда, и в подвале под Курским вокзалом, где нас набито было много сотен. Это мне потом, правда, рассказывали, где я был, потому что подвал — он подвал и есть, я лично поездов не слышал. Тут меня сын и спас. Вернее, призрак сына.

Рубин встревоженно поднял голову. Глаза старика так же спокойно и усмешливо, вполне здраво смотрели на него.

— Галлюцинация была у меня странная. Видел сына, как вас сейчас. А он уже подросток был, я после первой тюрьмы женился сразу. Вот он под утро как-то и спустился ко мне в подвал по лестнице, по которой нам еду носили. И все обыденно так, привычно: люк открылся, свет, потом закрылся, а на лестнице сын стоит. Сердце у меня чуть не оборвалось: неужели забрали парня? А он меня в толпе глазами отыскал и ясно говорит родным голосом: зачем же, папа, ты им не сказал, что ты тогда не в Сочи был, а на опытном полигоне под Ашхабадом, а на юге были только мы с мамой, и твоя путевка пропала. Тут я спохватился, что ведь так оно и было — не успел я к ним тогда, хотя путевку взял. А сын спокойно повернулся и ушел. Ночью это было, но никто не спал, на полу у нас вода стояла. Да еще и шевельнуться было трудно, так нас тесно туда набили. Никто кроме меня сына не видел. И еще одна деталь запомнилась: он как будто высвечен был на этой лестнице невидимым светом — знаете, как в театрах это делают? Как я до утра с ума не сошел? Утром попросился к следователю. К вечеру повезли. Вхожу к нему и говорю: здравствуйте, товарищ следователь. Он мне в ответ: не товарищ ты мне, а сволочь предательская. Я говорю — нет, товарищ. Идиот я был, ну что с меня взять. Не лучше всех других, одно утешение. Следователя фамилия Федоскин. Между прочим, слесарь из Ярославля. Все он ругал меня: из-за вас, мерзавцев, пришлось работу оставить привычную, с дерьмом возиться, а не с благородным железом. Тоже идиотом еще был, но там, наверно, быстро в понятие входили. Да. Посмотрите, говорю, у вас на столе моя военная книж-

ка в деле лежит, запись там должна быть, где я был в тот месяц, потому что благодарность от командования тогда получил, так что я никак не мог при всем желании быть курьером у врагов народа. Он посмотрел, челюсть отвисла, позвонил кому-то. Пришел в штатском, молодой совсем, тоже посмотрел и следователю говорит: ну, ты и мудила! И ко мне: идите, разберемся, вызовем. Я так понял, что на свободу, нет — конвоиры снова, квитанция какая-то, и я в Бутырках. Месяца три ждал, вызвали, дали прямо в коридоре клочок папиросной бумаги: восемь лет как социально-опасный. Тут я и понял все. Впрочем, еще не все, по будущему опыту судя. Еще несколько месяцев этапа ждал. О войне я в камере узнал. Заявлений написал несчетно, на фронт просился. Кровью искупить вину. Какую? Тут этап. Как-то мне ясно стало, что выбор невелик: смерть или в животное превратиться. То есть тоже ненадолго смерть отсрочив. Я из этих двух вариантов выбрал третий. И бежал.

— С этапа? — изумился Рубин.

— С этапа? — переспросил старик презрительно. — В конце последнего вагона в эшелоне арестантском, чтоб вы знали, были стальные грабли приделаны, вы такое в кинофильмах о фашистах могли видеть. Зубья эти тело захватывали в бесформенное мясо обращали. Нет, я из лагеря бежал. Из-под Канска — слышали о таком?

Размеренная речь, грузная неподвижность старика, его в упор смотрящие глаза — все это ввело Рубина в странное гипнотическое состояние: тихо падающие слова завораживали и обволакивали, держа в нервном и неприятном возбуждении.

— Как-нибудь вам расскажу о подробностях, сейчас уж неохота вдаваться. Я с двумя уголовниками бежал. Одни боялись, а другие — кто в амнистию верил, кто надеялся, что на фронт пошлют. Почти до станции втроем мы дошли, они меня там раздели и бросили. Пришлибли, конечно, малость для надежности. Объяснили они мне, что бесподручно им со мной, с Фан-Фанычем, если поймают. Их-то измолотят просто и вернут, а если со мной — пристрелят наверняка. Вот. Но я догнал их. Словом, оба они там остались. Я никак не мог их недобитыми бросать, тоже рисковать не хотел. Удивительно другое: до Москвы я доехал и ни разу не парвался на патрули. Это в войну, заметьте.

Старик замолк, уйдя в себя, и даже пальцы его не шевелились. Рубин заворожено ожидал, изнывая от желания спросить подробности, но не решаясь. Старик пошевелил губами, будто жуя что-то невидимое, и сочно разлепил их.

— Две сестры у меня жили в Подольске. Испугались, но, ничего, пригрели. Тут наш двоюродный брат умер в Калуге, они поехали. Как ухитрились его паспорт сохранить и не сдать, уже не помню. Стал я Владимир Михайлович Гинак, свыкся довольно скоро с этим именем и, конечно, сразу на фронт. А уж там никто не разбирался. В сорок четвертом один приятель изготовил мне копию диплома университетского, так что я пошел после войны по той же артиллерийской части. Сметкой был почище молодых, только осторожней не в пример. Волновало меня, как бы старых сослуживцев не встретить. Ну, кого поубивало, конечно, кто-то сидел, а однако же троих повстречал. И все трое сочли за лучшее не узнать меня и не расспрашивать. Приучен уже был русский человек не интересоваться чем не положено. Один было хотел, но я ему намекнул, что не его это дела и не мои, он так затрясся, что и вовсе узнавать меня перестал. Ну, из песни слова не выкинешь, как говорится, так что не умолчу. Я для пущей своей личной безопасности много лет после войны с органами сотрудничал. Обыкновенный стукач в военном почтовом ящике. И науку двигать успевал, авторские свидетельства имею. Между прочим, сколько нас там было, кто сотрудничал — не сосчитать. У меня хоть слабое утешение было: знал, чего боюсь, понавидался, а с чего другие в эту петлю лезли — ума не приложу. Плохо я тогда о людях думал. А после я на пенсию ушел. До срока, по военной инвалидности. И спохватился!

На высокую ноту сорвался вдруг старик, выговорив это, и покраснел всем своим большим овальным лицом.

— Удивительное чувство появилось, знаете ли, осознанное, спокойное, убийственное. Что не свою судьбу прожил. А свою — просрал и проморгал. А ради этой тусклой чужой — и жить не стоило. Приятель был у меня, умер уже, хоронили с почестями, до генерала по справедливости дослужился, на работе сгорел, как говорили на панихиде, он и вправду вкалывал наотмашь, а мне сказал как-то: знаешь, всю жизнь думал, что стою часовым на почетном посту у родины, а сейчас вижу, что всю жизнь гнилой сортир охранял.

— Говорят, Фадеев сказал такое же перед смертью, — осторожно вставил Рубин.

— Значит молодец, что рука поднялась, — вяло откликнулся старик. — А на меня бессонница вот навалилась. И давненько. Очень я хотел это, оказывается, кому-нибудь рассказать. Спасибо вам, что слушаете меня.

— Можно вам странный вопрос задать. Владимир Михайлович? — спросил Рубин и не стал дожидаться позволения. — Почему вы сыну не поручили кого-нибудь разыскать? Вам ведь, как я понял, в поминальник этот всероссийский хотелось виденных людей записать? Уже много лет он существует негласно и нелегально. Вернулась у нас эпоха до Гутенберга. Или пытались, но неудачно? Или сын не смог?

Тут же проклял себя Рубин за любопытство. Старик смотрел на него по-прежнему в упор, только бессильные две старческие слезы выкатились у него из глаз и, не задерживаясь на гладких щеках, блестящими змейками скользнули в разрез рубашки. Он не шевельнулся. Рубин тоже.

— Я уже говорил вам, что стихи когда-то писал, — медленно и размеренно сказал старик. — Были как-то две удачные строчки. — Он прикрыл глаза и тут же открыл их снова. — Хребет поломанной души передается по наследству. Сын мой так тих, воздержан и убог, что от него даже ушла жена, и очень правильно и понятно поступила. И всю жизнь свою он провел так же бездарно, как я, только тусклее и мизернее намного, потому что во мне способности играли свою музыку, а он ими начисто обделен. Зато смиреннее он награжден, как другой — талантом. Он работает фотографом и собирает марки. Всю жизнь вяло работает фотографом и всю жизнь вяло собирает марки. Вот еще меня, как видите, содержит чисто, за что я ему очень благодарен. Вот и все о моем сыне. У Блока где-то сказано, что дети — это возмездие, или это у него эпиграф чей-то к поэме?

— Из Ибсена эпиграф, — сказал Рубин. — А дети, они и должны быть друзьями. Я вам тоже тогда стишок прочту. Короткий. «Разлад отцов с детьми — залог тех непрерывных изменений, в которых что-то ищет Бог, играя сменой поколений».

— У меня сейчас чувство замечательное, — очень медленно и тихо сказал старик, — что я тяжкую ношу с себя скинул, долг очень давний стал возвращать...

Он еще что-то невнятное бормотнул и умолк, закрыв глаза и тяжело осев в подушку. Рубин, похолодев, вскочил и поклонился над ним. Старик спал. Безвольно и блаженно оттопырились огромные вялые губы лилового цвета, чуть порозовело одутловатое лицо, и под глазами меньше стали видны мешки.

Рубин закрыл тетрадь и вышел, стараясь ступать неслышно. В смежной комнате не было никого, но на пороге кухни он увидел копию старика — только теперь показавшуюся Рубину пародией — все у сына было мельче и незначительней.

— Он спит, — сказал Рубин. Лицо пародии осветилось неподдельной радостью.

— Вы — гениальный врач, — шепотом сказал сын. — Вы ведь врач?

— Нет, — ответил Рубин честно. — Это Фальк врач. А я его ассистент.

— А-а, — понимающе протянул сын и лицо его, застывшее от уважения, теперь сильнее напоминало отцовское. — Как я могу отблагодарить вас? — спросил он. — Вы не собираете марки?

— Нет, нет, — решительно ответил Рубин. — Ни о какой благодарности не может быть и речи. Награда врача — его успех. Всего вам доброго.

В эту ночь, уже на грани рассвета, Рубину привиделся кошмар. Он сидел на нижних парах в камере Бутырской тюрьмы, серый сумрак вперемежку с табачным дымом клубился под сводчатым потолком. Было душно, прокурено и грязно. Здесь были все, о ком шел накануне разговор, и Рубин их не то что узнавал — нет, он просто знал их, он уже давно здесь находился. Все сейчас чего-то ждали напряженно и тревожно. А у дощатого длинного стола сидел Николай Бруни, каким видел его Рубин на последнем лагерном автопортрете, и крутил задумчиво какую-то бумажку тонкими своими гибкими пальцами. Поймав взгляд Рубина, он улыбнулся ему мягко и сказал:

— Я здесь не в счет, меня уже давно убили.

Ему весело ответил щуплый старик Шор, чья большая лысая голова отсвечивала желтым от тусклой лампы, под которой он стоял:

— Можно подумать, будто мы еще живые.

С верхних нар легко и ловко спрыгнул на одну ле-

вую ногу, правую чуть в сторону отведя, высокий и плечистый старик Сапега. Косо и тяжело припадая на негнущуюся ногу, он прошел к столу и возгласил:

— Панове! Нам предстоит умереть вторично, что уже не страшно, так что нервничать не надо.

Возле двери неподвижно и молча, очень прямо стоял невысокий плотный человек с белым, невыразительным — или неразличимым просто? — лицом, в плаще и шляпе. Медленно, как на сцене, он обернулся и не сказал, а произнес:

— Наша ложа все равно дала обет молчания, и никакие следственные ухищрения к жизни ее не возвратят.

— Возвратят! — закричали от окна сразу несколько человек. Голоса были хамские, ночные, мерзкие. Рубин знал, что это крикнули бывшие чекисты.

— Заткнитесь, падлы, — повелительно и негромко сказал над ним спокойный голос. Рубин поднял голову и увидел, что на верхних нарах, по-турецки скрестив ноги, сидят и играют друг с другом в карты Владимир Михайлович Гинак и начальник политуправления Егоров в полной форме и со всеми ромбами. Карты были сделаны из газетной бумаги, плотно прокленной в несколько слоев, и на обороте той, что держал Гинак, собираясь ею пойти, виден был обрывок заголовка: «Смерть вра» — дальше было ясно, словно так неполностью заголовки и писались. За спиной Егорова, заглядывая ему в карты, сидел человек с двумя сплошными кровавыми расчесами на месте щек. Он улыбался, что-то видя в картах Егорова. А Гинак был старый, такой же грузный, величественный и неподвижный, как вчера, и застывшее овальное лицо его со скульптурно вылепленным лбом монументально высвечивалось лампочкой.

— Карта не лошадь, к утру повезет, — усмешливо сказал он. — Хода по два нам осталось, не тяните.

В камере нарастала нервная атмосфера ожидания, а чего именно — Рубин догадаться не мог, и спросить ему было неудобно. Николай Бруни перестал вертеть бумажку, посуровел и встал. Только тут стало видно, что он одет в священническую рясу.

— Они идут, — негромко сказал он. — У меня абсолютный слух. Прощайте, товарищи! Постараемся сохранить достоинство, кто сумеет.

Маленький Шор засмеялся и покрутил лысой головой, как бы выражая одновременно скепсис и бесша-

башность. Все повернулись к двери, окованной листовым железом, и она неслышно, жутковато распахнулась. В темном коридоре — это ясно ощущалось — стояло много людей. Оттуда раздался голос, очень твердый и четкий:

— Выходите по одному. Предупреждаю — выход без последнего.

Рубин вопросительно глянул на Бруни, тот улыбнулся ему и пояснил:

— Последний будет убит еще раз. Это чтобы мы быстрее шли.

И остался стоять на месте у стола, с той же улыбкой всматриваясь в тьму за дверью.

Камера разом сорвалась к выходу. Отовсюду бежали к двери невообразимо разные люди с одинаково испуганными глазами. Рубин застыл, глядя зачарованно на Бруни, прямо и неподвижно стоявшего у стола. Тот перевел взгляд и строго сказал:

— Надо бежать со всеми. Вы, по-моему, напрасно бравируете.

Рубин послушно шагнул от нар, чтобы включиться в несущуюся толпу, и вдруг почувствовал, что все они бесплотно пробегают сквозь него, проходя его насквозь, как пустоту. И тут он страшно закричал.

Жена трясла его за плечо.

— Илья, проснись, Илюша, тебе что-то снится, ты проснись, нельзя спать на левом боку.

Рубин открыл глаза, но еще видел бегущую толпу призраков. Было уже светло.

— Все, Ириша, все, — пробормотал он. — Извини. Спасибо, что разбудила. Ты спи, я посижу на кухне. Это мне полезный очень сон приснился.

— Почему полезный? — сонно спросила жена, устравивая голову, как она это любила, на его оставленной подушке. — Ты утром куда-нибудь уходишь?

— Обязательно, — ответил Рубин, одеваясь. — Я поеду бить Фальку морду.

— Шутки твои глупые, — успела сказать жена, — а подушка теплая, я тебя очень люблю, — и снова уснула.

Рубин пил кофе, потом чай, долго курил и тоскливо думал, что напрасно взялся за дело не по силам.

— Я пришел скандалить и обличать, — сказал Рубин, садясь в кресло у маленького низкого стола и сразу же затосковав о сигарете.

Фальк, проведя его в свою комнату, попросил минуту обождать и уткнулся молча в книжный стеллаж, разыскивая что-то. Книги с кресла Рубин ловко и бесцеремонно пристроил на гору, которая оккупировала стол. Классическая комната одинокого интеллигента, подумал Рубин — как это опишешь, не впадая в банальность?

Фальк оставил поиски и вежливо обернулся. Небольшого роста, хрупкий, лысый и в очках, он выглядел живым олицетворением памятника неизвестному профессору. Только отсутствие какой-нибудь завалывающей реденькой бородки нарушало хрестоматийность его кабинетного облика. Если еще надеть на него бархатную камилавку, он бы даже на академика потянул. Хотя был всего лишь рядовой палатный врач в маленькой какой-то больнице. Выше и не будет, подумал Рубин, потому что за спиной тюрьма и лагерь — за открытое письмо в карательной тайной психиатрии.

— Зачем вы мне подсунули этого старика Гинака? Зачем? — пытаюсь распалить себя звуком собственного голоса, громко спросил Рубин, глядя чуть мимо Фалька, чтобы было страшней. Только сразу стало смешно и обидно за испарившийся запал.

Фальк молча и не улыбочиво смотрел на него, и это помогло Рубину сделать еще одну попытку возбудить в себе негодование.

— Что я буду теперь делать с перечнем его сокамерников? Он на меня свой долг переложил, а я куда их вставляю? Куда? В повесть о художнике, который умер раньше? А зачем? А кому другому я их передам? Это хулиганство с вашей стороны, — закончил он совершенно спокойно и улыбнулся широко, потому что злости уже не было и в помине, Фалька он любил и почитал, а куда денет фамилии для всероссийского поминальника, он тоже уже знал.

Однако Фальк не улыбнулся ему в ответ. Даже наоборот: чуть отвердело его круглое небольшое лицо с четырьмя глубокими складками — под глазами и от крыльев носа.

— Бедный литератор, — отчужденно и безо всякого

сочувствия медленно процедил он. — Бедный литератор. Собирал детали для портрета художника, а наткнулся на штрихи к портрету времени. Испугаешься, — презрительно протянул он.

И опять все стало на привычные места: ровесника своего, совершенного ровесника Фалька, — воспринимал Рубин как старшего, куда более умудренного человека. И так было все время их недолгого, но очень длительного приятельства. В чем скрывалась причина неравенства? Профессия? Начитанность? Тюремный опыт? Умственное превосходство? Рубин как-то спросил об этом Фалька. Тот ответил так стремительно и сразу, словно давно только об этом и размышлял: в вас, Илья, еще надежды и иллюзии теплятся, а из меня они ушли напрочь — они, должно быть, у меня в волосах были. И засмеялся, как всегда чуть поджимая подбородок, словно конфузясь, что неприлично смешлив.

— Не испугался я, — досадливо начал оправдываться Рубин. — Просто я не знаю, что мне делать с таким материалом, как строить повесть, чтобы его туда вместить.

— Ой, ничего нет легче, — ответил Фальк опытным тоном наставника литературной молодежи, — вы вставьте туда меня в качестве дежурного резонера, и я вам буду все это по ходу пьесы рассказывать, как бы невзначай и развлекая.

— Ничего себе развлечение, — оживился Рубин. Идея понравилась ему. — Лучше только будет, если вставлю вас как мудрого ребе, вы мне будете разъяснять и растолковывать.

— Правильно! — Фальк еле сдерживал смех. — Именно и только так. На безребье и дурак — ребе, сделайте меня воплощением этой поговорки, и я верой-правдой послужу вам в качестве туповато-мудроватого сврея. Только не забудьте, батенька, что я русский дворянин, и не перегните палку. Замечательный у нас получится фальк-о-клок.

— А вы и вправду разве русский дворянин? — изумился Рубин. Фальк застыл, пытаясь неподвижностью своей хилой фигуры выразить величавое возмущение. Голову он тоже вздернул и запрокинул надменно.

— Чистых шведских кровей, — не сказал, а выговорил он. — Только уже не знаю, в каком поколении. Дальше сплошные российские служивые дворяне.

— А еврейское что-то есть в вас, несомненно есть, —

тоном прожженного кадровика заметил Рубин с хорошо удавшимся неодобрением. — Живость в вас какая-то не наша. Фигура. Вот опять же знаете вы чересчур много... Может быть, бабушка ваша того-этого? Вы скажите сразу чистосердечно, мы ведь нацию вашу не ущемляем, она и так везде пролезет, нам главное, чтоб не скрывали. Откровенно. Искренне. Колитесь.

— Чист я, гражданин начальник, — с надрывной исповедальной интимностью ответил Фальк, принимая игру. — До такой, представьте, степени чист, что даже сам ихнего брата с трудом переносу. Вот они где все у меня сидят.

И Фальк ребром ладони с остервенением постучал по горлу,

— Это вы, между прочим, лишнее что-то говорите, — обиделся Рубин. — Вы уж, батенька, играть играйте, а перехлестывать не надо — вдруг поверю.

— Не поверите, — вдруг посерьезнев, сказал Фальк. — Дело же не в чуши этой, кто какой породы, а в религии нашей общей — вот что главное. Неназываемой религии, неопределимой, словом не ухватишь, однако явной.

— Объясните, — попросил Рубин. — Попробуйте.

Фальк снял очки и чуть обезьяньим быстрым движением тонких пальцев потер левый глаз. Снова надел очки и длинно посмотрел на замолчавшего Рубина.

— Ну, раз уж начали, — отрывисто сказал он и пробежался по комнате вдоль книжных полок. Маленький, щуплый, быстрый. Метр в шляпе на коньках, вспомнил почему-то Рубин, как дразнили в школе отстающих по росту. Пробежав, Фальк обернулся и опять застыл.

— Я этой религии, — сказал он медленно, — даже название мог бы дать, если вы простите мне назойливую склонность каламбурить...

Рубин открыл рот, но Фальк властно выставил ладонь, останавливая его и не желая прерываться.

— Я бы ее назвал — конфузианство. Мы все одинаково находимся в некоем нездоровом состоянии конфуза, сконфуженности, контузии. От рабства нашего, от блядства несусветного нашего, от бессилия, от бесправия, растерянности. Ибо никакого выхода не видим. Все вы — растерянное поколение, наверняка сказала бы Гертруда Стайн, доведись ей с нами разговаривать.

Рубин засмеялся, обрадованный этим винегретом из

точной мысли и ловко перевранного эниграфа где-то в Хемингуэе.

— Очень неплохая модель, — с искренней завистью сказал он. — Жалко даже, что не я ее придумал.

— Дарю, — быстро сказал Фальк и сделал рукой жест земельного магната, жалующего приятелю большой надел.

— Благодарствую, — церемонно и медленно ответил Рубин. Он от пируэтов Фалька часто чувствовал себя грузным, неповоротливым и неуклюжим. О дремучести нечего и говорить, она тоже ощущалась чисто физически. — Только давайте это обсудим немного. С точки зрения — религия ли это.

— Конечно, нет, — сказал Фальк, усмехаясь уже чему-то новому, что всплыло в нем и требовало произнесения. — Поэтому в высоких терминах эту модель бессмысленно обсуждать. А приземленно — стоит, по зековски. Знаете, как лаконично излагает зек, войдя в барак, впечатление о мерзкой погоде, дожде со снегом, ветре и так далее?

Фальк зябко ссутулился, с живостью потер ладонь о ладонь и низким голосом жизнерадостно произнес, подхрипывая:

— Во, бля, какая срань в ебало хуячит!

— Глубоко в вас лагерь сидит, — одобрил Рубин. — Завидую вашему опыту.

— Э, голубчик, — легко сказал Фальк, — не завидуйте, это у каждого за поворотом. Оглянуться не успеете, не приведи Господь, как будете завидовать мне, что я уже вышел.

— Наверно, — нетерпеливо согласился Рубин. — Давайте все-таки наше общее конфузианство обсудим. Это мне интересно. Ведь отсюда одинаковость оценок и отношений, даже цели жизненные и смыслы.

— Эх вас понесло научно, — поморщился Фальк. — Начитались вы моих ученых коллег, научились мусор шевелить. Тоже занятие, конечно. Вот давайте я лучше сам чуть продолжу.

— Не могу больше терпеть, Юлий Семенович, дорогой, закурю я все-таки, — взмолился Рубин. Он у Фалька старался не курить, зная о слабых легких приятеля, наследстве лагерных штрафных изоляторов, и тот сам ему напоминал каждый раз, что курить можно и нужно. И сам сладострастно вдыхал первый дым, потому что был заядлым курильщиком еще недавно.

— О чем вы говорите! — торопливо сказал Фальк и поставил перед ним подсвечник, низ которого так долго служил пепельницей, что был приятного серо-бархатного оттенка.

— Общее у всех конфузианцев есть, конечно, — сказал Фальк. — Мы помогаем жизни продлевать ее существование.

Фальк опять движением руки остановил Рубина.

— Извините за монолог и потерпите. Потому что вот какие факторы неустанно на жизнь действуют: охлаждение, усталость, оскотинивание, апатия, уныние, истощение, омертвение, отчаяние — могу еще сыскать слова, но вы поняли, надеюсь. Энтропия. Превращение живого в неживое. Я — поймите меня правильно — о том духе говорю, который в нас Творец вдохнул, выделив из животного существования. Человек, если дает себе остыть — как бы еще внешне человек, а уже на самом деле — просто организм. Сами знаете, во что мы превращаться умеем. Так что смысл у всякой личной жизни очень получается простой: сопротивление мертвящим силам и ветрам. Вот любое преодоление в себе и в окружающих энтропии этой, остывания губельного, любое поддержание — любое! — почти выкрикнул Фальк, голову запрокинув, — жизненных сил, настроения и тонуса душевного — уже большое благо и заслуга для конфузианца.

Фальк успокоился и продолжал чуть тише:

— Вообразите себе нехитрую модель: всему живому, всей духовности человеческой, в чем бы она ни проявлялась, — противостоит вечная мерзота, разлитая в самом устройстве мироздания, предусмотренная в нем, а значит, — и в нас самих. Вечная мерзота!

На этих словах пафос его вовсе спал, и он сказал застенчиво, как хвастающийся мальчишка:

— Сам придумал. Честное слово.

И немедля перешел на прежний тон.

— В отличие от высокого и светлого, кое требует усилий для хотя бы приближения к нему, вечная мерзота сама наступает непрерывно и активно, заполняя любую пустоту и немедленно вливаясь в любое предоставленное ей пространство. Это не смерть, а хуже. Это угасание всякое, омертвение, застывание, отвердение, бледная немочь духа, спад в животное состояние. Именно поэтому, мне кажется, государства наибольшей упорядоченности, то есть несвободы — разъедаются так бы-

стро разложением, растлением, продажностью, некрозом желаний и стремлений, превращаются в хлев огромного стада. А ведь стадо — идеал порядка. Только уже не человеческого, что важно. Здесь, по-моему, любое разжевывание только повредит образу вечной мерзоты. Вот с ней конфузианцу надо и в самом деле бороться. Жизни помогая. Вы простите мне патетику, ведь я, признаться, это вслух впервые излагаю.

Последней фразы Рубин уже не слышал, хотя Фалька, раскрывающего рот, видел ясно. Это несколько мгновений всего длилось. В мыслях Рубина возникло вдруг кишение, очень знакомое ему и целиком поглощающее. Оно могло начаться от слова, от идеи, от случайной рифмы или просто от сочетания звуков. Сами собой наплывали тогда слова, окружая и облепляя основу, и Рубин легко руководил ими, не успевая все их осознать и опознать, словно собирая легко и ловко невидимую ему пока, однако чем-то известную фигуру из спичек, всплывающих в воде из глубины и сбоку, плотно сцепляющихся друг с другом. Ключом и стержнем, краеугольным камнем в правом нижнем углу фигуры — его Рубин помнил и чувствовал все время — стояло слово, придуманное Фальком, остальные кружились и укладывались, легко прилаживаясь боками к нему. Ощущений лучших, чем в секунды эти, он не ведал. Такое бывало вовсе не со всеми стихами, подавляющее большинство их он вымучивал, зачеркивая и тоскливо перебирая слова, целыми страницами изводя бумагу ради четырех строк. Но бывало изредка такое, как сейчас: в сознании всплывало слово «недаром», Рубин ловко его куда-то сунул в еще неведомый текст и ощутил, что вставил точно и туда, появилось слово «лишь», и утонуло так же уместно, и ни одного лишнего слова не возникло, а какие-то он топил, не успев опознать, но мигом ставя где-то в глубине нижних строк, — появилось чувство законченности, и уже он стеснительно говорил Фальку:

— Простите, я еще одно новое слово своровал у вас только что. И так ловко, что уже стишок сделал, послушайте.

И сам стал слушать, что получилось и выплывало теперь ясно и сцепленно:

— Лишь тем дана была недаром текучка здешней суеты, кто растопил душевным жаром хоть каплю вечной мерзоты.

— Вот! — радостно и громко сказал Фальк, проси-

яв. — Вот! Я всегда говорил, что посланный Богом органчик совершенно со своим хозяином не соотносится. Абсолютно это отдельный прибор. А я напрочь этого лишен. Не обидно ли мне, скажите на милость?

— Правда, забавно, — сказал ошеломленный Рубин. Каждый раз такие быстрые роды без беременности и мук, от случайного соития со словом, — изумляли его заново и остро. Дело было не в качестве новорожденного, а в непостижимой скороспелости его появления. Качество всегда сначала преувеличивается, были родовые схватки или нет. И хорошо еще, если только сначала. Рубин всегда легко соглашался, когда хулили его стишки, сам выбрасывал их время от времени почти без жалости (особенно по утрам), легкость непривязанности даровала его свободой, чем он втайне гордился. И тем, что пишет — вообще, и тем, что легко выкидывает — в частности.

Со словами и шутками Фалька уже не раз это случилось у Рубина: беззастенчиво крал он их и, как любое краденое, быстро прятал — укладывал в удобную для уноса тесную сумку четверостишия. Услышав однажды такой стишок на дружеской пьянке, Фальк усмехнулся одобрительно и не только за руку не схватил, отставив право происхождения, но даже слова порицания не произнес. Рубин, улучив минуту, спросил его, не в обиде ли он за такое бесцеремонное присвоение, на что Фальк пожал своими узкими плечами равнодушно. Мысли — добро общественное, ответил он, окажись у вас, милый Илья, что-нибудь достойное, я б тоже украл. Ну, спасибо, засмеялся Рубин, за такую тонкую пощечину. Квиты, сказал Фальк беспечно, я и впредь готов трудиться ради вашего бессмертия.

Фальк прервал повисшее молчание.

— Не осталось времени, к сожалению, произнести мне речь, назначенную вас душевно ободрить, — сказал он, кидая в свой потертый портфель какие-то бумаги. — Вы меня простите великодушно, каждый раз я очень с вами забалтываюсь, а по сути вашего скандального визита не успели поговорить. Ко мне придет сейчас один человек, мне бы не хотелось вас совмещать. Вам огромное спасибо, кстати — утром позвонил сын Гинака: старик проспал с середины дня до утра, это впервые после многих месяцев тяжелой бессонницы. Каково? Нам бы в паре с вами эскулапить. Есть хотите? Время на яичницу еще осталось.

— Нет, спасибо, — отказался Рубин. — Только я на днях опять зайду. Хочется о книге поговорить, вдруг идея какая-нибудь всплывет в устной беседе. Еще мне что-нибудь подскажите, реб Фальк, — последнее он произнес растянуто, словно взвешивая звучность и значимость сочетания. — Для меня, признаться, очень питательна отравная прелесть ваших речей.

— Цицеронистый калий, — незамедлительно ответил Фальк. Рубин молча развел руками.

Несмотря на отказы и сопротивления, Фальк помог Рубину одеться.

— Мне мой учитель когда-то говорил, — повторил он в несчетный раз, — что у себя дома не подают гостю пальто только лакеи. Опять же — кто знает, вдруг вы прославитесь, тогда мне — материя для мемуаров. Притом, что редкость, — для достоверных.

— Скоро увидимся, — сказал Рубин, крепко пожимая узкую руку.

— Надеюсь, — ответил Фальк. — Сюжеты наших биографий двигаем не мы.

И быстро затворил дверь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Николай Бруни записался в армию в первые же дни войны. Извечный российский подъем духа во время общей беды захватил его сразу и целиком. В декабре того же года журнал, где раньше появлялись его безоблачные меланхолические стихи — уже печатал записки санитар-добровольца.

Начинались они прямо с отправки на фронт, хотя до этого были короткие курсы для санитаров.

«Я смотрел на пытящий высокий паровоз нашего поезда. У него был такой недоумевающий вид, и так растерянно он отдувался, упираясь в рельсы, что казалось, можно прочесть все, что он думает: я ничего не знаю, никогда не приходилось, но если нужно, то я повезу.

И повезет он, не глядя в стороны, упираясь в рельсы, повезет туда, куда они проложены, бесповоротно, безропотно.

Так и надо, думал я. Так и я поеду, если это нужно.. А оставаться я не мог, значит нужно...»

Поезд их тропулся, вспоминал Бруни, и немедленно

остановился. Никак не удавалось оторвать от вагонов воющих баб. Они хватались за открытые рамы, повисали на окнах, что-то неразборчивое пытались напоследок выкрикнуть или прошептать.

После поезд шел по бесконечной равнине, и молодой санитар Бруни писал, очевидно, в первый же вечер:

«И я почувствовал, какое счастье быть там убитым, умереть за эту царственную тишину осенних полей, желтого леса. Быть там, среди озверевших людей, среди грохота и огня орудий, чтобы здесь ничто не смело нарушить святую тишину родины.»

Были попутчики. Один все время шутил. Второй — солдат, отставший от роты, — жаловался на плохую кормежку. А в соседней роте кормят на убой, сказал он. (Бруни вздрогнул вероятно, от этого невольного каламбура-пророчества). Все от ротного зависит, бубнил солдат. Так что нашего ротного, наверно, убьют в первой же атаке, кто там будет разбираться — в спину или в грудь вошла пуля.

После был госпиталь, потекли неразличимые прифронтовые будни.

«Тяжелее всего ночью. Темно-синие окна, свет зеленой лампочки в палате и мертвенные лица раненых. Так душно, что страшно потерять сознание, душно от тяжелого запаха гнойных ран...

...Иногда бывало, что сразу несколько человек в палате поднимались с кровати с искаженными лицами: «В атаку, в атаку! Ура...».

...Приходилось дежурить по двадцать четыре часа через сутки. Остальное время спал и читал...

Было удивительное чувство ко всем людям в военной форме. Это странная близость, которую нельзя сравнить ни с любовью, ни с привязанностью. Кто не ходил в военной форме, тот не может себе это представить».

Вскоре санитар Бруни переводят по его просьбе в операционную палату. И неожиданное вдруг, изумительное предложение: ехать на ускоренные курсы военных летчиков. Месяца три учиться, пара-другая пробных вылетов — и самая что ни есть передовая. Передовой не бывает. Средний срок жизни летчика — около года. Больно не надежны пока что боевые самолеты. Согласен? Счастлив!

Летом пятнадцатого года Николай Бруни уже учился в Петрограде на курсах военных летчиков. Днем.

А вечера все пропадал теперь дома. Наступило время рассказать об их знаменитой квартире.

Рубин опереться здесь мог на единственные сохранившиеся воспоминания, но зато они так прямо и назывались: «Квартира номер пять» — и были о квартире семьи Бруни при Академии художеств. Написал их искусствовед Пунин, многолетний друг Льва Бруни.

«В квартире было почему-то три этажа, окно в столовой было на уровне человеческого роста, стол, за которым сидели, был длинным, лампа освещала только середину стола; свет от лампы был желтый и теплый, как в детстве, когда его вспоминают».

Приходили и уходили, когда хотели, писал Пунин, ближе к весне досиживались до рассвета, до голубого окна. Когда расходились, у Зимнего дворца татары в коричневых кафтанах уже мели торцы мостовой. Шли по пустынным набережным мимо дворцов, все было призрачно, даже лица прохожих.

Появлялось множество людей — многие из тех, что ходили ранее в «Бродячую собаку» (она в войну закрылась из-за обильных долгов — меньше стало фармацевтов, по всей видимости). Приходили те, кто посещал собрания Цеха поэтов. Заходили, разумеется, и случайные люди — из тех извечных, кто пребывает при искусстве или считает себя к нему причастным. Но такие быстро исчезали.

Те, кто бывал в квартире Бруни постоянно — это сегодня гордость русской живописи и поэзии, память о чистом и безумном времени бескорыстных и хаотических поисков. Столь же новаторских и авангардных, но временно чуть иных, чем ранее:

«Холсты, подрамники и мольберты были задвинуты в углы, всюду валялись «материалы»: железо, жость, стекло, жилы, картон, кожа, шкурки, наждачные бумаги разных сортов и качеств. На столах и верстаках стояли достроенные и строящиеся рельефы, подборы материалов, конструкции. Все это демонстрировалось с азартом без снобизма, с живым вкусом, свидетельствовавшим о новой страсти, сжигавшей людей...

Пилили, строгали, резали, терли, растачивали, сгибали; о живом почти забыли, говорили только о контрастах, о сопряжении, о напряжении, об осях сечения, о фактурах...

...Это было творческое напряжение людей, которым казалось, что их усилиями мир, наконец, будет

сдвинут с вековых канонов и взойдет новый Ренессанс».

Это увлечение художников податливым материалом и организованным пространством явно (и неслучайно) совпадало в те годы с точно такой же яростной увлеченностью демиургов нового мира. Они были готовы так же безжалостно и настойчиво гнуть, рассекать и обрабатывать живой человеческий материал, мечтая (искренне в абсолютном большинстве своем) о таком же сокрушении вековых общественных канонов, о восходе столь же нового и невиданного прежде возрождения. Поиски художников были чреваты стружками, опилками и разочарованием при неуспехе, а всероссийский жестокий эксперимент — кровью, миллионами смертей, калечением душ и бессилием его прекратить.

Интересно, что искусствовед Пунин одновременно с художниками-сверстниками вспомнил и этих «людей революционной воли». С искренней, бескорыстной любовью (ибо писал воспоминания для себя, да и сам в скором времени заразился духом эпохи, был комиссаром Эрмитажа, организовывал, кипел, рушил и утверждал. По счастью выжил в тридцатые, стихия смерти миновала его, остыл, в лагерь попал только в конце сороковых, где быстро погиб). А в воспоминаниях — точные и сочувственные формулировки:

«Не только в жестах, в интонациях, в глазах, но в самом теле этих людей — готовность повернуть мир ко чергой... Пусть последыши революции те, которые пристроились на ее берегу и вздрагивают теперь, оглядываясь на каждую волну прибоя, говорят, что эти люди — представители анархической богемы, не болес. Лицо революции набросано этими людьми».

И еще одна точная фиксация времени:

«Война упиралась в тупик, война стояла мертвой точкой. Ждали чего-то, но никто не знал, чего именно ждали. Время накатывалось, вставало валами, с гулом. Мы думали, что это гул батарей... — а это война медленно перекачивалась в революцию».

Николая Бруни в те месяцы волновали больше всего две вещи: утренние занятия в школе летчиков (он с упоением и азартом готовился летать) и скопище материала в мастерской младшего брата. Он, оказывается, смертельно соскучился по пластическим играм, по возможности выразить себя, по молчаливому сопротивлению и послушному соучастию металла, дерева и краски. Впрочем, он очень скоро всему предпочел дерево.

Близкие помнили о нескольких виртуозных деревянных работах, долгое время хранившихся в семье, а потом канувших куда-то. О большом горельефе с головой Давида-псалмопевца, о цельнорезаном кресле с причудливыми зверями повсюду, о нескольких скульптурных портретах. О высоком профессиональном мастерстве и полете воображения, с которым это было сделано. (Позже деревянные изделия даже будут некоторое время кормить бедствующую семью Бруни).

А еще в эти же месяцы скоротечной летной учебы была любовь. Звали ее Анной — как его мать. И то же отчество. Очень неожиданная любовь, потому что он сперва был уверен, что любит старшую сестру Ани — а может, так оно и было сначала. Аня же — тайно влюблена в него была с тринадцати лет. С одиннадцатого года (почти совпадал ее возраст с веком). Так что возвращаясь в армию, Николай Бруни уже знал, что в Петрограде его ждут и любят.

И теперь предстояло усердному литератору Рубину — сидеть над историей авиации и первыми журналами о воздухоплавании.

Только-только начиналась авиация, всего лишь метрами и минутами измерялся первый успех. А какие разные люди были в ее пионерах! Самолеты строили — на досуге или все на свете бросив ради них — моряки, артиллеристы, фабриканты и настройщики роялей, купцы и почтовые чиновники, студенты-техники и студенты-гуманитарии, инженеры всех мастей, осмотровики вагонов, механики-самоучки, юристы, лоцманы, архитекторы, строители, помещики, гимназисты. Были самолеты, оказавшиеся способными только на подскоки и краткий взлет, были самолеты, ломавшиеся при разбеге или теряющие свои части, едва поднявшись в воздух. Были изобретатели, при неудаче кончавшие с собой, так нацелена была их жизнь на одно-единственное в мире. Все делалось ошупью, наугад и наудачу, но повсюду с неиссякающим азартом. Человеку пришлось летать, и с потерями в таких случаях не считались. На Ходынском поле в Москве были видны с воздуха обильные ярко-красные полянки, хорошо различимые среди сплошной зеленой травы. Это были разросшиеся гнезда гвоздик, посаженных там, где разбивался очередной авиатор. Еще бы: первые самолеты — словно воплощение и символ хрупкости и ненадежности. Каркасы из бамбука или деревянных планок (уже позже — тонкие

трубки), обтяжка из полотна, брезента, шелка, случайной ткани, пропитанной олифой. Стрекозиные наивные конструкции, кое-как скрепленные стойками и сотней метров тросов и тросиков.

Впрочем, ко времени войны самолеты стали понадежней, были уже серийные выпуски, летали российские авиаторы на иностранных марках: ньюпоры, райты, фарманы и другие гнездились в маленьких ангарах-стойлах Качинской летной школы под Севастополем, куда приехал Николай Бруни наскоро доучиваться весной шестнадцатого года.

О том, как он воевал, говорят Георгиевские кресты. Их было три; но никаких подробностей его военных удач Рубину выяснить не удалось. А еще за боевые успехи Бруни был произведен в прапорщики. И похоже, что был очень счастлив. Стихи, во всяком случае, говорили именно об этом. И в отряде летном его любили с очевидностью, ибо после Февральской революции (встретили ее с восторгом) был он избран от их летного дивизиона делегатом на Всероссийский съезд авиации.

А война продолжалась между тем. И в сентябре семнадцатого года пришла очередь Николая Бруни подтвердить статистику гибели военных летчиков. Прямо над аэродромом отказал у него мотор, даже не в бою это было. И, кувырнувшись резко, сразу завалился набок и стремительно стал падать самолет. В наступившей страшной тишине Бруни услышал последние слова стрелка, давно уже летавшего с ним: пропали, Коля, ах, ебена мать, пропали! Восторг отчаяния, залихватский азарт последней бравады был в этом крике. Бруни после вспоминал, что успел осознать: смерть! — а страха почувствовать не успел. Боль была мгновенной и мир потух.

Стрелок разбился в кровавое месиво, а что спасло пилота Бруни — непонятно; да и врачи еще долго не верили, что он выживет, ибо в госпиталь привезли просто мешок переломанных костей — все, что было час назад поэтом, летчиком, музыкантом и весельчаком Николаем Бруни. В нескольких местах переломаны обе ноги, раздавлена грудная клетка, сильно разбит череп. Но сердце еле слышно еще билось.

Сознание спустя неделю вернулось во сне. Ему привиделось, что он заживо похоронен и лежит под грудой камней, не в силах пошевелиться и вздохнуть, хотя удушья почему-то не было. Он застонал, открыл глаза и

обнаружил, что жив и упакован в гипс почти целиком. Несколько минут продолжалось это осознание себя, и снова все уплыло в туман.

В те дни и посетило его видение Божьей Матери. Какой была она всегда на иконах и холстах, такой она ему и явилась. Сострадательно наклонилась, взглядываясь в его лицо, выпрямилась и скорбно застыла рядом, не исчезая.

— Очень жить хочется, Пресвятая Дева, — хрипло сказал ей Бруни (или подумал, что сказал). — У меня невеста Анна. Жить хочу.

— Сын мой, — ответила Богородица тоскливо, и неясно было — к раненому это обращение или воспоминание о собственных скорбных днях.

— Если останусь жив, Мать-Заступница, — сказал ей Бруни, — посвящу себя служению твоему сыну.

И так лицо пришедшей осветилось мгновенно, что Бруни понял: он останется жив. И опять блаженно забылся, словно не приходил в себя. А когда вернулось через сутки сознание, помнил он весь разговор до малейшей детали, но до поры не решался рассказать никому. И молчал, когда врач хвалил его за то, что выжил, что стремительно идет на поправку, о молодости говорил, о спортивной закалке и прочее из земного репертуара. Но Бруни знал точно и неопровержимо, кому он обязан жизнью, с радостной готовностью вспоминал принесенный обет служения.

Анна, узнав о случившемся, приехала к нему в конце октября. Долго не решалась войти в палату, ибо увидела через застекленную дверь, как со слезами ярости и бессилия пытается он размять отвыкшую от движений руку с негнушимися пальцами. Ноги еще были в гипсе.

Тут содействие литератору Рубину начал оказывать документ из тех, что сохраняются чудом, — толстая общая тетрадь с пожелтевшими листами, уцелевший дневник тех лет. Урывками делались в нем записи, наскоро, неразборчиво, с перебоями в несколько месяцев — но делались. И то, что удавалось прочитать (основательно выцвели чернила от времени), — проливалось легкий свет на многое, чего уже не помнили дети.

В частности — на разрыв со старшей сестрой Анны, с Марией. Причина явная: Николай Бруни кем-то увлекся, продолжая любить Марию, и был за это гордо и навсегда отвергнут. Вот обрывки записей, сделанных в мае четырнадцатого года:

«Я не прошу простить меня, потому что меня прощает моя любовь...

...Неужели только для меня были счастьем и жизнью часы нашей близости?..

...Девочка нежная, если я не нужен тебе, не будем больше встречаться никогда...»

Дальнейшее легко читается в письме (черновик — в дневнике) из госпиталя от 31 октября семнадцатого года (если оно было послано, то, возможно, Анна и увезла его сестре):

«Милый друг! Я думаю, что за четыре года скитаний, разбитый, со сломанными ногами, я искупил перед Богом свою вину, а ты, счастливая, давно забыла меня, а значит и простила. В тот день, когда я получил предписание ехать на фронт, меня известили о твоей свадьбе! Теперь, когда я был при смерти, я узнал о том, что ты стала матерью! Господь с тобою! Наши судьбы различны, но я верю, что моя дружеская любовь к тебе, мое радостное желание сил твоему мужу и ребенку оправдают в твоём сердце то, что я называл тебя другом».

Нет, чувства обоих еще не были в то время дружескими. Наскоро выйдя замуж — из гордости и назло, как это часто бывает, — Мария не была счастлива. И Николай Бруни тоже еще много-много лет помнил ее и каждый год в день ее именин писал тоскливые стихи. Неизвестно, знала ли о них Анна. А однажды при встрече в Москве (в двадцатых) долго говорили они о своей обоюдной и непоправимой торопливости, после чего и впрямь расстались друзьями.

А пока что дневниковая запись в мае восемнадцатого: «И вот вся жизнь моя в одном имени: Анна». Это Бруни уже в Москве; из Одессы он уехал в апреле, еще на костылях. Кружным путем, через Саратов, но добрался.

Еще одна запись: «Слезы душат от страха, что она ошиблась».

Рубин приближался неуклонно к тому, чего затрагивать не хотел, но тема эта властно всплывала все равно: безусловность любви и преданности Анны (все дальнейшие годы подтвердили это чувство) и сомнительность того, что так же был счастлив ее муж. Но решительно отложив покуда эту трудную тему, Рубин обратился к еще одной трагедии своего героя. вычитав в его дневнике, что летом восемнадцатого, едва вернувшись в Моск-

ву и бросив костыли, Николай Бруни попытался снова летать.

И не сумел. Оказались правдой рассказы бывалых летчиков: далеко не всем удастся вновь вернуться в самолет после аварии. Липкий и вязкий страх накатывает, не отпуская, как только садишься в кресло пилота. Страх от памяти о пережитом падении, сохранившийся в клетках мозга и тела, цепкий страх, так и не давший Бруни снова взлететь. А ему это зачем-то было нужно. Но не сумел — и никому об этом не рассказывал. Только в стихах однажды ожила память об изумлении:

О, как легко опять вернуться в землю,
свою кровью напоить цветы!

Дневниковая запись в августе:

«Теряется путеводительная нить! Что делать, как жить дальше?! Душа как бы раздавлена обломками разрушенного государства, она изнемогает. И сердце не находит покоя, но и пути оно не находит! Я готов опять на любые героические усилия, но что же делать?»

Сегодня на Кузнецком мосту группа людей окружила умирающего юношу. Он сидел на окне магазина, закинув голову, с полузакрытыми закатывающимися глазами. Его не могли привести в сознание, пока какой-то студент не поднес к его губам кусок хлеба. Запах хлеба на минуту привел иссохшего человека в сознание и жестом обезьяны его костлявая рука стремительно схватила хлеб. Этого жеста я никогда не смогу забыть. Но и жевать хлеб не было сил у изнемогшего человека, и он опять впал в предсмертное забытье.

Полумертвые изодранные женщины-старухи продают обломки шоколада...».

Так наступало решительное новое время, для Николая Бруни новое тройное: он возвращался к гражданской жизни, он собирался исполнить свой обет, он заводил семью.

День свадьбы устанавливался легко, ибо нашлись два стихотворения Бальмонта (никогда нигде не публиковавшиеся), посвященные новобрачным. (Анна много лет прожила в их семье, в доме у Бальмонтов устраивалась и свадьба). Девятого сентября восемнадцатого года молодые венчались в старой арбатской церкви Николы-на-Песках (через три года в этой церкви священник Бруни будет служить панихиду по Блоку). Эта же дата стоит на обоих стихах, которые вечером того же дня

Бальмонт читал на свадьбе. Первое стихотворение было обращено к жениху. Рубин выписал для книги его начало и конец.

Ты музыкант, поэт и летчик,
Ты трижды птица и цветок.
Но я старинных книг начетчик
и знаю много горьких строк...
...И если сказка дней обманна,
то необманна навсегда
в любви раскрывшаяся Анна,
улыбка, роза и звезда.

Стихи, прочитанные на свадьбе, всегда и заведомо прекрасны. Гости рукоплескали и восхищались. Через полчаса Бальмонт снова встал, держа в руке второй листок. Стихотворение посвящалось невесте Ане Бруни.

Ты красивая белая роза
под расплавленным солнечным светом,
беловейная сказка мороза,
ты должна быть любима поэтом.
Ты снежинка, допевшая снежность,
потому и дождалась ты Леля,
и, растаяв как вешняя нежность,
ты взыграла побегами хмеля.

Снова были возгласы восхищения, и будущее, о котором с тревогой думали гости сегодня днем, отступало и размывалось в розовом благодушии праздника, цветов, музыки, вина и молодости. Впереди у собравшихся было разное: эмиграция, нищета, лагерь, десятилетия житейских невзгод и тягот, страхов и унижения, потерь, просветов и сгущения тьмы. В сентябрьской ночи восемнадцатого года стучали по улицам сапоги патрулей, где-то неподалеку стреляли, до утра никто не уходил домой, очень и очень много пели — старинные романсы попеременно с уличным фольклором и пошлостью ресторанной эстрады. Замечательно звучали они рядом.

Как собирался Бруни содержать свою семью? Литература прокормить не могла. Она еще не стала надежным продажным промыслом, выгодным ремеслом, отлаженной технологией. Это было впереди. А пока писатели служили — кто где — за недостаточный, полуголодный, но паек. В некоем эфемерном и бессмысленном присутствии (именовалось оно Театральным отделом Народного Комиссариата Просвещения) сидели и Бальмонт, и Ходасевич, и добрый десяток других.

(Написав так, Рубин испугался своей наглости, ибо

«другие» — это были Белый, Балтрушайтис, Вячеслав Иванов, Пастернак. Но устроить Бруни туда могли именно те двое, названные первыми).

Ах, если бы он пошел туда служить! Тогда Рубин смело мог стащить из мемуаров Ходасевича эпизод, в который запросто можно было вставить Николая Бруни, ибо Ходасевич, назвав несколько фамилий (Белый, Гершензон, Пастернак, Чулков), написал далее — «и еще кто-то». Вспоминал он, как промозглой поздней осенью восемнадцатого года собралась группа писателей у Манежа, чтобы идти в Кремль к Луначарскому. Они шли жаловаться на голод и холод, на невозможность писать из-за необходимости просиживать штаны ради нищенского пайка в своем бессмысленном Театральном отделе, они еще надеялись на что-то, боясь признаться даже самим себе, что не очень понимают — на что. Ибо надеяться было уже поздно. Даже паек уже вот-вот собирался превратиться в пайку. Величественно и быстро разворачивалась одна из самых страшных трагедий: трагедия всеобщей сбывшейся мечты.

Но они пошли. И Рубин не удержался — вставил в эту группу поэта Николая Бруни. Уж очень был велик соблазн такой подтасовки.

В Троицких воротах Кремля часовой трогал каждого за плечо (пропуск был общий) и вслух пересчитывал: один, второй, третий. Шестнадцать лет оставалось Бруни до такого же пересчета в тюрьме.

Потом была комендатура (с тем же тщательным пересчетом), лестница (на поворотах маршей — часовые) и огромный белый коридор старинного служебного помещения. Луначарский принимал депутацию в кабинете своей квартиры в Кремле. Когда они расселись, Луначарский пристально и медленно обвел всех глазами, и Ходасевичу показалось, что нарком снова на всякий случай пересчитывает их.

Было у Рубина на совести одно смешное, но болезненное воспоминание о молодой жестокости давних лет. Уже заканчивал он школу тогда (шел пятьдесят третий год), историю преподавал у них некий Наум Соломонович, изгнанный из какого-то научного института в самом начале борьбы с безродными космополитами. Если кто и подходил внешне (схожестью с газетными карикатурами) под эту бессмысленную кличку, то уж, конечно, их Наум Соломонович — ввиду крайней непривлекательности своей и крайне типичной внешности. С пышными

остатками белых кудрей вокруг огромной плечи, толстогубый и с огромным носом (из которого так же, как из ушей, торчали жесткие завитки волос), с темно-карими навывкате глазами, полными вековой скорби изгнанников, нездорово рыхлый и не только бедно, но и неряшливо всегда одетый, с невероятным, пародийным акцентом. В классе к нему по-разному относились, даже скорей любили за восторженнонеобъятное знание своего предмета, но никогда не упускали случая подшутить, тайком передразнить, воспользоваться его тихостью и попустительством. Однажды Наум Соломонович на урок не явился — пришел директор, попросил час истории пересидеть спокойно, объяснил, что их учителя вызвали получать затерявшийся фронтовой орден, нашедший его спустя восемь лет. Мельком директор сказал, что у Наума Соломоновича это третий или четвертый орден, а медалей не сосчитать, что он всю войну воевал с отчаянной храбростью в пехотной разведке. В тоне директора чувствовалась одновременно и любовь, и боязнь проявить ее чрезмерно, ибо в то время не ко всем имел право человек проявлять любовь, уважение, даже симпатии. Это решали за него, и нарушение регламента было чревато.

А на следующий день пришел Наум Соломонович. Тот же черный его обтерханый пиджак сиял по случаю множеством наградных колодок и свежим орденом. Очарование, однако, разрушилось при первых звуках его голоса, еще более акцентированного волнением и торжеством.

— Ребята! — сказал он. — Вчера я был в Кремле. Я сейчас вам расскажу по порядку. Часовой проверил мою фамилию в списке, потом долго вглядывался в паспорт и в меня, после близко-близко наклонился к моему уху и спросил: оружие есть? Нет, конечно, нет, и я пошел дальше. После я пришел, куда сказали, но это тоже были часовые. Они проверили паспорт и тоже у меня спросили: оружие есть?

На вопросе этом голос Наума Соломоновича взлетал и креп, он задавал его (или воспроизводил), как секретный воинский окрик, требующий пароль у фронтового склада.

— А потом уже почти я в зале, но ко мне подходят двое в штатском и с обеих сторон тихо шепчут мне в оба уха: оружие есть? Народа в зале было мало, и нас отпустили быстро. Но вы знаете, кто вручал мне орден?

Ворошилов! Климент Ефремович Ворошилов! Он немного знал меня по войне. Он не просто пожал мне руку. Он меня обнял — и вы знаете, что он мне сказал?

— Оружие есть? — хором гаркнула половина класса, точно и безжалостно воспроизведя интонацию. С той минуты знал и помнил Рубин, как мгновенно может погаснуть и помертветь человеческое лицо, словно серым пеплом вдруг усеянное и оцепенело застывшее. Тусклым спокойным голосом Наум Соломонович перешел к уроку, класс старался не смотреть на него; этот час так и остался у Рубина памятью о невыносимом стыде. Он тогда кричал едва ли не громче всех.

Тут Рубин покурил, раздумывая, где бы в книге рассказать эту историю, снова расстроился от своего былого хамства и вернулся в Кремль к Луначарскому.

Этот жалобный писательский поход привлек Рубина не какой-нибудь удачной речью или репликой наркома, вовсе нет. Луначарский ничего не обещал. Дело клонится отнюдь не к весне, сказал он, а весьма и весьма напротив. Рабоче-крестьянская власть разрешит, одобрит и поддержит только ту литературу, которая ей полезна и нужна. А всякую другую — увы, сказал нарком. Лес рубят — щепки летят, сказал нарком. Вот еще когда, оказывается, обновилось свежим смыслом это выражение, подумал Рубин. Много, много позже спохватится Россия, что лес рубили диковинно: лучший ушел на щепки. Как это ни прискорбно, сказал нарком, обещать он ничего не может.

Но не стал бы Рубин только из-за этого монолога вставлять своего героя в чужой эпизод. Не стал бы. Но позади наркома сидел в тот вечер пьяный поэт Иван Рукавишников. Это сейчас он всеми начисто забыт, кроме дотошных знатоков, а тогда — было его время. И свою хмельную мечту-идею он изложил в тот вечер вслух. Надо на берегу Москвы-реки срочно построить большой дворец из стекла, мрамора и алюминия, сказал Рукавишников. И художники пусть там рисуют, писатели пишут, музыканты играют. А кормятся все вместе в большой столовой. Ходят в хитонах и купаются в реке. И артельно делают искусство. Заказал театр оперу или трагедию — навалились вместе и сотворили. И притом у каждого в его комнате — настоящая красивая жизнь: стол, кровать и умывальник с эмалированным тазом.

Так что очень, очень заманчивая перспектива распаивалась перед Николаем Бруни в тот вечер. И легко

себе представить омерзение, с которым слушал он су-сальный бред энтузиаста творческой казармы.

В декабре они с Анной уехали из Москвы на Украину — в неизвестность, в опасности, в эпицентр гражданской войны. Но там легче было прокормиться, звал их дальний родственник — священник сельского прихода под Харьковом. К тому же предстояло Николаю Бруни вступить на стезю служения, для чего сначала следовало овладеть искусством-ремеслом пастыря овец православных.

Дневниковая запись от четырнадцатого декабря — уже о службе. Николай Бруни отпевает покойников. Их много, захоронение массовое. Непонятно — это жертвы войны (чьи-то пленные, заложники-крестьяне) или их скосило тифом. Запись невелика и сделана наскоро:

«Покойники в бараке складываются в безобразную кучу. Торчат ребра, ноги, волосы и все это едва прикрыто серыми линиялыми лохмотьями.

Я возглашаю: «Благословен Бог наш!» и думаю: как замирает сердце от морозного дыхания дьявола!

И не находится человека, который положил бы покойников в ряд в одну сторону головами, который сложил бы им руки на груди.

Я впервые увидел, как взлетает труп и с грохотом падает на мерзлые сани».

О, еще он это повидает — многократно и уже привычно — в дальних северных местах, о которых и не помышляет покуда.

Запись в новогоднюю ночь с девятнадцатого на двадцатый год:

«Итог событий: 21 апреля был рукоположен в сан дьякона. После исповеди я зашел в келью иподьякона, и он дал мне черную рясу и кожаный пояс. Была теплая, черная и ветреная ночь, когда я в новом одеянии вышел и вдохнул тревожный воздух... Итак, я простился с юностью и светской жизнью. Первого мая я стал священником... Первого июля родился первенец Михаил. И вот мы пьем, встречаем Новый год, не зная ничего ни о ком из дорогих нам людей! Первенец спит, горит восковая свеча и освещает усталое лицо моей измученной попадьи... А за окном — чернота, и доносятся звуки каких-то выстрелов. С Новым Годом!».

Еще год пробыли Бруни на Украине. Пунктир его судьбы возобновлялся для биографа весной двадцать первого, когда семья уже из трех человек возвратилась

в Москву. Бруни надеялся найти здесь приход. Но жизнь упрямо не задавалась.

Один приятель, обожавший Гумилева, неожиданно помог Рубину в поисках. Когда-то в Риге, сказал он, была издана книжка незамысловатых очерков некоего Г. Лугина, а на самом деле — Г. Левина с названием забавным и многозначительным: «28°50′ Восточной долготы». Левая книжица, но есть чуть-чуть о Гумилеве. И встречается фамилия Бруни, только я не поручусь, что это тот, который тебе нужен.

Тот оказался, именно тот! Наутро в Ленинской библиотеке уже читал Рубин, обмирая от охотничьего азарта, фильмокопию этой книжки, благословляя неведомого Лугина-Левина.

В июне двадцать первого года, писал воспоминатель, Гумилев был в Москве и вечером читал стихи в Кафе поэтов. Когда он уже уходил — его уводили в гости — за одним из столиков принялся громко читать его стихи невысокий плотный человек в кожаной куртке, галифе и обмотках. Типичное семитское лицо и борода делали его похожим на библейского Самсона. Гумилев заинтересовался и подошел. Человек встал и с вежливым достоинством представился. Это был знаменитый левый эсер и не менее знаменитый чекист Блюмкин. Гумилев об их знакомстве не забыл:

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел позвать мою руку,
Поблагодарить за мои стихи.

А тогда при встрече Гумилев тоже сказал что-то красивое: что он рад, когда его стихи читают воины и сильные люди. Так, во всяком случае, запомнил автор воспоминаний. А приведя строфу, которая выше, он пояснил:

«Эти строки — об этой московской ночи, о встрече двух будущих смертников».

Именно здесь испытал Рубин чисто охотничье ощущение удачи. Чуть непристойное, поскольку торжество и радость испытал он от того, что только он один сейчас знал: в тот поздний вечер не двое, а трое будущих смертников пожимали друг другу руки. От нетерпения переминаясь с ноги на ногу — хотелось посидеть и вспомнить «Бродячую собаку», — третьим при этой встрече стоял Николай Бруни. А в гости вел он Гумилева — к Борису Пронину, недавно перебравшемуся в Москву,

где собирался он открыть кафе «Странствующий энтузиаст».

Побегав по библиотечному коридору и слегка уняв восторг от находки, Рубин сел и просто переписал дальнейший текст, где содержались те слова о его герое, которые сказал другой — современник, ровесник скорей всего, очевидец — и тоже с поэтической жилкой.

Итак, они пришли в гости.

«Пронин обитал в небольшой комнатешке, в прошлом не то ателье фотографа, не то мастерской художника. Единственное, что врезалось в память, — это обилие стекол — стеклянная стена, стеклянное окно в потолке — и живопись Судейкина. Картин у Пронина больше, чем стульев. Пошли ли стулья в печь, отапливалось ли зимою это ателье мебелью или вообще стульев не было — не знаю.

Но Пронина это не смущало, так же как не смущал неожиданный приход гостей, появление новых лиц. Кое-как разместились вокруг самовара — Гумилев, Бруни, Пронин. Позднее пришли Федор Сологуб с Ан. Н. Чеботаревской. И до утра вкруговую читали стихи, запивая их чаем и какой-то терпкой кислятиной. Кислятину эту гостеприимный Пронин именовал вином.

Эти часы у Пронина стали памятными не только потому, что в них были Гумилев или Сологуб — этим чаем я обязан встречей с Бруни.

В поэзию Бруни пришел братом по духу и ровесником Сергея Соловьева. Он принес с собой мистический экстаз и большую музыкальную культуру. ...В пустынные предутренние часы шли по бульварному кольцу и читали стихи. Обесцвеченное предрассветными лучами лицо Бруни казалось еще бледнее, чем обычно. И большие, глубоко впавшие глаза на восковом, казалось, неживом лице, в окладе каштановых мягких прядей.

Через год снова встретился с ним. В маленькой комнатешке застал его за необычным делом. Склонившись над табуреткой, осторожными мелкими движениями макал он кисточку в жидкую краску и расписывал деревенские ведерца.

Замерла в воздухе кисточка. Виновато развел руками: измазался, не могу поздороваться, — и, чуть улыбаясь, добавил:

— Да вот для ребятишек игрушки расписываю. На продажу.

И пояснил:

— Не смог примириться с Живой Церковью и оставил приход.

Покинув приход, занялся изготовлением игрушек и мечтает об отъезде в Козельск. Там есть старая церковь — там он будет далек от слов, казавшихся лирикой и жизнью.

На этом кончались заметки о Николае Бруни. Значит, все-таки нашелся в Москве какой-то приход? Дети не помнили об этом. Помнили, что была какая-то покинутая церковь, которую отец долго очищал от птичьего помета и всякой иной грязи, но там не удалось открыть приход. Почему?

В выписанном тексте, где поставил Рубин отточие, — пропустил он вот что:

«В 1918 году, так же, как и его ровесник Сергей Соловьев, принял священнический сан, ушел от всего мирского, молился в маленькой церковке близ Арбата».

Не та ли это церковка Николы-на-Песках, где служил священник панихиду по Блоку? Было это вскоре после встречи с Гумилевым и гостевания у Прокина.

Словно пророческий голос самого поэта раздался в церкви, писал очевидец панихиды. Пришло много писателей, профессора университета, студенты — паства, заполнившая церковь, была в тот день крайне необычна. Столь же, впрочем, необычно повел себя и священник: вместо традиционных слов панихиды стал он читать с амвона блоковские стихи. О девушке, певшей в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. И повисшее в церкви молчание сменилось через минуту всеобщими беззвучными слезами. Только после стихов начал священник Бруни установленный обряд панихиды. Может быть, именно это вменялось в вину, когда ему вскоре было отказано от службы в приходе.

А спустя месяц после панихиды по Блоку уже писал Николай Бруни стихи памяти расстрелянного Николая Гумилева, воспроизводя в строке момент обрыва его жизни:

С головою, залитою огнем пожарищ,
Муза, не плач!
Клянусь, он сказал: нет гражданин палач,
Я вам не товарищ.
Я рыцарь Девы. Воин небесных стран.
Я...

Будущее он не мог уже не чувствовать в это время. Ощущение было сродни предчувствию неотвратимо на-

двигающейся грозы. Духота, потемнение, душевная смута. От этого наверняка хотелось уехать, скрыться в глушь, бежать за миражом покоя и безопасности. А Живая Церковь была только зловещим предвестием этого будущего, хотя Бруни почти наверняка не знал, откуда она возникла, какие соки ее питали и чья поддержка придавала силы. Ибо весьма нескоро выяснилось, что церковный раскол того времени умело направлялся неким чекистом Тучковым, и священники, примкнувшие к обновленчеству (инстинктивно чувствуя здесь безопасность и опекающую силу), начинали служить, не сразу это осознавая, порабощению русской православной церкви. Быстрому и неуклонному превращению духовных пастырей в послушных служащих государства. Впрочем, о разногласиях священника Бруни с церковью можно было только гадать. А вот о настроениях его в эти годы — сохранился, по счастью, чрезвычайной выразительности документ. Ибо священник Бруни был еще и членом Всероссийского Союза писателей — приняли его заочно: он отсутствовал, учась ремеслу пастыря. Одна анкета этого Союза уцелела. Поэт Николай Бруни заполнил ее четвертого июля двадцать второго года. Союз писателей интересовался житьем-бытьем своих членов...

Начало обычное: где живет (на Арбате, Николо-Песковский переулок), когда родился, семейное положение (жена и двое детей). Далее следовал ответ на пункт четвертый:

— Живу настолько в тесноте, что не имею не только отдельной комнаты, но даже своего письменного стола.

Пункт пятый:

— Никакого пайка не получаю. Изредка получаю из Америки посылки, которые разделяю с братом моим, Львом Александровичем Бруни.

В пункте десятом уточнение:

— Удастся (учитывая помощь американских посылок) добывать семьдесят пять процентов прожиточного минимума.

Иными словами — впроголодь. Но это время такое на дворе, в городе жить особенно трудно. Чем же добывает поэт Бруни корм для своей семьи?

— Работал в качестве печника, теперь занимаюсь столярной работой, подчас бывало настолько тяжело, что я от истощения среди работы терял сознание.

А служить, как его коллеги, в липовой какой-нибудь конторе по якобы театральному или книжному делу он

упрямо не желает. Он ищет в Москве церковный приход, чтобы исполнить слово, данное перед лицом смерти. Бог весть, сколько продлится священство, к которому не склонен. Провидение само прервет его служение, когда выйдет срок, но пока он должен начать. А прихода нет и нет. Неразбериха, повальный страх, грабительская кампания по изъятию ценностей, осеняемая списком расстрелянных пастырей и иерархов церкви, всеобщее взаимное недоверие, атмосфера раскола — не находила Москва прихода для человека случайного в церковной среде.

Пункт двадцать первый:

— Литературной работы не ищу.

Пункт двадцать второй:

— Многие книги моей библиотеки пропали по обстоятельствам революционного времени. Часть продана мною. Несколько десятков книг, необходимых для меня, стараюсь сохранить.

Пункт последний, двадцать пятый — слова наотмашь, словно заведомая отповедь доброхотам, которые захотят помочь и привлечь:

— Самым ужасным бичом для своей писательской деятельности считаю не голод, не тесноту, не детский плач, а цензуру, поэтому я предпочитаю всякий свободный труд хотя бы и чернорабочего, лишь бы он не насиловал мысль и художественную совесть.

Эва, как вы резко, Николай Александрович, — не боитесь? А ведь вокруг уже многие боятся. И на помощь вам никто не придет, ни на кого сейчас рассчитывать не приходится. Зря вы так. На что надеетесь?

На побег. На сельскую тишину. На возможность исполнения обета и служения где-нибудь в провинции. И наплевать на все творящееся вокруг.

Куда ехать, вопроса не возникало. Только в Оптину пустынь. Ибо она с неких пор была заповедным, заветным для всей семьи местом: там давно уже жила и настоятельно звала к себе мать, Анна Александровна Соколова.

Она приехала сюда еще до войны. Полностью разладились ее отношения со вторым мужем, и ни места, ни занятия не могла она никак найти, в отчаянии и тоске металась, сама не зная, чего хочет. Тут посоветовал ей кто-то съездить в Оптину пустынь под Калугой, где известные всей России святые старцы славились исцелением душ.

Рубину приступать к этой теме было тяжело не только из-за полного незнания истории российских святых мест или смущения перед мистикой и необъяснимыми светлыми чудесами, кои следовало упоминать. Из-за собственного душевного устройства было ему это тяжело. Ибо кончив школу и пройдя институт, прочитав много более, чем большинство сверстников, был он в смысле веры даже не атеистом или материалистом, а просто дикарем. Темным, невежественным и косным. Ибо атеизм предполагает все же какие-то убеждения — в этом смысле зияющая пустота отличала Рубина. Нет, не отличала, впрочем, а уравнивала с бесчисленным множеством ровесников. Что-то мерзкое, бессильное и пакостно-вялое заставляли их читать в порядке атеистического образования в школе и в институте, что-то гнусное и столь же неубедительное слышал он краем уха, посещая разные лекции и публичные чтения, нечто неизменно поносительное читал в журналах. А задумываться самому — не возникало в нем душевной склонности. Так как не был он ни дураком, ни попугаем, то о Боге и церкви говорил сдержанно, скорее избегая этих тем — просто слишком далеко от него текла непонятная ему жизнь верующих. И никто на пути не попадался, кто не то что к вере его склонил, но хотя бы заронил в нем любопытство или интерес. Так что это дремучесть просто была, глухая и полная дремучесть. Хоть умом уже начал понимать с годами, как полна и осмыслена жизнь того, кто верует искренне... Однако душа его была по-прежнему пуста и безответна.

Поэтому Рубин просто раздобыл толстый том об Оптиной пустыни (книга эта о многовековой российской гордости была издана за рубежом, разумеется) и выписал из нее аккуратно все, что могло оказаться интересным такому же дремучему будущему читателю. Выписки эти делать ему было забавно и странно: словно вступал в неведомый дотоле мир, глубины и серьезности необыкновенной. (Тут особенно серьезность и подлинность поразили Рубина, ибо памятно ему было многолетнее свое ощущение, что люди верующие — просто играют во что-то, сговорившись, истово и старательно исполняя обряды и испытывая счастье от процесса и процедуры игры.)

В седой древности, согласно легенде, основал тот монастырь под Козельском раскаявшийся разбойник Опта. Люди здесь крутые жили издавна: еще конницу

Батыя, все сметавшую на своем пути, задержали некогда на семь недель защитники крепости, отчего обидевшийся Батый назвал Козельск злым городом. Смиренные отшельники, селившиеся в монастыре, особой известности своей обители не принесли — пока здесь не появился первый старец, от которого и пошла (с начала прошлого века) знаменитая череда оптинских святых мудрецов. Это были люди, жившие чуть поодаль от монастыря, в скиту, славились они своей чистотой, благодаря которой наделены были особым даром: видели насквозь душу любого человека, его прошлое и будущее прозревали, понимали тайный духовный смысл всех происходивших событий.

Хлынул сюда с некоторых пор поток нуждающихся в совете, утешении, назидании — да так и не иссякал сто лет, покуда не был насильственным образом остановлен. Последний в Оптиной пустыни старец Нектарий умер уже вне ее, изгнанный отсюда, когда скит и монастырь закрыли. Он же, кстати, все это предсказал со свойственным ему спокойным смешком.

Постепенно стало многое известно о последнем старце (разумеется — поверхностного, житейского, внешнего), ибо воспоминания о нем оставили рассеянные по миру его духовные питомцы, благодарные за свет, некогда пролитый в их души.

В монастырь Нектарий пришел совсем еще молодым (в миру его звали Николаем, что Николаю Бруни он и сказал немедля при знакомстве), после чего двадцать пять лет исполнял обет молчания. Не абсолютного, правда, ибо дважды в день исповедывался своему наставнику, старцу Амвросию. В крохотной келье, где жил Нектарий, по ночам всегда горела у него свеча: он читал и молился. А всего он прожил в Оптиной — полвека. Щуплый, сутулый, лысый, с постоянно слезящимися глазами (одновременно смеющимися: был он всегда чуть по-юродивому весел), старец Нектарий говорил иносказаниями, притчами, загадками, охотно ссылаясь на свою темноту, скудоумие, невежество — и вдруг поражал знаниями собеседников, образованных академически, питомцев университетов, высоких эрудитов. И тут же снова уходил в скорлупу смиренного юродства: «Вы, батюшка, сто книг прочли, вам и книги в руки». Никому он не давал прямых советов, точных предписаний, неукоснительных наставлений. Чтобы не ввергать человека в грех ослушания, забвения и нерадения, он советовал

шуткой, намеком, байкой, коих было у него неисчисли-
мое множество. И на будущее не сеял ни у кого надежд,
не поддерживал иллюзий и упований. Он о грядущем
времени вообще говорил страшно и непонятно: о тяже-
лейших испытаниях, духовных и плотских, о крушении
всего уклада российского, о черных переменах привыч-
ной жизни. И о мученической скорой смерти государя
и всей его семьи, что неисчислимые бедствия за собой
повлечет и великие темные соблазны.

Летом шестнадцатого года это лично слышала Анна
Александровна Соколова, приехавшая в Оптину пустынь
ради облегчения своих душевных тягот. Из Козельска
перебралась она через речку на пароме, пробежала че-
рез монастырь, не задерживаясь, лесом прошла в скит,
спросив дорогу к дому старца Нектария. Впоследствии
Анна Александровна часами гуляла в огромном ухожен-
ном саду внутри скита, молча простаивала возле обра-
зов древних пустынножителей со свитками в руках и
суровыми отрешенными лицами, вглядывалась в них,
снова уходила в лес или к реке Жиздре. Но сейчас она
была так напряжена и устремлена, что ничего не виде-
ла вокруг, даже огромных сосен необыкновенной могуче-
ности и красоты. Она подумала о побывавшем здесь
Толстом, ясно представила себе его погибельную душев-
ную смуту (он приехал сюда сразу после побега из до-
му, прямо накануне смерти, словно надеясь на помощь
этих мест, а не только ради прощания с сестрой), и ей
вдруг стало заметно легче, словно сопоставила она меру
терзаний и ощутила мизерность своих.

В приемной — крохотной комнате, куда прямо выхо-
дила дверь из кельи старца — уже сидели несколько
женщин. Она чинно поздоровалась и присела. Инок, слу-
живший старцу, спросил, кто она и откуда. Анна Алек-
сандровна ответила, начиная страшно волноваться. И от
волнения не заметила, как вышел к ним согбенный лы-
сый старичок с жидкой седой бородой и смеющимися
(и плачущими — платком их отирал) глазами, как за-
говорил с ними негромко, как их осталось всего трое.
Одной из женщин старец Нектарий сказал:

— Ты возвеселись, раба Божия, ты с меня, грешно-
го, пример не бери. Я утром скорбен, а вечером уныл —
грех на мне за это лежит. Страшный грех — неблаго-
дарность Создателю за жизнь дарованную со страстями
и радостями. Вот ведь у иных как бывает — еще круче
густеет зной житейский, вовсе нестерпимым становится,

а они не унывают. Я тебе сейчас одну историю расскажу, про жизнь одной женщины.

И здесь постигло Анну Александровну подлинное душевное потрясение: с какой-то лишь ему ведомой целью старец Нектарий принялся подробно рассказывать этой незнакомой молчащей женщине — ее, Анны Александровны, жизнь. Без деталей и подробностей, но в точности и со всеми мучительными поворотами, включая даже недолгий роман со знаменитым художником Крамским, хотя фамилию старец не называл. Женщина со слезами на глазах благодарила старца: что-то, очевидно, помогло ей и прояснило в этом рассказе. Анна Александровна сидела замороженно и оцепенело. На душе у нее легко было и спокойно — все, что мучило ее лишь час назад, схлынуло напрочь и сейчас казалось прошлым и пустым. Очень хорошо, а главное — похвально говорил о ней старец, описывая ее жизнь и походя сказав, что долг свой женский перед Господом выполнила она сполна и совсем напрасно отчаивается.

Старец Нектарий вернулся, проводив посетительницу, и ласково обратился теперь к ней — тоном таким, как будто много уже лет они коротко знакомы и дружны:

— А вы бы задержались тут у нас, сударыня, — сказал он. — И душой отойдете, а то озябли, и поразмышляете вдоволь без суеты, и во мне у вас надобность исчезнет. А не исчезнет — приходите и побеседуем. Жизнь у вас еще разнообразная будет, с сыновьями и внуками побудете вдоволь, рано вам себя хоронить.

И Анна Александровна осталась в деревеньке неподалеку. Время от времени наезжала к родне в Москву, но ее снова властно тянуло в Оптину. Жизнь здесь ощущалась содержательной и наполненной ясным глубоким смыслом — каким именно, она сказать бы не могла, да ведь никто и не спрашивал об этом. А в последующей сумятице и разрухе вроде бы некуда стало ехать, и она сама здесь оказалась нужной множеству людей.

Об этом в руках Рубина имелся замечательно внятный документ.

Мемуары, оставленные женщиной, пережившей гибель близких, лагеря и ссылку, сохранившей ясный разум и великолепный слог — полностью не видел Рубин, но глава о годах в Козельске оказалась у его знакомых. Отдельная случайная глава. Сразу же Рубин сделал одну выписку, не относящуюся прямо к Анне Александровне.

ровне Соколовой, ибо жалко было оставлять — вдруг пропадет? — упоминание вскользь о еще одной пропавшей судьбе.

«Изредка мимо нашего окна проходила женщина лет пятидесяти с лицом редкой красоты. Она останавливалась у домов и просила «Христовым именем». Ей подавали кусок хлеба или пару вареных картошек, она кланялась и шла дальше. Это была Екатерина Александровна Львова, урожденная Завалишина, внучка декабриста. Жила она в маленькой избушке на окраине Козельска, не имея никого из близких, кроме двух собак. Все вещи, привезенные из Петрограда, были проданы. Остался один бинокль. Придя однажды к Екатерине Александровне, я увидела, как она, будучи близорукой, в этот бинокль рассматривает внутренность топящейся русской печки, чтобы не опрокинуть горшочек с кашей».

Она жила под духовным руководством отца Нектария, и под таким же попечением находилась Анна Александровна. Каждой из своих послушниц старец советовал разное — в зависимости от прозреваемых им душевных свойств полагая целебными разные поступки и действия. Так, если внучку декабриста он наставил на «подвиг смирения и нищеты», то Анна Александровна занималась помощью всем, кто в ней нуждался. Автор мемуаров испытала это на себе, когда зимой двадцатого свалилась от сыпного тифа, а ухаживать за ней было некому — знакомые боялись заразиться. Тогда-то в доме и появилась ранее незнакомая ей мать Николая Бруни.

«Я была еще в полном сознании, — писала мемуаристка, — когда незнакомая мне дама лет пятидесяти небольшого роста с живыми темными глазами — это была Анна Александровна, — вошла в комнату и стала наводить в ней порядок. Вечером эта дама прочитала мне вслух газетную заметку о том, что Пулковская обсерватория почему-то не находит планету Марс и выражает недоумение, что он изменил свою орбиту. Было ли исчезновение Марса из поля зрения наблюдателей следствием витаминного голодания последних — я не знаю, но, во всяком случае, такая заметка появилась в печати и на меня произвела впечатление.

Ничто не может быть более жалким, как попытка словами воспроизвести сон. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал Тютчев. Тем более это касается явлений подсознательных. Поэтому я воздержусь от описа-

ния бредовых ощущений кружения по небесным сферам, которое я испытала, когда температура перешла за 40 градусов. Вполне реальным отражением их было то, что, по словам Анны Александровны, я поднялась с подушек, села и заявила: «Ну вот! Они, пользуясь моим бессознательным состоянием, посылают меня наверх узнать, куда девался Марс. Я им все узнаю, а они будут извлекать из этого выгоды! Как нечестно!» Кто были эти «они»; осталось невыясненным.

Мое тяжелое состояние продолжалось недолго. На 13-й день температура стала постепенно снижаться...

Далее излагались в этой главе рассказы Анны Александровны о ее детях, представлявшихся мемуаристке какими-то абстрактными личностями, но очень скоро, пишет она, оба оказались в Козельске. Следующих глав у Рубина не было. А в конце этой — шли записи о частом посетителе Оптиной пустыни (да и живал он там подолгу), некоем Нилусе, авторе книги о Протоколах сионских мудрецов. Рубин знал, что Нилус просто вставил эту вскоре нашумевшую фальшивку в свою книгу о явлении Антихриста. Мемуаристка напоминала содержание: таинственный съезд в Базеле в конце прошлого века не менее таинственных Сионских мудрецов, выкраденные протоколы этого съезда — дьявольский план полного порабощения мира. Книга эта производила сильное впечатление, писала она. И приводила один особенно запомнившийся ей протокол: «Для того, чтобы противящиеся нам не имели в глазах населения ореола геройства, мы будем смешивать их с уголовными преступниками».

Забавно, что именно это делает сегодня Лубянка, машинально подумал Рубин. И во всеуслышание объявляет, что у нас нет политических заключенных, один уголовный сброд.

Он вздрогнул от раздавшегося телефонного звонка.

— Илья. — не здороваясь, быстро заговорил Фальк, — вы чем сейчас заняты?

— Читаю о еврейской скверне, — мрачно и со вкусом сказал Рубин. Кажется, Фальк чуточку оторопел — во всяком случае, он помолчал мгновение.

— Позвольте, — сказал он недоуменно, — это ведь я о ней читаю и хотел поговорить. У меня пациент живет недалеко от вас, я выйду на полчаса раньше. Примете?

— Жду вас, — радостно ответил Рубин.

— Только кофе не переслаживайте, — сказал Фальк. Он приехал минут через пятнадцать, тоже очень возбужденный совпадением их чтения.

— Давайте, давайте кофе сперва, — ворчливо сказал он, усаживаясь на кухне и открывая портфель, — а я вам зачитаю сейчас, какими гнусными средствами вы, евреи, пользуетесь, чтобы завоевать мир. Не возражаете?

Рубин засмеялся и стал молотить кофе.

— Это вам читаю я, русский дворянин, — грозно сказал Фальк.

Обрусевшая немчура, огрызнулся Рубин, косясь на вытащенную книгу. Нет, это был не Нилус, поновее книжка. Ну-ну.

— Вот какими средствами вы пользуетесь, чтобы нас завоевать, — снова бормотнул Фальк, разыскивая нужное место. — Вот! — И голос его обрел звенящее торжество обвинителя:

— «Для начала — усилить в каждом государстве недовольство, брожение умов и беспокойство. Сеять замешательство и разброд. Всячески компрометировать и дискредитировать власть, то есть все совершаемые мерзости, бесчинства и пакости творить от ее имени: Сеять национальные разногласия и вражду». Я не слишком тороплюсь? — спросил он, легко меняя тон огласительный на застольный. Рубин невольно рассмеялся переходу.

— Нормально, — ответил он, — продолжайте зачитку приговора.

— Обвинительного заключения, — мягко поправил Фальк и снова перешел на публично-восклицательную тональность: — «Отчуждение всех от всех. Недоверие, рознь, злоба. Подонков продвигать наверх к власти, держа нити управления ими. Провоцировать неустанно гонку оружия, вражду и войны между странами и народами. Внедрять экономический хаос, путаницу и несправедливость. Неустанно подрывать нравственность путем внедрения атеизма, распутства, умножения всяческих пороков. Строить подземные дороги для удобства взрывов и покушений. Образование устроить так, чтобы насаждать невежество, темноту и отсутствие всяких интересов».

— Вы читаете или импровизируете? — не выдержал Рубин.

— «Строптивых — к ногтю», — Фальк не обратил

внимания на вопрос. — «Для пресечения мышления — цензура. Тайная слежка за всеми и доносительство каждого на любого. Сумятица, озлобленность, растление. Повиновение. Послушание. Покорность».

— Уже было, — фыркнул Рубин. Фальк захлопнул книгу и победоносно посмотрел на него.

— Каково?

— Это что, какое-то очередное изложение сионских протоколов? — вяло спросил Рубин. Было мерзко и уже неинтересно.

— Это английская книжка, я просто переводил, — пояснил Фальк. Ему тоже, кажется, стало противно. — Как похоже, согласитесь, — сказал он.

— На что похоже? — Рубин ответил вопросом на вопрос, прекрасно зная, что имел в виду Фальк.

— На стишок моего приятеля, — пояснил Фальк. — Не помните?

И прочитал со вкусом и выражением: «На всем лежит еврейский глаз, у всех еврейские ужимки, и с неба сыплются на нас шестиконечные снежинки».

Рубин было открыл рот, но Фальк сделал издали затыкающее движение ладонью.

— Потому что еще одно помню, — торжествующе сказал он, — такое же гнусное. — И зловещим тоном прочитал: «Я слышу очень ясно звон оков, которые эпоха нам готовит, недаром стал звездой большевиков обрзанный еврейский могодovid».

— Ну и мерзавцы у вас приятели, — польщенно ухмыльнулся Рубин.

— А зачем писали? — Фальк был явно расположен поговорить. — Дразнились?

— Воспроизводил мышление, — задумчиво протянул Рубин. — Слушайте, а вот что интересно: почему мы с вами одновременно стали про эту пакость читать? Я, скажем, в связи с Бруни и его поездкой в Оптину пустынь. А вы?

— У меня есть пациенты, которые этого не читали, но дошли своим умом или услышали и включили в структуру бреда, — пояснил Фальк, прихлебывая кофе. — Так что я читаю для осведомленности.

— Прямо вот так и думают? — заинтересовался Рубин, улыбаясь.

— Чему вы радуетесь? — удивился Фальк. — Не сегодня-завтра эти идеи станут народным достоянием и ничего хорошего из этого не выйдет.

— А кто мне хвастался своим афоризмом, что идея, овладевшая массами, превращается в свою противоположность? — вкрадчиво спросил Рубин.

— Так ведь это я о светлых идеях, — пожал Фальк узкими плечами. — А черные воплощаются неукоснительно.

— Плевать, — отмахнулся Рубин. — Бог не выдаст, свинья не съест. Вы мне лучше расскажите про бред, мне жутко интересно.

— Мало интересного, — сказал Фальк. — Какой-то крупный чиновник, вор, ничтожество и совершенно заплывший внутренним жиром человек. Дочь его связалась с наркоманами, хотя и раньше не являлась эталонной целомудрия, как я догадываюсь. Вот у него и выстроилась — на фоне родительского волнения и большого сердца — стойкая уверенность, что сионисты с запада нам возьят специально джинсы, рок музыку и сексуальные фильмы, чтобы растлить молодежь. А еще косметику и наркотики.

— А с запада — значит, непременно сионисты? — недоуменно спросил Рубин.

— А кто же? — торжествующе воскликнул Фальк. И еще раз повторил: — А кто же? — но уже со зловещей интонацией.

— Да, отстал я от современности, закопался в книгах и отстал, — огорчился Рубин. — И что же теперь из этого произойдет?

— Ничего хорошего, — успокоил его Фальк. — Своего, к примеру, пациента я подлечу лекарствами сердечными и снотворными, а что с народным мнением поделаться — не знаю, гражданин Рубин.

— Не противно — лечить такого? — спросил Рубин.

— Ни в коем случае, — твердо ответил Фальк. — Больной есть больной. Скорбящему помоги любому. Закоренелого гестаповца лечил бы. Судить — пожалуйста. Но сперва вылечить.

— А что же из этого и вправду произойдет? — снова протянул Рубин задумчиво. — Идея больно соблазнительная. И все объясняет.

— Не знаю, — отказался Фальк. — Я не Кассандра и не Авель.

— А Авель — это кто? — Рубин нахмурился. Каждый раз его заново поражало обилие случайных знаний Фалька, результат запойного чтения всего, что попадалось под руку. Ревнивая зависть часто охватывала его

в таких случаях, и он терзался дополнительно, стыдясь, что чувствует ее в себе.

— Авель — поразительная фигура, — охотно откликнулся Фальк. — Я нечаянно попал на его имя в Брокгаузе и Ефроне, а после посмотрел в журналах.

В кратком и торопливом изложении Фалька вырисовалась действительно загадочная фигура русского провидца. Никогда ранее Рубин о ней не слышал, а сейчас, только-только оторвавшись от пророчеств Нектария, чувствовал он глубинное, дрожью отдающее возбуждение от сегодняшних сплошных совпадений.

Монах-прорицатель Авель жил в восемнадцатом веке в монастыре под Костромой. Предсказал он с совершенной точностью не только год, но день и час смерти Екатерины Второй. Года за два до ее кончины. Были у него видения, он их подробно записал. Тетрадь попала к настоятелю монастыря, тот передал ее по инстанциям. Авеля схватили и повезли в Петербург. Везший его генерал от волнения и страха часто бил прорицателя по зубам. Понять ужас генерала было легко: государыня-императрица жива и здравствует, а какой-то смерд-монах спокойно предсказывает ее смерть. Екатерина лично повидалась с Авелем, расспросила его и повелела: в крепость пожизненно. И умерла точнехонько в предсказанное время. Авеля освободили от цепей и привезли к Павлу. Тот вѣдливо расспрашивал монаха о своей собственной судьбе, но Авель ничего не в силах был сказать. И его отпустили в монастырь: молись Богу, что остался жив. Но у него опять было видение, и он снова записал то, что видел. Предсказал год и день, чуть ли не час смерти Павла. Царю, естественно, доносят, тот свирепеет: в Петропавловку холопа навечно! А через год Павла убивают — все сбылось. Александр отпускает Авеля в Соловецкий монастырь: езжай, молись, будет видение — пиши, не прогневаюсь. В скором времени Авель честно сообщает ему, когда и как именно будет взята и сожжена французами Москва. Тут даже добряк Александр не выдерживает и приказывает держать Авеля в монастырской тюрьме. Десять лет Авель ждал исполнения собственного пророчества. Москва действительно горит, царь вспоминает о монахе и велит: отпустить на все четыре стороны, и пригласить, если захочет, в Петербург. Жил Авель в каком-то монастыре еще долго и точно предсказал время собственной кончины.

— Здорово! — протянул Рубин восхищенно. — Прямо-русский Нострадамус.

— Лучше Пострадамус, — сказал Фальк. — Ведь как мытарили бедолагу!

— Что ж это за механизм такой? — спросил Рубин с надеждой.

— Ну, батенька, — укоризненно ответил Фальк. — спросите что-нибудь полегче. От Бога это.

— Я про старца Нектария из Оптиной пустыни сейчас читал, — объяснил Рубин, — и, скажу вам честно, читал с жутким внутренним недоверием, а он тоже очень точно предсказывал.

— Ну, если прогнозы пессимистические, то они, как правило, всегда сбываются.

Эту мысль Фальк высказывал уже в коридоре.

— Когда мы, наконец, потрепемся всласть и без спешки? — спросил Рубин.

— В очереди на Страшный суд, — бодро отозвался Фальк. — Спасибо за кофе. Жаль, не удалось вас удивить.

— Удалось, удалось, — успокоил его Рубин. — И ошастливить тоже.

— Я вас чем-то задел или обидел? — вдруг спросил Фальк, глядя на Рубина снизу вверх посерьезневшими глазами.

— Что вы, Господь с вами, о чем вы говорите? — изумился Рубин.

— Я бываю не деликатен, — настаивал Фальк.

— Не сочиняйте, ничего не было, — Рубин досадовал, что какая-то пустая заворачивается канитель, совершенно чуждая их отношениям, и не понимал, о чем идет речь.

Фальк широко и безмятежно улыбнулся и скороговоркой пояснил:

— Знаете, у вас, евреев, даже у самых умудренных, защищенных юмором и достоинством, сохраняется повышенная чувствительность к любому прикосанию к национальной теме. До смешного доходит. Помните, я как-то знакомил вас с Аркадием, он заходил при вас?

— Это такой типичный школьный учитель? — Рубин плохо помнил виденного мельком худого подвижного человека лет сорока. Смутное осталось впечатление живости, душевной чистоты и ординарности.

— Он действительно преподает в школе историю. — Фальк снял шляпу и пригладил на лысине три невиди-

мых седых волоска. — Это настоящий, подлинный герой, о нем когда-нибудь будут писать книги, будут разыскивать его знакомых, гадать об авторстве анонимных материалов, спорить даже о самом его существовании.

Рубин удивленно вздернул брови.

— Только не для огласки, — предупредил Фальк улыбочиво. — Аркадий опубликовал на западе бездну материалов по современной истории, добывая их в архивах или, как вы сейчас, разыскивая разных стариков. Он живет на свою нищенскую школьную зарплату и все время тратит на архивы и поиски очевидцев. У Герцена были такие анонимные корреспонденты. Но разве сравнишь наши времена по степени опасности? Он уже много лет ходит по краю. Но проживает зато свою личную, настоящую и уникальную жизнь. Это же счастье, согласитесь, работать на российскую память и российскую совесть. Что-то я сложно стал выражаться. Так вот, представьте, он почти все время, очень часто, во всяком случае, угрызается мыслью, что опять в российском сопротивлении много евреев, что и без того они слишком вмешивались в этом веке в русскую историю, и Россия не нуждается в таком совестном движении, коли этим сами русские так мало занимаются. Мне показалось, что и вас эта смешная фальшивка чем-то задела. Я ошибся? Очень рад. Желаю здравствовать.

И Фальк исчез. А Рубин снова сел за стол, пора было описывать церковный приход. Об этом времени родные помнили мало.

* * *

Место отыскалось очень быстро. В селе Косынь, сравнительно недалеко от Оптиной пустыни. Церковь там стояла пустая, священник смылся куда-то. Старец Нектарий благословил Николая Бруни ехать туда служить. Через небольшое время Бруни сменит приход, а пока что они всей семьей в селе Косынь.

Конечно, время для служения Богу выбрал Николай Бруни удачно: по всей стране непрерывно арестовывали священников. Одни попадали в ссылки (чтоб чуть позже в лагерь попасть), другие — прямо в лагерь, многие исчезали навсегда. Шло широко известное ныне изъятие церковных ценностей — якобы для помощи голодающим Поволжья. А на самом деле (тщательно выписывал Рубин цитату из письма Ленина членам Политбюро, хоть и знал, что она уже воспроизведена множе-

ство раз) — «Без этого фонда никакая государственная работа, никакое хозяйственное строительство... совершенно немислимо».

Подумал, и из самого начала письма (февралем 22-го года оно датировалось) выписал тоже — очень емко, точно и открыто (для соратников!) изъяснялся устроитель самого гуманного и справедливого государства: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и потому должны) произвести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления».

Замечательно звучала эта логика: можем и поэтому должны. Должны, потому что можем. Не в этой ли логике был истинный мотив и настоящая пружина всех событий, вскоре кровью заливших страну? Ибо уже вполне были в силах, вполне могли, а следовательно — должны были уничтожить миллионы, чтобы на костях рабов возвести индустриальную империю. Так что была чистейшая истина в позже возникшей фразе, что Сталин — это Ленин сегодня.

Тут Рубин спохватился и опасно подумал, что не след ему пускаться в рассуждения о главном святом этой когорты мечтательных убийц, но свое малодушие подавил и перешел к отрывку, ради которого затеял всю выписку:

«Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Когда-то всплыл этот кошмарный документ, вскоре был объявлен апокрифом (хотя с другими бумагами того же автора рифмовался, как «розы» и «морозы»); главное же было подтверждение его подлинности — в повальных арестах и расстрелах тех лет по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей.

А попутно шло и осквернение. Широко стали известны горькие и гневные слова одного петроградского церковного иерарха, обращенные к прихожанам, когда молча наблюдали они, столпившись, изъятие в Александро-Невской Лавре мощей святого князя Александра Невского: «Своими руками, своими руками отдаете вы святыню ваших предков. И на вас падет ответ за поругание святыни». Шепотом передавались эти слова среди сочувствующих, дрожащих и безгласных.

... А попутно — всенародное улюлюканье, шельмование и свист. И сотнями находились безвестные слесари и шахтеры, грузчики и пекари, военные и служащие контор, кто восторженно откликнулся на митингах и через газеты на этот массовый уникальный разбой, требуя усугубления его, умножения арестов и расстрелов, изведения духовенства под корень.

Что же стряслось с народом-богоносцем, на который так благостно уповали славянофилы, которому поклонялись и виновато мечтали послужить несколько поколений интеллигенции? Ничего, по всей видимости, не стряслось. Был он, по всей видимости, таков. И уже задним числом сокрушенно признались в этом высоколобые мыслители-народолюбцы. Но не Рубину было это обсуждать, да он и не собирался.

А милосердие к несчастным и гонимым? Сострадание к терпящим за свою веру? Простое человеческое сочувствие? Не было, как не бывало. Глумление, издевательства, травля. Молодежные карнавалы на Пасху и Рождество с торжественным сожжением чучел попов и монахов...

Справедлива была все-таки отчасти та идиотская кампания в конце сороковых годов за российский во всем на свете приоритет. Он и вправду отчасти был. И в науке, и в искусстве, и в технике (только давили на ранней стадии или равнодушием душили), а уж ночные карнавалы фашизма — явная и несомненная копия (на немецкий упорядоченный лад) губительного российского загула послереволюционных лет.

А газеты пестрели объявлениями об арестах и расстрелах священнослужителей, угрозами и грязью дышали статьи о церкви. Надругательством и зловещими посулами насыщен был сам воздух существования духовных пастырей. Словно взбесилась разом их паства. Обезумела и мстила им за долгое послушание и веру. Так что кровавые игры пресловутых тридцатых зря так удивляли потом историков: репетиции прошли намного раньше.

Рубину вспомнилась байка, читанная в чьих-то мемуарах, к месту она здесь приходилась, точно к месту, оттого и становясь по сути притчей. В начале двадцатых это было, и неважно, где именно и с кем. На задворках одного большого дома обитатели его, мальчишки лет пятнадцати, заспорили о существовании Бога. Началось с признания одного из них, что родители водят его в

церковь. И тогда автор воспоминаний решился на крайний вызов и эксперимент: расстегнул штаны, аккуратной струйкой вывел на земле слово «Бог», после чего спустил штаны и наложил туда же кучу. Компания спорщиков восхищенно и испуганно молчала. А он поднялся, бледный и взъерошенный, и стоял, ожидая молнии с неба или иного немедленного возмездия. В сущности, так же поступали в те годы миллионы. Возмездия не было.

Но оно последовало! И поразило всю страну. Только догадались все об этом — много позже.

И опять в подробности тех лет Рубин счел себя не вправе вдаваться. Да ему важней и интересней было здесь другое, частное: чувства человека, сознательно и добровольно пошедшего в это время в священники.

Простое объяснение — что дал обет и, не колеблясь, исполнял его — этот простой резон никак не мог убедить Рубина, человека современного. Хотя именно это объяснение и было исчерпывающим. Верующий дал обет. Мужчина дал слово. Что же может помешать остаться честным человеком? Неужели неблагоприятные внешние обстоятельства? Николай Бруни скорее всего даже не задумывался над этим.

Он совсем о другом размышлял. Пастырем ему быть не хотелось. Не был он рожден пастырем. Он художником был рожден. Для слова, музыки и кисти. Потому проявленное им малодушие (а оно возникало) — вовсе не к опасностям тех лет относилось, а к сроку служения. И у старца Нектария он осмелился спросить, всю ли жизнь теперь он должен оставаться священником, и отец Нектарий вполне понял его вопрос. И ответил странно и усмешливо:

— Что вы, милый человек, что вы, батюшка, вам никак всю жизнь не выдержать. Знамение вам будет вполне мирское. Прямо из-под вас место службы уберут. Я свое служение тоже оставляю в те же сроки. Так что потерпите и смиритесь.

Бруни ничего не понял, но не переспрашивал. А вскоре пошли будни, захватившие его целиком — и службой, и становлением хозяйства.

С хозяйством все отлично складывалось по тогдашним голодным меркам. Через небольшое время появилась у них корова Поэма, вскоре завелась огромная свинья Венера, а еще через год, одолжив часть денег у старца Нектария, купили лошадь для разъездов. С удовольствием все образовалось благодаря забавному об-

стоятельству, сначала озадачившему их. Прихожане вдруг перестали платить деньги за крещение, отпевание, венчание, а вместо этого повезли нехитрую, но питательную сельскую снедь. Просто с самого начала новый чудаковатый священник не настаивал и даже не кривился, если прихожанин говорил, что нету денег, — безотказно совершал он все обряды без оплаты. Прослышав о таком простачке, хлынули к нему крестьяне из окрестных приходов. К неудовольствию, разумеется, соседних пастырей. И без того был отец Николай белой вороной среди местного сельского духовенства, а тут еще такую глупость допустил, с точки зрения коллег — вероломную. А продуктами крестьяне платили с радостью — так им казалось подешевле. Обе стороны полагали, что очень сильно выгадывают. Так что семья кормилась хорошо, даже родным в Москве удавалось помогать, этого с Николаем Бруни больше никогда не случалось.

А пастырем он вряд ли был хорошим. Ибо и призвания не ощущал, и на крутое слово невоздержан со времен войны, и вообще кротостью нрава не отличался. Много лет спустя вспоминала его старшая дочь, как нещадно бранил он прихожан за полное отсутствие христианского духа, за готовность обмануть, словчить, схитрить, увернуться, подвести, оговорить знакомого по зависти или по вражде, а также за стяжательство слепое и часто неразумное, за множество иных способов согрешить, за упрямое несогласие свой грех осознать, чтоб искренне покаяться.

Так запомнилась всей их семье солдатка, никак не признававшая за грех сожителство с собственным свекром, отцом мужа, где-то служившего в те годы. Какой же это грех, батюшка, бормотала она упрямо, я ведь не на улицу несу, я в своей фамилии сплю, неужели права не имею?

Христианская паства Бруни обращалась охотно к колдунам и колдуньям — в изобилии повсюду были они в те годы, занимаясь приворотной и отворотной ворожбой, заговором леча любые болезни — равно и людей, и скотины. Прихожане зажигали в церкви свечку у иконы святого — тезки или покровителя своего врага, а потом свечку переворачивали — это сулило неприятности, болезнь, смерть, и никак не удавалось отцу Бруни втолковать пастве, что это не христианский поступок.

Молодежь пела охальные частушки о попах и их замашках, специально шляясь под его окнами. Но это

скоро прекратилось, ибо заметили, что чудаковатый поп частушками нескрываемо наслаждается: выходит, слушает их внимательно, изредка даже записывает какие-то. Пение от этого иссякло, не было куража дразниться.

Потекла будничная рутина временного благополучия. Совсем рядом совершался, продолжался, разворачивался государственный разбой: закрыли Оптину пустынь, разогнали монахов и монахинь. В отдаленной деревне поселился на окраине старец Нектарий, к нему тайно продолжалось паломничество, но он часто болел и в невнятных речах его лишь одно было ясно: времена приближаются еще более страшные. Непрестанно приходили сообщения об арестах иерархов православия: исчезали епископы, архиепископы и митрополиты, наверху шла какая-то невнятная грызня, однако волны этой стихии до сельского прихода не докатывались. Власть прибирала к рукам верхушку церкви, ища ломких и сговорчивых. Стойкие и неудобные пастыри наводнили лагеря. Власть настаивала на легализации, то есть полном подчинении церкви государству с регистрацией — словно чиновников — всех ее служителей от мала до велика. Власть гневалась, что это пока плохо получалось. Кому-то старец Нектарий сказал, что будут вообще закрыты все российские церкви и богослужение российское иссякнет. Отец Бруни, услышав это, поймал себя на кощунственной мимолетной радости: страшная была тоска по городу, по друзьям, по какой-то иной жизни.

Приходилось и в дела совсем не свои ввязываться священнику Бруни: вся деревня, например, наотрез отказалась от прививки оспы. Кто-то пустил слух, что это ставится печать Антихриста, после прививки на руке останется навсегда изображение серпа и молота. Проницательному исследователю, меланхолически подумал Рубин, записывая эту деталь, много даст она для понимания деревни той поры. Какое-то воспоминание смутно возникло и крутилось, не всплывая, что-то важное для описания того, как неуютно чувствовал себя Бруни в эти годы. Дочь его рассказывала что-то из своего детства, Рубин машинально записывал. Каждой весной служили обязательный молебен перед выгоном скота в поле. Шествовал крестьянский ход. Впереди непременно шла женщина на последних днях беременности. Шла она с полотенцем и хлебом. Следом шли священник, причт, церковный хор и прихожане. Обходили с молитвами все пастбищные луга. В закутах для скота тоже

читалась молитва, непременно висел там образ Ильи Чудотворца или Георгия Победоносца (зимой скот держали по избам, так что надо было снова освятить стойла, загоны и закуты). За эту требу полагалась почему-то строго определенная плата: резаные цыплята — это дочь помнила хорошо. А живыми нельзя было платить, так что цыплятам наскоро рубили головы и свежеекровавленных приносили священнику на крыльцо.

Вспомнил!

— Извините, я выйду покурю, — сказал Рубин. Ему хотелось на минуту отвлечься, чтобы проверить правдивость своего ощущения.

Год назад они с женой ездили снимать комнату для приятеля, не сумевшего прописаться в Москве, — еще висела над ним судимость после недавнего лагерного срока. Надо было прописаться формально у какой-нибудь старушки вне пределов Московской области. Выбрали они Киевскую дорогу, сошли на случайной станции, во втором или третьем доме старушка согласилась прописать. Цену в этих краях знали: не было вокруг Московской области ни одной деревни, наверно, где десяток или больше бывших лагерников не были так же фиктивно прописаны, живя на самом деле кто где. Пятнадцать рублей в месяц это стоило, к бабкиной мизерной пенсии — существенная добавка. Впрочем, она и бабкой-то не была: лет шестидесяти — просто умученная жизнью, как и все ее ровесницы в округе. А жила неплохо, чисто, телевизор у нее был и холодильник, двух поросят она воспитывала (очень тогда насмешил Рубина этот глагол), жизнью была довольна. Спросила, естественно, не пьет ли приятель. Не пьет, успокоил Рубин, да он ведь и жить не будет, вперед заплатит и уедет. Знаю, знаю, закивала старуха, были у меня такие, числились, вполне самостоятельные люди. И за что их только начальство невзлюбило? Так завязался разговор, стремительно перешедший на бабкину личную кручину — вот о ней и вспомнил Рубин. Где-то тут же в деревне был у нее сын, много лет безотрывно привязанный к какой-то гулящей бабе с тремя детьми («все от разных мужиков, — пояснила собеседница, — от кого ножка, от кого ручка, от кого жопка»). Он бы и рад ее бросить, но она его колдовством к себе привязывает: каждый месяц каплет ему тайно то в чай, то в портвейн, то в суп, и он никак уйти не может. Ира сразу поняла и участливо стала бабку спрашивать, нельзя ли в другие

дни ему как раз и сбежать. Нет, отвечала бабка горестно, она держит в холодильнике до его прихода, а он придет — и она капает, стерва. Только тут Рубин понял, что загадочное приворотное зелье — это несколько капель менструальной крови, и стало ему в этой чисто прибранной уютной избе — муторно и душно. Что-то показывал о новой буровой технике телевизор с выключенным звуком — а ведь мог и нечто о космических полетах показывать, и о вычислительных машинах или об успехах медицины. Только это, выходит, были внешние какие-то круги, технический прогресс, не более того, и здесь у бабки даже видеотелефон мог стоять или компьютер для расчета поросенку корма — а она душой и разумом спокойно пребывала в полной вере в снадобья и волшебство. Как и ее сын, техник-электрик. И до того неприятно стало и жутковато горожанину Рубину, что он поторопился уйти, сказав, что приятель скоро придет.

Что-то похожее непременно должен был ощущать и петербуржец Николай Бруни. Что он раньше знал о русском народе? То же, что и вся интеллигенция российская, потому ведь плела она об этом народе ту ахиною, которую плела.

Остановись, подумал Рубин. Опомнись. Ты, на это права не имеешь, ибо ничего не знаешь сам. А то, что думаешь, и говорить не стоит, и неправда это. Верней, только частичная правда. Много без тебя уже сказано, свысока и издали обсуждать народ ты имеешь право только свой.

Рубин, впрочем, вовсе не собирался описывать неприкаянность своего героя в народной стихии. Его больше интересовал тот запутанный душевный клубок, что бывает у каждого и, разумеется, имелся у Николая Бруни, человека страстей неистовых. В музыке, говорят, они прорывались. В стихах — менее. Но были.

Свою жену священник Бруни любил. Однако в жизни его внезапно возникла другая женщина. Давняя приятельница еще по юности в Петербурге, вдруг появилась она в Москве, оглушенная и растерявшаяся во вздыбленном и опрокинутом времени. И прилепилась незаметно к их семье. Когда они собрались в Оптину пустынь, Вера попросилась с ними — домработницей, кухаркой, нянькой, только чтоб не оставили и взяли. Они поехали все вместе, и ни Анна Александровна — жена, ни Анна Александровна — мать, ждавшая их в

Оптиной пустыни, ровно ничего не замечали. После заметила мать, но призналась в этом много позднее. А отец Нектарий странно сказал однажды фразу, но ее никто не понял тогда: что, дескать, в тяжкие времена жить лучше тесной своей семьей, и никого чужих не стоит в дом пускать надолго — но и это только задним числом все вспомнили и осознали. Вера была ровесницей Анны, получила гимназическое образование, была неглуха, доброжелательна и флегматична. Сильных страстей в ней никто не подозревал, петербургские претензии и шарм она давно утратила, вовсе не была обузой в доме эта тихая молодая женщина, ненавязчиво существовавшая рядом. Привычная, немногословная, уютная и ничуть не претендующая на роль члена семьи или хотя бы близкого человека. Всюду для нее находилась уголка, она им вполне довольствовалась и всю домашнюю работу безропотно и навсегда приняла на себя, постепенно и в облик соответствующий войдя, так что Анна позабыла даже о прежнем приятельстве на равных. Будничный быт был по-крестьянски тяжелым, и опять это все на Веру легло, ибо Анна больше детьми была занята, мужем и посещением церкви.

Когда вдруг обнаружилось, что Вера беременна, за нее обрадовались все, кто ее знал. Соседки намекали на пастуха — был он молод, явно раньше учился где-то и в этих краях просто скрывался, как полагали. Время всеобщего доносительства еще не наступило, так что пастух исчез позже.

Анна собиралась с Верой поговорить, успокоить ее, сказать, что пусть рождает и не волнуется, ребенок будет своим в их семье. Заодно и об отце хотела узнать из естественного женского любопытства, а насчет проблем бытовых, неминуемо при этом возникавших, — решила посоветоваться с мужем.

Ей не надо больше здесь оставаться, глухо сказал муж. Это ребенок от меня. Если сможешь, прости меня, если хоть слово скажешь — послушаюсь и наложу на себя руки. Плевать, что смертный грех, я его заслужил. Я Веру не люблю и не любил, тут можешь мне поверить, так получилось.

Анна не шелохнулась, не зарыдала, даже глупо улыбнулась от неожиданности. И молчала. Николай Бруни объяснил (тогда и вспомнили они слова Нектария — под конец разговора вспомнили, это их странно сблизило, словно оба одну ошибку вместе совершили,

отчего и отвечаю равно). Вера много лет, оказывается, тайно любила Николая Бруни — здесь он стал догадываться об этом, но вникать не хотел или боялся. А потом была случайная ночь; он курил на крыльце, уже все в доме спали, когда Вера вышла и села рядом. Ровно и спокойно заговорила она, глядя прямо перед собой, что она его любит давным-давно, что счастлива просто быть неподалеку, и что ей лишь одного на свете хочется в этой жизни: иметь ребенка от него, что с этой тайной целью она и ездит за ними, никому не нужная, хуже собаки, но просить не смеет и об этом. Что-то еще несвязное бормотнула, и прорвавшиеся рыдания — почти беззвучные, только чувствовалось, как сотрясается рядом ее тело — заставили Бруни протянуть руку, чтобы успокоить ее. Как все дальнейшее произошло, он уже не помнил. Чуть итальянец все-таки, криво усмехнулся он. Нет, он врать не собирается, больше месяца длилась эта тайная связь, пока он не нашел в себе силы ее порвать. Вера не настаивала и не плакала. Я получила уже все, что хотела, просто сказала она, и я о большем не мечтаю. Так что Николай Бруни о беременности знал, но попросить ее уехать — не решался.

Вот, собственно, и все, что помнили дочери. Много позже рассказала им это мать, строго-настрого приказав ни в чем отца не винить. Я его целиком понимаю, девочки, сказала она, а вы поймете, когда вырастаете.

Вера уехала в Москву и родила там сына, названного Николаем; посылались ему детские вещи, а в тридцатые годы — деньги передавались, с семьей Бруни она больше не виделась, а бывал ли там когда-нибудь отец, дочери уже не знали. Только помнили, что в тридцать пятом туда отдали рояль отца — именно тогда мать объяснила, что у них есть брат. Позже кто-то рассказывал, что Вера с сыном в настолько крохотной комнате жила, что сыну на рояле стелила, а сама спала на полу, но с инструментом расстаться не хотела — мальчик рос незаурядным музыкантом. После они в Риге оказались, кто-то говорил однажды, что Николай стал скрипачом. А потом насовсем прервалась связь, и где еще один сын Николая Бруни, теперь уже никто не знал.

Рубин решил на этом больше не останавливаться. Но от лет служения сохранились стихи, а на них не жаль было ни времени читательского, ни бумаги.

Стихи, посвященные Флоренскому, Ахматовой, Ходасевичу, — были явным и несомненным продолже-

нием неоконченных разговоров, дневниковыми записями, репликами после встреч. В них не столько настроение или мысли просматривались и читались, как чувство близкого недавнего общения. Вот, к примеру стихи, обращенные к отцу Павлу Флоренскому. Виделись они нечасто, но очень дружили. Позже, массовую участь разделив, Флоренский исчез. Еще наверняка появится много книг об этом сверхталантливом мыслителе и инженере. А вот стихи его друга Бруни:

Вы печалью меня напоили!
Сердце стонет или поет...
Чем, скажите, вы отравили
Чай душистый, варенье и мед?
Думаю, не от того ли
Время застыло с тех пор?
Все мне видится ясно до боли
снежная скатерть, ковер.
Все я щурюсь от лампы висячей,
Или ваш это пристальный взгляд?
Все томлюсь нерешенной задачей —
Не смертелен ли выпитый яд?

О чем они разговаривали, можно было только гадать, очень широк был спектр возможных тем. Только не Флоренский ли сказал некогда Бруни, что тот должен писать прозу? Потому что если может, то должен. Больно уникальное стояло время на дворе, грех не свидетельствовать о нем. Но на догадки Рубин не решился.

В Оптиной пустыни стихи пошли иные, стало всплывать недавнее былое. И писал Бруни то о нем, то о своем странном и спокойном сегодня — именно покоем оно тревожило его, — мятежными были поэтому стихи. Рубин выписал два.

Поля! Поля! Разбег, полет!
Под крыльями метель метет!
Проклятого бензина чад,
Цилиндры черные стучат.
Колотит сердце верный бой,
И стонет воздух голубой.
Рвануться вверх! Сорвать узду!
Ах, мне б разбиться о звезду!
Ах, мне бы так ворваться в рай,
Крича России: «Догорай!»
Кричать, кричать... — проклятый чад!
А крылья кренятся назад —
— Туда, где кружат города,
Где бьет бескрылая беда.

Второе было просто и прямо обращено к Творцу.

В Твою лазурь теперь я не смотрюсь
И гнева Твоего я не боюсь.
Ресницы тихо опускаю ниц
И падаю, и, падая, молюсь.
Смотрю в глаза, как в зарево зарниц,
Мое лицо я сиянья милых лиц,
К измученному сердцу моему
Летят лучи мерцающих ресниц.
Когда же эту светлую тюрьму
Захочет сокрушить Твой древний гнев, —
— Как щит навстречу грому Твоему
Ребенка я высоко подниму.

А одно очень большое стихотворение Рубин выписал из дневника целиком — датировалось оно двадцать пятым годом, и очень ясно в этих нарочито подражательных усмешливых строфах проступал характер, слышалась тоска, ясно было, что служение воспринималось как ссылка. Добровольная, во исполнение данного слова, но ссылка. Называлось оно «Послание друзьям». В книжку Рубин отобрал его начало и конец.

Размахом крыл моих орлиных
Бывало душу мерил я! —
— Ужель затем, чтоб ныне Клином
Закончить подвиг бытия?
Таков закон: разбивши крылья,
Зовем смиреньем мы бессилье!
По кротости мы все кроты!
Напившись синей высоты,
Признаюсь, рад и я спуститься
На забеленные поля —
— Надежней воздуха земля.
Так заблудившаяся птица,
Грозой застигнута врасплох,
Садится на болотный мох...
...Мне спутницей была тревога
сонат, полетов и стихов!
Но верю я, что благодать Бога
превыше множества грехов.
Господь в попы меня поставил!
Благословил я и прославил
Суровой рясы нищету —
— Как лучшую мою мечту.
Но там, под небывалым сводом,
Где время не сжигает дней,
Среди нетлеющих полей,
Поящих душу вечным медом,
где не вечерняя любовь —
Друзья! Увидимся ли вновь?

Священник Бруни еще не ведал тогда, как неуклонно приближалось время окончания обета.

В начале лета двадцать седьмого года смутные и

тревожные слухи сменились полной определенностью: многожды обезглавленная, измощанная преследованиями, разложенная сварами, корыстью и страхом русская церковь сдалась на милость победителя. Собравшаяся сессия Синода выразила советской власти свою лояльность. «Ваши радости есть наши радости, ваши скорби есть наши скорби», — заявили сломленные архиереи во главе с митрополитом Сергием. Легализация церкви означала полный контроль над ней, ибо все духовные лица — от верховных иерархов до псаломщиков, даже церковные старосты, — утверждались органами власти, то есть фактически превращались в служащих, полностью зависящих от надзора.

Священника Бруни в августе вызвали в Калугу, где какой-то второстепенный порученец епископа сухо объявил собравшимся пастырям о решении Синода и распорядился растолковать с амвона новость прихожанам. Вопросов никто не задавал. Друг на друга священники старались не смотреть: каждый понимал, что означает это для русской церкви, каждый знал, чем это обернется для каждого.

На закате того дня Бруни был уже дома и курил у себя в комнате молча, не зная, на что решиться и как жить, — когда пришла заплаканная пожилая прихожанка. Умер старец Нектарий. Не умер, а отошел: тихо, без единого слова или стога. Он свое отслужил, сказала старушка сквозь слезы и причитания, и от слов этих смутная память о давнем предсказании ожила у отца Бруни. И не успела догадка перейти в понимание, как явился новый, вовсе неожиданный гость из какого-то городского начальства, Бруни знал-то его едва-едва. Человек этот давно уже, оказывается, издали симпатизировал отцу Николаю и сейчас зашел предупредить его, что церковь на днях закроют. Будет в ней устроено городское овощехранилище, ибо специальное построить не успели, а виды на урожай — хорошие. Так что пусть не отчаивается отец Бруни, где-нибудь еще найдется приход.

К необыкновенной радости, которую испытывал в тот вечер священник Бруни, примешивался острый стыд за то, что он эту радость испытывает. Кончился обет, старец Нектарий предсказал безошибочно, начиналась новая жизнь.

Через неделю попадья Анна Александровна перешивала ему рясу на галифе. Другой одежды у него не

было. Через две недели они тронулись в путь. Детей уже было четверо.

В государстве, которым управлять могла бы каждая кухарка, как мечтал и обещал его создатель, неуклонно и стремительно забирал власть повар, готовящий острые блюда.

Поселились они сперва под Москвой. Два года длились мытарства с поисками работы, редкие случайные заработки, посылная помощь родственников, сплошная зияющая нехватка самого необходимого. Два лета Бруни зарабатывал пропитание делом, коего не стеснялся, но которым и не хвастался никому. Вырезав в мешке отверстия для рук и головы, он надевал эту хламиду и чистил дачные сортиры, вывозя их содержимое тачкой на хозяйские огороды. Платили за это хорошо. Поэт и музыкант, священник Бруни работой золотаря не гнушался, а вот местные гегемоны — гнушались, так что конкуренции не было. Осенью клал он печи в домах — и этим ремеслом овладел в совершенстве. Делал для художников какие-то необычные мольберты, раскупавшиеся очень бойко, раскрашивал деревянные игрушки. Никакой работой не брезговал и ее случайностью не тяготился, было отчего-то ощущение, что вот-вот судьба улыбнется. Ели, в основном, кашу из толокна и картошку. Толокном была завалена вся Москва, этикетка на каждой пачке была загадочная и красивая: Сид. Означало это — Сокольнический исправительный дом, так что Бруни еще на воле ел еду тюремного изготовления. На этикетке была надпись, что изготовлено толокно — из отборного овса. Это было правдой: овес действительно отбирали. Лучший сорт пускали на геркулес, а отсевки — на дешевое толокно.

Было чувство вины перед семьей за бедность и неустроенность, было знакомое ощущение чужеродности своей и неприкаянности в новой жизни. Сохранилось горькое стихотворение лета двадцать восьмого года, посвященное жене — очевидно, после какой-то размолвки.

Дорогая, прости мне, прости!
Я срываюсь в нечаянной злобе,
Кто не станет ругаться в пути,
Где не вспятить из ямы оглобель?
Не кляню я злую судьбу,
Лишь сгораю в лихой лихорадке,
От того залегают на лбу
Как железом прожженные складки.
Эта жизнь мне пришлось не с руки,

Штурмовал я картонные замки,
Проиграл я себя в поддавки,
Торопясь в никчомушные дамки.
Близок час — застучат молотком,
Загрохочет под сводами эхо
И придавит меня потолком
Скорлупа гробового ореха.
О, подруга моей души!
В этот час мы покончим с игрою:
На могиле моей напиши —
«Другу сердца»... Но не герою.

Судьба улыбнулась в самом конце года: лицом к лицу столкнулся Бруни на улице с давним приятелем по летной части. Тот был очень рад, участливо расспрашивал, вспоминал смешное, сочувственно вглядывался. Бруни бормотал что-то конфузливое — что тридцать семь лет, что самый срок, о ровесниках Пушкине, Хлебникове и Рафаэле помянул, о себе что-то рассказывал, на быт не жаловался... Приятель все понял сам. В январе двадцать девятого года Николай Бруни уже работал переводчиком в научно-испытательном Институте военно-воздушных сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Жадно и упоенно работал. Ни один из языков, оказывается, не был забыт. Содержание статей в иностранной авиационной периодике волновало живо и остро — снова с радостью окунулся он в стихию летного дела. Дочери очень хорошо помнили эти годы: отец привозил кипу журналов в ярких глянцевитых обложках и ежедневно сидел над ними до полуночи.

В доме не возник полный недостаток, но стало ощутимо спокойней; отец чаще шутил, больше смеялся, начал приезжать гости, их уже было чем принять.

Счастье это длилось ровно год. В январе тридцатого человек, дававший ему заказы на переводы, сказал, что больше не может. В силу разных причин, добавил он, глядя в сторону. Бруни не расспрашивал о причинах.

Только и уйти никак не мог, переминался с ноги на ногу, и человек, все так же глядя в сторону, сказал, что Бруни уже ждут на точно такую же работу в Центральном аэрогидродинамическом институте, в знаменитом ЦАГИ. Бруни ошеломленно и недоверчиво поблагодарил, человек посмотрел ему в глаза, прощаясь, и вдруг еле заметно подмигнул.

Там его действительно ждали, ибо нужен был позарез не просто толковый переводчик (да еще с нескольких языков), но и сведущий в летном деле, — речь шла

о журналах более сложных. Оттого и решились они рискнуть, взяв на службу человека социально чуждого.

Смелости им хватило на полгода. Или кто-то распорядился, посмотрев на Бруни поближе.

И опять, однако, он в июле тридцатого уже работал в Институте гражданской авиации. Там он прослужил два года и впервые, очень робко сперва и неуверенно, высказал свои соображения по поводу очередных переведенных статей. Это были мысли не переводчика, а инженера-конструктора, и естественно, что выслушали их с иронией и недоверием. Ибо ведь образование у Бруни — музыкальное, как мог он смыслить в сути самолетного дела?

Оказалось, что мог. Летом тридцать второго года Николай Бруни перешел в Московский авиационный институт в качестве старшего инженера самолетной лаборатории. Художественное чутье, музыкальное чувство гармонии, незаурядный опыт бывалого летчика — все сплелось воедино в его начавшейся конструкторской работе. Возникали новые идеи, и уже в тридцать третьем в подчинении у инженера Бруни появилась группа молодых сотрудников. Репутация его была такова, что ему с семьей даже дали две комнаты в служебном доме неподалеку от института — редкостное и высокое поощрение социально чуждого специалиста, ни единого не сделавшего шага, чтобы войти в доверие начальству.

И Бруни снова сидел за полночь. Только уже не с чертежами и расчетами. В тридцать втором летом начал он писать роман. К моменту ареста в декабре тридцать четвертого года он закончил его или почти закончил. Помнила о нем что-то смутное только старшая дочь. Он задумал его, сидя как-то летом с приятелем возле развалин Храма Христа-Спасителя. Они гуляли вечером по Москве (с кем — дочь не запомнила), присели покурить на каменных обломках. Вспомнили, естественно, что тут похоронены фрески ближайших предков Бруни, закурили по второй и, не сговариваясь, заговорили о наболевшем. Странно это все, сказал один из них: разрушают великолепные сооружения, чтобы строить другие, только обещающие стать такими же, что выйдет вряд ли. Грабят, отнимают и насилюют — чтобы восторжествовала справедливость. Казнят, чтобы навек искоренить убийство. Принуждают, чтобы труд в дальнейшем стал радостью.

А как неслучайно изменился словарь ежедневной жизни, сколько новых зловещих слов стало ежедневно витать в воздухе! Выявить, чистка, вскрыть, разоблачить, обезвредить — от перечня этого на душе становится зябко, вы не чувствуете? А магия грандиозности! Она ведь тоже отчетливо слышна в языке. Величественный, колоссальный, гигантский, титанический, чудовищный. А несслыханный, небывалый, величайший — чем хуже? А борьба, борьба какая? Бешеная, беспощадная, смертельная, каленым железом...

Собеседники говорили, перебивая друг друга, и неважно уже было, кто что сказал, ибо одно и то же они выкладывали друг другу, описывая новый словесный, новый психологический, новый событийный климат в их любимой обезумевшей стране.

А логика, логику вы слышите? Борьба есть борьба, революция есть революция, приказ есть приказ, единство есть единство...

Вот последнее их очень занимает и беспокоит. Обратите внимание, сколько к нему однозначных эпитетов появилось: монолитное, стальное, железное... черт побери, больше ничего не могу вспомнить, но точно чувствую, что есть еще; какие глаголы к этому единству: сколотить, сцементировать, сплотить, спаять. И ведь это все с замахом на мировой масштаб, в вихрях очистительного пламени. До основанья, а затем. У вас от этого набора слов не возник образ гигантского дебила, который все способен своротить, сломать и порушить, а о смысле своего деяния просто пока не думает?

Не знаю, право, мне больше по душе блоковское из «Двенадцати» — помните? «В зубах — сигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз». Весь этот патруль, больше похожий на банду, — гениально описан. Им все равно, в кого стрелять: в недорезанного буржуй или в избяную Русь. В январе восемнадцатого они, как вы помните, убили только потаскушку Катюку, а пылче уже справились и с буржуем, и с крестьянином — с равной злобой и решительностью, заметьте. А Христа преследуют по-прежнему, только Блок писал о его неуязвимости, тут само время внесло поправку.

Вы неправы. Вы обратили внимание, что эти двенадцать шли под красным флагом, и вдруг флаг оказывается у того призрака, в который они стреляют? Так что не дух христианства они преследуют, но свое душевное вчерашнее, так что здесь кошмарное намечается

предвидение. А пес, пес, который только что терся у ног буржуя на перекрестке, теперь, виляя хвостом, пошел за ними? Почувствовал хозяев жизни. А как их ощутили все охвостье и все подонки, увязавшиеся вслед! Удивительная поэма, правда? Не зря после нее он онемел.

Да, но все увиденное тогда Блоком — нынче как-то странно и страшно развивается. Даже боязно пытаться в будущее заглядывать. А впрочем, поживем — увидим.

Если поживем, сказал один из собеседников. Мы ведь, похоже, выпали из естественного течения истории. Мы свидетели уникального извращения человеческой сути и жизни человеческой. Об этом надо писать.

А где печатать? — усмехнулся собеседник. Какая разница, сказал Бруни, мы должны свидетельствовать, это неважно, что записи не сразу увидят свет. Уверен я, что непременно надо именно об этом — о вывернутости наизнанку всех былых понятий. И Бруни заторопился домой. Вы спешите писать? — усмешливо спросил собеседник. Да! — ответил Бруни. И с благодарной радостью долго помнил ту минуту решимости и отваги.

Где он теперь, неизвестный этот роман? Сожжен? Растащен по листку? Истлел? Или валялся где-то в кладовых Лубянки, где наверняка хранились (если не были уничтожены в войну) многие другие рукописные свидетельства века, отобранные при арестах и исчезнувшие вместе с авторами. Что-нибудь отыщется наверняка, подумал Рубин с таким живым чувством, словно и ему еще доведется их прочесть. Нет, подумал он, не доведется. Внукам разве. Но теперь уместнее подумать, чем Николай Бруни дышал все эти годы.

Ибо тому, кто не был энтузиастом (в разное время и в местах разных впоследствии и энтузиасты прозрели), было нелегко дышать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Уже несколько дней Рубина точило острое, внезапное и неведь откуда возникшее ощущение, что он давно слышал где-то фамилию Бруни. Но где, когда и от кого — никак не мог вспомнить. Сегодня днем ощущение это стало нестерпимо навязчивым, и Рубин бегал по своей комнатушке, перебирая все, что помнил, — по времени, по ситуации, по людям. Словно в детскую иг-

ру-отгадку играл: холодно, холодно, теплее, горячо. Но «горячо» не выходило. Где-то на кончике языка, на краю памяти висела вскользь оброненная — нет, не вскользь! — фамилия Бруни. Произносившаяся, кстати, с похвалой и удивлением — но перед чем? Чему тогда мог изумляться забытый собеседник? Уму? Способностям? Легкомыслию? Да-да, теплее, что-то вроде этого. А ведь вот еще слова какие были: «забытая в наше время категория». О, Господи! Просто не тех перебирал. Потому что слышал не в Москве.

В дверь просунулась голова жены. Рубин восторженно и обалдело сообщил ей:

— Вспомнил, Иришка, вспомнил!

Ирина вошла и зачем-то притворила за собой дверь.

— Илья, — сказала она, — уже вся наша семья знает, что ты вспомнил. У тебя двое детей, милый. Они подростки.

Рубин тупо смотрел на нее, не понимая, о чем речь. Улыбка еще не полностью сползла с его лица, и Ирина тоже улыбнулась.

— Они, конечно, знают твои любимые слова, — сказала она. — С раннего розового детства знают. Но все-таки нехорошо, когда из комнаты отца доносится такой забавный возглас: кретин, идиот, мудака сраный.

— Я это говорил про себя, — оторопело возразил Рубин.

— Про себя, но вслух, — возразила жена Ирина.

— Я имею в виду — тихо, — оправдывался Рубин.

— Чего не было, того не было, — жена обняла его и поцеловала в ухо. — А что ты вспомнил?

— Про Юренева, — объяснил Рубин. — Уже неделю не мог сообразить, кто мне когда-то говорил о Бруни.

— Видишь, а от своих стариков зеков хочешь, чтобы они помнили через пятьдесят лет. Сам-то через сколько забыл? В семьдесят втором ты ездил, правда же?

— Правда же, — сказал Рубин. — Поищу сейчас в тех блокнотах. Это Юренев говорил. Точно.

— Удачи тебе, — Ирина засмеялась. — Шерлока Холмса нужно, чтоб найти что-нибудь в куче твоих старых блокнотов. Или хотя бы доктора Ватсона.

— Неправда, я педант и аккуратист, — буркнул Рубин. Он уже вывалил на пол из боковой тумбы письменного стола десятка три своих записных книжек. Речь шла об очень давней поездке по республикам Средней Азии. Редкостная тогда удача привалила:

командировку сразу в пять столиц дала ему «Литературная газета», чтобы дать начальствующим ученым заведомо пресную и пустую анкету с дежурными вопросами о науке. Рубин приготовил заранее пять различных вариантов бодрых ответов бодрых советских ученых на вопросы бодрой прессы, отчего задание выполнил очень быстро. Он экономил время, чтобы смотаться в Бухару и Самарканд.

Перебирая сейчас блокноты, с удовольствием вспоминал он первые же приятности той замечательной командировки. Утром прилетев в Алма-Ату, он обнаружил, что декабрь и в Средней Азии декабрь, холодный ветер быстро прогнал его с городских улиц, где хотел он пошататься, дожидаясь присутственных часов у начальников казахской науки. Он зашел тогда в редакцию местной газеты, чтобы погреться и выяснить заодно, к кому стоило бы обратиться с анкетой. Чтоб непременно был казах, чтобы заметный деятель науки, а еще чтобы действительно ученый, ибо слишком часто это все не совпадало. И, по возможности, не подонок, как просили его в Москве.

В отделе информации сидел мятый и угрюмый немолодой казах, с ленивой задумчивостью перебирая бумаги. Коллеге из Москвы он не обрадовался и не удивился. Хмуро и тускло назвал он Рубину несколько фамилий, равнодушно одобрил выбор одной из них, а на вопрос Рубина, доверительным тоном заданный, — дескать, настоящий это ученый или просто деятель, как бывает, — сухо ответил, что не знает. Он явно тяготился визитом и к общению расположен не был.

— Ну, спасибо, — сказал Рубин, сворачивая разговор. — Благодарю, коллега. Я на минуту здесь портфель оставляю, если можно. У вас удобства налево или направо?

— Вы в туалет? — спросил казах, недопоняв.

— Ну да, — ответил Рубин отрывисто. — Налево или направо по коридору?

— Направо, — медленно протянул казах, прямо глядя на гостя, и неподвижное его лицо вдруг осветилось изнутри, заприветилось и помягчело от улыбки.

— Обратите внимание, коллега, — сказал он дружелюбно и даже чуть интимно, — у нас там есть одно французское приспособление.

Рубин вышел, недоумевая, и в конце коридора отыскал тесную, как водится, не очень светлую и не чрез-

мерно чистую клетушку. Спасибо еще, крючок имелся. И ворох газетных полос был заботливо наколот на гвоздик. А сиденье с унитаза было снято и заткнуто рядом за трубу. Ухватив торчавший задний край, Рубин кинул его на унитаз, сел — и ощутил мгновенно, что лицо его невольно озарилось тем же сладостно-умильным выражением, что возникло внезапно у казаха. Заткнутое за трубу отопления, сиденье было горячим до того как раз предела, до которого в бане раскаляется полка, если оплеснуть ее крутым кипятком. Дивно придумали казахские коллеги, подумал Рубин растроганно и закурил для полноты удовольствия. А потом вдруг громко захохотал: вот, значит, как они себе представляют французскую жизнь! Ну-ну...

Он вернулся в комнату коллеги, и они обменялись улыбками гурманов, познавших нечто особенное. И рукожатие казаха при прощании было совсем иным, чем при знакомстве, — не вялым и безразличным, а дружественным и крепким.

Блокнот нашелся на удивление быстро. Там немного совсем было о поездке, очень торопился тогда Рубин выкроить время на Бухару. Только о Киргизии было записей побольше, потому что жил во Фрунзе старый приятель, и они весь вечер пили водку у него дома, а ночью Рубин по привычке что-то записал, что хотел запомнить из разговора, но так потом и не вернулся к этим каракулям, — сейчас их невозможно было разобрать. А из одной короткой пометки незамедлительно всплыла история: киргиз-геолог, член-корреспондент их Академии наук, быстро и с одобрением подписав предложенный Рубиным вариант своих ответов на анкету, вежливо попросил Рубина изменить один пункт. Речь шла о вопросе, почему в двадцатом веке так высок интерес к науке. На вопрос этот, достаточно тривиальный, Рубин придумал несколько банальных патетических ответов (и все ученые охотно подписались под ними), но у киргиза-геолога-члена-корреспондента объявилась мысль неординарная, и он заставил Рубина ее записать.

— Если, конечно, редакция пропустит, — дипломатично сказал он. — Я считаю, что интерес к науке в двадцатом веке — это естественная, диалектически объяснимая реакция на чрезвычайно разнузданное засилье в веке девятнадцатом искусства и литературы. Например: Шекспир, Микельанджело, Дюма.

Рубин записал это, не моргнув глазом, и расстались они очень дружелюбно. Ему потом никто не верил, когда он это рассказывал, а он обижался и кипел.

Вот и страницы про Бухару. Надо покурить, расслабиться и вспоминать, чтоб ожили проклятые закорючки. Чувство чужеродности своей в азиатском городке, чувство стыда за дремучее невежество в этой культуре... Слывя среди знакомых эрудитом, ибо много читал, Рубин был на самом деле вопиюще, ужасающе необразован. Об Азии, к примеру, мог бы он произнести лишь общие какие-то слова, к истинному знанию не больше относящиеся, нежели орнамент этикетки — ко вкусу содержимого бутылки. Эмиры. Хлопок. Жестокость (янычары, ятаганы, кол). Омар Хайям. Чайханы. Гаремы. Ходжа Насреддин. Мечети. Медная посуда с орнаментом. Все. Такого интеллектуального набора не хватило бы даже для оперетты. Злой от мыслей этих и ощущения неприкаянности, пробродил он целый день среди древней, разрушенной и загаженной — не слабей, чем в России — совершенно чужой архитектуры. Да, он здесь не смог бы жить. Да, похоже, правы те, кто талдычит, что именно таким может оказаться Израиль. Узкими улочками вдоль высоких глиняных заборов ходил он, любуясь медными дверными молотками и сохранившейся деревянной резьбой. Побродил по рынку, забрел в музейчик, изображающий старинную подземную тюрьму, накупил цветных буклетов, рассчитанных на таких же малограмотных туристов, равнодушно полюбовался на красивые могильники, посидел в старинном дворике над арыком. Все было испорчено чувством пакостного, унижительного невежества; никогда он не испытывал подобного. А в Европе еще много тяжелей, чужой язык, подумал он. Какие же мы образовались темные калеки! Или просто настроение такое? Надо снова походить здесь завтра с утра.

Была еще с собой записка — дал приятель к давней своей соученице, здесь работавшей в каком-то местном научно-медицинском заведении. Она ровесницей была, но выглядела много старше. Некрасивая, добрая, провинциальная, явная и очевидная неудачница в личной жизни — из тех, кто надежнейшими друзьями бывают, а на большее и не претендуют с годами, довольствуясь хоть какой-то нужностью своей кому-то. Большое везенье таких женщин, обделенных собственной фортуной,

если находится объект опеки, заботы, привязанности или поклонения.

У этой — был. С таким значением и с таким глубоким чувством произнесла она фамилию: Юренев, что не посмел Рубин спросить, о ком, собственно, речь. Но она торопливо рассказала сама. Даже похорошела от возбуждения, излагая сведения из Брокгауза и Ефрона. Впрочем, и из жизни самого Юренева, к которому немедленно Рубина повела, с очевидностью делая гостью душевно ценный и существенный подарок.

Был Сергей Николаевич Юренев, к которому они шли, — из дворянского рода, начинавшегося некогда в Польше, а с четырнадцатого века — широко известного на русской службе. Среди них был стрелецкий сотник, прославленный защитой Соловецкого монастыря от шведов, были полководцы, вице-губернатор, деятели искусства и сенаторы.

А в двадцатых годах прихотливые водовороты российских судеб вынесли Юренева Сергея Николаевича в город Тверь. И служить он стал в музее, попадая изредка в Среднюю Азию (читал лекции по истории живописи и археологии), где чрезвычайно полюбил Бухару, после лагеря навсегда в ней поселившись.

А на лагерь он по многим своим данным был заведомо обречен: происхождением, способностями, характером. Только миловала его судьба и обходила. Вплоть до самой войны. И еще потом короткое время. В армию не успели его призвать, но окопы он копал все время, пока Тверь не оказалась под немцами. А тогда вернулся в музей. По нему хозяевами ходили германские офицеры. Курили в залах, приводили девок зачем-то, а однажды он услышал, как трое интеллигентного вида офицеров обсуждали неторопливо друг с другом, какие картины стоит взять себе. Вернее, обсуждали двое, третий настаивал на том, что лучше потерпеть до Москвы, где выбор будет несравненно интересней. Услыхав это, Юренев пошел к коменданту города. И был принят. И на отменном немецком языке объяснил, что Германию, страну великую и им вполне уважаемую, такое хамское поведение ее нерядовых представителей — сильно компрометирует. И был учтиво выслушан. И был похвален за визит. И был спрошен о своем происхождении и приглашен на службу. И был понят, когда неукоснительно твердо это лестное приглашение отверг. И беспрепятственно вернулся в свой музей. А уже на-

завтра там висели немецкие таблички «не курить», и никто ничего не трогал.

Сотрудники музея знали, кому обязаны, и не раз об этом с благодарностью вспоминали. Но когда немцы откатились из Твери, когда на третий уже день забрали Юренева в армейскую комендатуру, ни один сотрудник не осмелился туда пойти. Десять лет получил Юренив за «сотрудничество с немецкими оккупантами» и еще счастье, что расстрелян не был. Следовательно, симпатичный молодой капитан с воспаленными докрасна белками глаз (столько было срочной работы), сказал Юрениву, что в музей побывал, что ему все рассказали, по безусловно следует карать всех, кто с немцами вообще общался. Вот если б вы взорвали этот музей вместе с офицерами, это было бы по-нашему, сказал следователь. А то поперся разговаривать! За это мы караем беспощадно и не вникая, в этом полная есть военная справедливость. И рука наша настигнет любого, сказал следователь, не разбирая, кого, и об этом все должны знать, это секрет политшинели. Тут Юренив уж на что был раздавлен случившимся, однако хмыкнул и следователя поправить попытался. Но капитан от лекции на тему, что такое «секрет Полишинеля», отмахнулся с презрением и сказал, что слова эти сам лично слышал от председателя трибунала, а тот — полковник. Так что секрет — он именно секрет политшинели. И отправил Юренева в камеру, благо была в Твери тюрьма, а в ней кто только не сидел за время ее существования, — хрестоматия была, а не тюрьма, пособие по истории российской.

В лагере nepостижимо как, но выжил слабогрудый Юренив, а после поселился в Бухаре. Здесь работал сторожем, рабочим на археологических раскопках, куда больше по искусствоведческой части не поступал. Но с годами сбильное паломничество к нему возникло: необыкновенным знатоком Средней Азии, истории ее и культуры показал себя Юренив. А он тем временем нищенскую пенсию себе заработал и сейчас, хоть и является достопримечательностью города, а в новую квартиру наотрез отказывается переезжать. Хотя живет в каморке, в стене.

— Где, где? — переспросил Рубин.

— Сейчас придем, увидите, — ответила спутница и продолжила восторженный рассказ. — Муллы при встрече кланяются Юрениву первыми. И не только за

образованность и известность. Он еще слывет святым у верующих мусульман.

— А это почему? — спросил Рубин.

— Потому что девственник, — сухо пояснила спутница тоном знатока-исламоведа.

Страхота, подумал Рубин усмешливо, со святыми разговаривать тяжело. Тоже мне Вергилия Сусанина.

Они пришли. Большие ворота вели в огромный, почти квадратный двор, огороженный высокой стеной, но в стене этой в два этажа были видны двери. Словно улей сотами была усеяна стена каморками. Это был двор старинного медресе, и в конурках этих жили некогда ученики. Потом здесь было гигантское коммунальное жилье, но уже разъехалось большинство обитателей, а Юрнев упрямо оставался. Только два года или год, как тут свет провели, сказала спутница, а то все на керосинке и на примусе. Так зимой же холодно, удивился Рубин. Еще как, ответила спутница. Жаровня с углями, если рядом сидишь, то греет. Только уголь дорогой, а с электричеством полегче стало. На десять лет позже провели его сюда, чем ракету с человеком в космос запустили. А жило здесь множество семей. Несколькo сотен человек.

В каморке оказалось неожиданно просторно и уютно — тем уютом хорошо обжитого помещения, когда лишнего нету ничего, хотя видно, что живут со вкусом к жизни. Сразу слева от двери, очень странное и неожиданное здесь, стояло белое пианино. От него отгороженная маленьким стеллажом, туго набитым книгами, виднелась узкая кровать с железными спинками. Суконное одеяло не полностью закрывало жидкий тюфячок. Груду керамических обломков дивной красоты и какие-то древние посудины и подносы разглядел Рубин уже позже, ибо навстречу из-за стола поднялся, большую лупу для чтения на книгу положив, очень высокий и тощий старик с чистым сухим лицом. В ярком свете низко висевшей лампочки без абажура не видна была густая сетка морщин, вмиг объявившихся, когда он снова сел. Длинные цепкие пальцы, сильное рукопожатие, спокойный прямой взгляд больших выцветших глаз. Женщине Юрнев поцеловал руку, низко склонившись к ней.

— Про вас, Сергей Николаевич, я уже всю дорогу рассказывала, а вот Илья Аронович Рубин, мне его очень рекомендовали из Москвы друзья, — это было произнесено тоном начинающего экскурсовода.

— Польщен вниманием, — сказал Юренев улыбочиво. — По каким делам в наши края наведались?

— Я журналист, — ответил Рубин, продолжая исподволь озиаться и не совсем понимая, зачем он сюда приперся. Еще мерзкое было очень настроение.

— А, — сказал старик одобрительно. — Хорошая специальность. Древнейшая. А что освещаете?

— О науке я пишу, — сдержанно ответил Рубин.

— Обширная область, — вежливо кивнул Юренев. — На классиков только надо чаще опираться. Опираетесь?

Рубин недоуменно посмотрел на старика: он то ли улыбался гостю, то ли плотоядно щерился.

— Я имел в виду, что классиков цитировать полезно, — пояснил Юренев уже с явной издевкой. — Кашу Марксом не испортишь, как говорится.

— Калом бурите? — грубо ответил Рубин старой студенческой шуткой, чуть не задохнувшись от нахлынувшей злости. Ну и плевать, подумал он. Судья нашелся. Сморчок замшелый.

Юренев поощрительно и очень молодо захохотал.

— Правильно, — сказал он. — Молодец. Нечего всякому хрычу оскорблять гостя прямо с порога. Не сердчайте. Я соскучился по хорошему разговору. В самом деле, о чем пишете?

Что-то было располагающее в его тоне и в нем самом. В улыбке, что ли? Рубин сам не заметил, как стал рассказывать о недавно умершем физиологе Бернштейне, с которым хорошо знаком был и которого боготворил со всем пылом человека, еще нуждавшегося в учителе-мудреце.

Рубин рассказывал об ученом, лет за пятнадцать до Норберта Винера вышедшем на идеи кибернетики. Но идеи эти оказались никому не интересны, а коллеги вскоре начали травить Бернштейна, отовсюду его выгнали в пятидесятом году, но тут домой к нему толпой потекли ученики, возникла поразительная, чисто отечественная ситуация: сидел в своей квартире отовсюду изгнанный, ошельмованный, преданный казенной анафеме человек, а к нему в очередь записывались на часовой разговор десятки молодых ученых из невообразимо разных областей науки. Уже его идеи разворовывались, как водится, шли по рукам, присваивались другими, растворяясь до неузнаваемости во множестве чужих экспериментов, а старик только посмеивался в ответ

на возмущение друзей и почитателей, ничуть его не разделяя, — какая разница, кто автор, если идея зажила полнокровной жизнью.

— Как я его понимаю! — хмыкнул Юренев.

Приведшая Рубина женщина азартно раскрыла рот, спеша вмешаться и тоже что-то рассказать, но Юренев быстро глянул на нее, и та умолкла, с обожанием на него глядя.

Рубин вспомнил, как ездил поговорить к одному маститому академику, и академик замечательную фразу назидательно тогда произнес:

— Утверждать, что обратную связь в нервной системе открыл не я, а Бернштейн, — значит подрывать приоритет отечественной науки.

— Замечательно, в самом деле, — одобрил Юренев. — А Бернштейн ваш — он еврей, естественно?

— Право, не знаю, — ответил Рубин, чуть настожившись от тона, каким это было сказано. — В том-то и дело, что академик расширительно говорил. Как истинно русский человек, он вообще никого другого на них не переносил. А Бернштейн — из обрусевших немцев, кажется.

— А в пятидесятом его, значит, не как космополита костили? — спросил Юренев живо.

— Нет, — сказал Рубин. — В чистом виде за научные идеи. Там даже одна аспирантка выступила, девочка наивная, и говорит: зря вы Николая Александровича так ругаете, ошибка это, он ведь не еврей.

— Да, святая простота, — усмешливо согласился Юренев. — Как это тогда говорили: чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом.

Снова он это как-то сочно сказал, и Рубин вскользь заметил, на проверку:

— Аппетитно вы это произносите. Со вкусом.

Юренев остро и быстро глянул на него и, помолчав мгновение, сказал мягко:

— Болеее все-таки племенной болезнью. В юдофобстве так и жаждете любого заподозрить, правда?

— Есть немного, — осторожно ответил Рубин.

— И у меня немного есть, если хотите начистоту, — просто сказал Юренев и улыбнулся так открыто и хорошо, что Рубин тоже улыбнулся в ответ.

— Знаете, — сказал Юренев медленно, словно нащупывая тропку к пониманию, — приходилось вам ведь

слышать или читать о латышских стрелках, охранявших революцию и ее вождей? Приходилось?

— Конечно, — ответил Рубин с готовностью. — Очень знакомая цепочка. Сейчас вы упомянете украинцев, самых страшных охранников и конвоиров в лагерях у нас и у немцев.

— Верно, — Юреневу явно нравилось несогласное взаимопонимание. Глаза его блестели острым задором. — А теперь скажите-ка мне, при вашей осведомленности, кою с радостью наблюдаю и одобряю — к украинцам нет ли у вас на основе читанного и слышанного — нет ли и по сей день некоего живого чувства? Которого сами вы, скорее всего, стесняетесь?

— Есть, — признался Рубин. — И действительно, стыжусь его и прячу, но есть.

— Так откуда же у меня может быть филосемитизм? — грозно и твердо спросил Юренев, и на стенку перестал спиной облакачиваться, выпрямил свой худой торс и сверху вниз на Рубина посмотрел. — Если бы я даже меньше знал о еврействе превеликого множества чекистов, то стоило прибыть в Вятлаг по этапу, и встречал меня там Ной Абрамович Левинсон, мерзкий не только сам по себе, но всю мерзость режима своим убогим самодовольством и тупой категоричностью воплощавший. А когда закуривал он, между прочим, то золотой портсигар с рубинами вынимал — отобрал у какого-то из высланных...

Вдруг Юренев прервал свой грозный монолог и засмеялся, с некоторым то ли смущением, то ли лукавством глядя на Рубина, сидевшего напрягшись. Но был Рубин готов к внезапному разговору нараспашку.

— Попался старик, — сказал Юренев, звучно высморкавшись в большую цветастую тряпку, бывший шейный платок или косынку, ловко добытую им из-под подушки длинной худой рукой.

— У латыша был этот портсигар изъят, — объяснил он Рубину, — многим тысячам тогда судьбу сломали после счастливого слияния с семьей народов.

И снова засмеялся, что-то вспомнив.

— Для вас точнехонько история, — объяснил он. — Как-то раз у нас в бараке спор завелся, какой нации в лагерях больше сидит. Кто-то первый сказал, что русских, конечно, ему грамотно объяснили, что считать надо в отношении к общему количеству людей этой нации в стране; тогда решили было, что грузин больше, очень

их много шло в пятьдесят втором. Но согласились единогласно, что евреев все же больше всех. И тут с соседних нар пожилой украинец угрюмо голос подает: это, говорит, такая нация, всюду она пролезет и своих проташит. Ах, как хорошо мы все смеялись! Очень от сердца он сказал, с истовостью, нарочно так не получится.

Юренев задохнулся и закашлял трудным глубоким кашлем слабогрудого человека. Отпил какого-то отвара или пасты из пиалы, аккуратно прикрытой марлей, снова марлю заботливо расправил.

— Тяжко очень было? — глупо спросил Рубин, кляня себя за вырвавшийся плоский вопрос.

— А-а, — махнул рукой Юренев — даже не рукой скорей махнул, а длинными пальцами пошевелил презрительно. — Всяко бывало. Унизительно это было очень. Унижение широчайший спектр имеет, батенька. Голод — он ведь очень унизителен, упаси вас Бог это узнать. И труд бессмысленный, и болезни, и бессилие — унизительны. Это, может быть, посильнее, чем собственно неволя.

— А вера помогла вам? — снова Рубин ужаснулся своему вопросу, так не к месту и бесцеремонно он звучал, но Юренев очень оживился. И сбоку от Рубина — где тихо-тихо сидела провожатая — негромкий послышался фыркающий смешок.

— Вы, наверно, это вот заметили? — спросил Юренев, оборачиваясь к висевшему у изголовья кровати прямоугольнику размером с икону, аккуратно завешенному марлей. Впрочем, в углу над кроватью висела еще маленькая икона Сергия Радонежского в медном окладе. — Мне не только вера помогала, но еще заклятие некое. Я его вроде индусов непрерывно повторял и повторяю нынче в трудную минуту, только содержание русское.

Правой рукой он откинул марлю с прямоугольника, и Рубин увидел кусок отпиленной доски с наклеенным листом бумаги. Чуть поперек листа крупными торжественными буквами было выписано красной тушью пляшущее перед восклицательным знаком одно слово: Насрать!

И сразу так хорошо сделалось на душе у Рубина, так спокойно и светло, что острую благодарную любовь почувствовал он к этому старому негнибемому отпрыску древнего рода. Нечто крайне важное мгновенно пе-

редал он Рубину — завет, как жить и относиться к стихии.

— Ну, спасибо, — сказал Рубин восхищенно. — Это настоящий подарок.

— А теперь попьем чайку и продолжим, — сказал Юрнев, очень довольный произведенным эффектом. — Только вы меня, батенька, правильно поймите, я и от веры предков не отрекался, просто это необходимая в наши времена духовная добавка, без нее никак не обойтись. Вы зеленый пьете? Где там вашему индийскому, я уж о грузинском не говорю.

Рубин оглядывался с интересом. Здесь было множество вещей, способных украсить любой музей или коллекцию. И на молчаливый вопрос гостя Юрнев пояснил:

— Завещал я это почти все Русскому музею в Ленинграде. А часть — местному. Здесь исключительно мои находки. А продавать не хочется, рука не поднимается расстаться.

— Пенсии хватает? — спросил Рубин осторожно, ибо вновь не слишком деликатен был вопрос.

— Остается! — засмеялся Юрнев. — Мне ведь власть от щедрот своих роскошный пенсией положила: пятьдесят рублей каждый месяц.

Рубин дернулся непроизвольно, однако возглас изумления сдержал. Он уже сообразил, что здесь лучше разговаривать спокойно.

— Хлеб, крупа, сахар, — сказал он. — Чай еще, пожалуй, и молоко. На большее хватит вряд ли. — Он вопросительно посмотрел на Юрневу. Юрнев смотрел на чайник.

— Я аскет вообще, — сдержанно сказал он. — Так давно уже себя приучил. Только честно вам признаться, ем гораздо лучше, чем вы предположили. Мне окрестное население продукты приносит. Лечу я их помаленьку.

— Умеете? — спросил Рубин. — В смысле — учились?

— В санчасти в лагере доводилось крутиться, — уклончиво ответил старик. И опять расплылся в улыбке: — Что греха таить, святым я здесь слышу, так что лечу, уж извините, шарлатанством — сиречь внушением по-вашему, по-научному. От меня что ни примут — верят, потому и помогает, как известно. А отсюда и благодарность натуральным продуктом как-никак перепа-

дает. Знаете ли, сам-то аскет, а вот Машке-распутнице на базаре говяжьих мозги приобретаю, обожает она их, мерзавка.

Только сейчас Рубин сообразил, отчего левую руку старик время от времени опускает возле себя, словно трогает там что-то. Привстав, увидел он, что сбоку от Юренева стоит еще одна табуретка, на ней сложен тонкий ковер и спит на нем, свернувшись безмятежно, огромная пушистая кошка коричнево-черной масти с белой полянкой на загривке.

— Дмитриевна-джан, заварите нам чайку, не откажите, обожаю женскую ласку, — попросил Юренив.

Дмитриевна-джан быстро и ловко заварила чай, достала две пиалы и колотый сахар. Быстро глянула на старика и выставила на стол миску тонко нарезанных и тщательно высушенных черных сухарей с кристалликами соли на каждом.

— Чем богаты, — церемонно сказал Юренив. — Лично я их любому ситнику предпочитаю. Дмитриевна, там и масло есть, и мед, не такие уж мы стойки и аскеты. А пиалы почему же только две? Мы цивилизованные люди, мы готовы, скрепя сердце, женщину за стол посадить. Особенно, если белая женщина.

— Бежать мне надо, Сергей Николаевич, — умоляюще сказала белая женщина, покрасневшая от внимания. — Оставляю вам гостя, не обижайте.

— Об этом не просите даже, — свирепо произнес Юренив. — Сейчас вернусь опять к Левинсону, перейду на такого же начальничка в Казахстане — Левитан ему была фамилия, и всю ихнюю породу низведу на надлежащее место. Вы готовы? — спросил он гостя.

— С наслаждением, — ответил Рубин, отхлебывая чай. — Только ответственность буду, не осерчайте.

Теперь они остались одни и помолчали, глядя друг на друга.

— Вы ведь курите, должно быть? — заботливо спохватился Юренив. — Курите, ради Бога, мне ничего уже не может повредить. А запах дыма до сих пор обожаю. Так что только обяжете меня.

И Рубин закурил.

— А хотите — и вправду продолжим? — вкрадчиво спросил Юренив.

— Мне это очень интересно, и не оскорбляйте меня подозрением в тупой обидчивости, — откликнулся Рубин, наслаждаясь сигаретой.

— Вкусно курите, — похвалил Юренев. — Замечательный это дар — от жизни удовольствие ощущать. Испаряется, к сожалению, с годами. Все никак к вашему Левинсону-Френкелю не перейду. Расслабился.

Рубин выпрямился и руку с сигаретой опустил.

— Пожалуй, что о Френкеле интересней, — сказал он. — Что-нибудь о нем знаете?

— Эк вас кинуло, — заметил Юренев насмешливо, — молодец. Только не сами ли вы проблему эту раздуваете своим интересом? Раньше русские мальчишки, в трактире встречаешь, о высоком разговаривали.

— Мальчишки выросли, — сказал Рубин. — Повзрослели крепко. Правда, умудреннее не стали. А высокое — оно, видите ли, очень низким оборачивается в России. До предела мерзости и гнуси доходит. Я думаю, что Достоевский сейчас бы мальчишек своих тоже на эту тему перевел.

Юренев головой неопределенно мотнул, то ли соглашаясь, то ли спорить не желая.

— Ну, о Френкеле конкретно знаю я не более, чем в лагерях болтали. Что это он, дескать, придумал пайку дозировать по выполнению плана, то есть как бы всю систему рабского труда сочинил. Но только это чушь собачья. Память если моя старческая не подводит, году еще в двадцать каком-то Рыков, кажется, человек в их романтической банде не последний, делал большой доклад, что необходимо карательную политику усиливать, гайки затягивать, а принудительный труд ставить на условия, выгодные для государственного строительства. То есть на сдельщину, в зависимости от труда. Было ведь такое? Знаете?

Рубин кивнул нетерпеливо.

— Не более, чем исполнителем он был, ваш Френкель, — брезгливо сказал Юренев. — И перемене моей позиции не удивляйтесь. Потому что ручку этой мясорубки вся страна крутила, славу эту исключительно себе не присваивайте. Впрочем, вы сказать что-то хотите?

— В книге Солженицына глава о Френкеле кончается страшной фразой, — Рубин волновался отчего-то, — страшной. Вот такого типа: дескать, думаю, что он ненавидел эту страну.

— Эк он возвеличил Френкеля, мразь эту! — презрительно поморщился Юренев. — Россию, батенька, ее Чаадаев мог ненавидеть. Русский гений. Потому что право имел. Обожал потому что. А эта ваша мелюзга

дворовая, этот пес цепной, он ее ненавидеть никак не мог, не по душевному чину это ему, он ее мог разве что понимать. Только, извините, не в том смысле, что у Тютчева. А понимать, как жить в ней устроиться, как сытней и как безопасней. Вот и все. А то у вас тут, у евреев, какая-то скособоченная, уж извините, магия величия проявляется. Злодейского, но величия. Эка хватил: Френкель. Это для обывателя удобный миф, уютный весьма, мелкий очень, оттого и годится. Для аристократов с конторским мышлением, которым главное — на кого вину спихнуть. Не умея постичь, не смея вину на себя взять — с радостью взять, ибо великая вина! — ищут они козла отпущения. А тут уж никого и не найдешь удобней, чем еврей привычный. А трагедия — она еще когда началась! С той гордости она началась, что необыкновенные мы, что, косясь и посторониваясь, дают нам дорогу другие народы и государства. И так далее. Узнаете? С гордости, что мы — Русь-тройка, это все началось, если хотите.

— Не понял, — признался Рубин. — Пока не понял.

— Прочитал недавно, — пояснил Юренив, — замечательную статью в провинциальном журнале. О писателе Юрии Олеше. Очень тонкий там один пассаж: дескать, не заметили мы, в чаду и угаре нашей гордости той борзой тройкой, что мчалась она не просто, а заложена была в бричку, а в ту бричку, в свою очередь, был заложён Чичиков. Вот он, дескать, в наш век примчался, вылез, огляделся и за дела принялся. Белинков фамилия автора. Тоже, мне рассказывали, много просидел.

— Я читал, — сказал Рубин недоуменно. — Только не пойму, о чем вы?

— А не спешите, мы довольно мчались, — отвечивал Юренив нарочито медленно и долил чая в пиалы. — Образ этот, наблюдение, верней, — очень уместно для сегодняшнего времени, когда все жрут, и слова хватают, и опять воруют, даже прожевать не успевают как следует, разве что чавкают по возможности негромко, чтобы внимание к себе не привлечь. В этом смысле замечательно точно вставлено про Чичикова в статье. Только раньше этого, батенька, с самой тройкой чисто гоголевское преображение произошло. Страшное и колдовское, если хотите.

Юренив сидел выпрямившись, высоко возвышаясь над столом, кисти рук его с длинными пальцами, заго-

релые, а может просто старческой желтизной отливающие, ровно лежали на клеенке, неподвижное и мятое худое лицо озарялось очень живыми серыми глазами. Он вот так и лечит, должно быть, подумал Рубин, и попробуй не поверить ему.

— Превратилась эта тройка российская, страну влекущая с неодолимой силой и очарованием скорости, — в тройку особого совещания! ОСО! Слышали, небось, такое?

— Разумеется, — хрипло отозвался Рубин.

— И конечно же, как при всяком нечистом преображении, расплодилось эта тройка на всю страну. Сотни миллионов жутких лагерных лет она дала десяткам миллионов людей. Размах вы слышите?! Жизнь человеческая умещалась на клочке бумаги папиросной, из которой и сигарку не свернуть. И текст простейший: слушали — там фамилия, постановили — там срок. Вот в какую тройку обратилась гоголевская знаменитая и всю Русь за собой поволокла. И мы летели, упоенные и зачарованные. А когда опомнились и страшно стало, то поздно уже — мчимся по инерции. Предрешено было России самоубийство такое, и давно его готовили наши деды и прадеды. Наши, заметьте, — коренные российские. Запрягали-запрягали — и понеслись.

Остановившиеся, застывшие глаза старика смотрели мимо Рубина сквозь стену и оттуда медленно вернулись, обретая опять усмешливость и теплоту.

— И вот тут-то, — сказал он, — когда всё с ума посходили, то обезумевшей империи понадобились для ведения ее безумного хозяйства... понадобились.., — Юрнев щелкнул пальцами, ища слово.

— Рачительные рабовладельцы, — подсказал Рубин осторожно.

— Совершенно так, — согласился Юрнев и тут же спохватился: — Нет! Рачительные надсмотрщики! Потому что тоже из рабов, что самое страшное.

— У древних евреев даже такое проклятие было, — торопливо согласился Рубин, — самое свирепое проклятие, хуже пожелания оспы, чумы и саранчи — чтоб вы были рабами у рабов.

— Это красиво и точно, — одобрил Юрнев, — обожаю точные слова. Все-то вы меня к евреям толкаете, а я к ним сам перехожу. Пожалуйста: рачительные рабы-управляющие, рабы-распорядители, рабы-надзиратели. Об одном и том же говорим. Тут вот и

появились ваши левинсоны и френкели. И вам тут нечего стыдиться, а нам вину свою — грех перекладывать. Потому что у нормальной великой нации свои должны быть способные, энергичные и жестокие подлецы-служаки. Только мы своих поубивали, — сказал Юренив со вздохом, и Рубин было засмеялся, но сообразил, что собеседник очень серьезно об этом говорит, без капли иронии. Рубин закурил, и старик долгим взглядом проводил тающее кольцо дыма.

— Еще в гражданскую войну мы начали самоубийство, а там и дальше понесли свой лучший семенной фонд уничтожать, — продолжал он медленно, — крупные личности оттуда только и берутся. Душителю тоже в том числе. Из способных, из энергичных, из породистых. Забили всех: дворянство, офицерство, купечество, духовенство, крестьянство лучшее... Интеллигенцию всякую — из них тоже такая крупная мразь получается, что не приведи Господи, это мы уж из немецкого опыта больше знаем. Собственное генеалогическое дерево подрубила матушка-Россия почти под корень, самые плодоносящие ветви безошибочно порушила. Геноцид был в чистом виде, да еще с отбором лучших пород. Так откуда же взяться тогда крупным людям? Поколения теперь нужны, чтобы племя восстановить, скотоводы — и те знают это отлично. Так что евреи просто пустоты наши заполнили, за что ни вам стыда, ни нам чести. Тоже не Бог весть какие пришли, кстати сказать. Просто средний рост гвардейским стал в этом стаде, где только карлики уцелевали, а со средним ростом вообще у вас богаче. А для чего все это было? Во имя чего? Исключительно из-за гордыни вековой, право слово. А кончится когда? Один Бог это знает, неисповедимы пути Его.

Это было сказано с трагической истовостью; Рубин ожидал, что Юренив перекрестится сейчас, но старик молча принялся прихлебывать чай, и Рубин прерывать молчание не решался. Юренив прищурился вдруг и засмеялся негромко.

— К нашей теме, — сказал он. — Году в пятидесятом, если не ошибаюсь, появился у нас на зоне еврей с целым букетом статей разных. А одно из обвинений, представьте, — юдофобство, антисемитизм, разжигание национальной розни, оскорбление национального чувства, ущемление прав, уж я не помню, как там формулируется точно. Это в разгар травли евреев по всей

страше! Мы-то уже знали, доходили до нас слухи исправно. Он нам о себе рассказывал — мы с хохоту помирали. Донос на него кто-то наклепал на работе, по торговому их ведомству, а в доносе — вот про эти ущемления. Да. Так ему следовательно говорит: за что же вы их так, голубчик, ненавидите, я и сам их, признаться, не терплю, но уж так, до преступления законности, разве можно? Что же вы их так, гражданин голубчик...

Тут Юренив затрясся, сморщился, заплакал от смеха, стал вытирать глаза платком-тряпичей, и сквозь платок уже до Рубина донеслось:

— Голубчик — это фамилия его, Исаак Семенович Голубчик, только записан русским, а следовательно поет ему, разливается: за что же вы их так не любите, что ущемляете их достоинство? Я и сам, признаться... не могу.

— Знаете, много мы смеялись на зоне, — разом остыв, спокойно сказал Юренив. — Изумлялись многому. Свихнувшееся все бытие наше было. До сих пор еще дивные истории мне от гостей переппадают. Вот про то же самое ОСО возьмите. Проезжий мне один рассказывал, из университета вашего в Москве. И достоверность полная, вот ведь в чем кошмар, простите мне нагнетение атмосферы.

И Юренив замолк, снова мимо Рубина глядя куда-то остановившимися и померкшими глазами. Да он еще и устал, вдруг догадался Рубин, лучше завтра зайти, бессовестно это долгое сидение у старика.

— Нет, я не устал, — сказал Юренив, словно услышав. — Сейчас вам расскажу. Отчего-то покрасочней изложить захотелось, вас порадовать. Вот послушайте еще про Русь-тройку. А как Брюсов советовал под нее кидаться, помните? А Блок? С присущим ему изяществом — тоже ведь не против был и других звал совместно. А она взяла и взбесилась. Не ожидали они, конечно. Впрочем, я-то вам про пятьдесят шестой расскажу, когда остановились и стали раны считать.

Рубин тогда же записал эту историю в блокнот — как только вышел со двора медресе, на скамье возле какого-то дома, и по записи все восстанавливалось легко. Но про Бруни не было пока ничего. Был, значит, второй блокнот, надо еще искать. А пока — история из первого.

В пятьдесят шестом это было: молодым юристам

поручили дела по реабилитации сидевших и погибших. Душа от поручения такого поет и играет, и наткнувшись в одной из первых же папок на чистейшую туптуту, они решили долгого почтового пути не ждать, а позвонить вдове расстрелянного ученого. В папке был протокол допроса в одну страницу — признавался человек, что диверсант, вредитель и шпион сразу четырех держав, и сопутствующие бумаги: постановление о расстреле и расписка, что приговор приведен в исполнение. Адрес погибшего был в порядке на арест (с пометкой об исполнении в тот же день), а телефон они узнали без труда. Было часов двенадцать дня, трубку взяла женщина, которая была как раз той самой, судя по фамилии, вдовой.

— Вам скоро придет по почте справка о полной реабилитации вашего мужа, — сказал торжественно и сочувственно один из парней, — а мы спешим сказать вам, что ваш муж ни в чем не был повинен.

— А в чем его обвиняли? — голос женщины сделался тревожен.

— В шпионаже, диверсии, в чем только не обвиняли, а все вранье, — сказал юный доброжелатель.

— Это когда? — недоуменно и испуганно спросила женщина. — Я что-то не понимаю вас. Когда его обвиняли?

— Как когда? — растерялся начинающий деятель прокуратуры. — Тогда еще, в те годы, в тридцать восьмом.

— Он мне ничего не говорил, — сказала женщина.

— Так и не мог он вам сказать, — объяснили ей терпеливо. — Как же он мог? Уже не мог, к несчастью.

— Почему к несчастью? — опять взволнованно спросила женщина.

— Так ведь нет вашего мужа, правда? — осторожно спросил парень, а приятелям пальцем возле виска досадливо покрутил: парвались мол, сумасшедшей баба оказалась.

— Нету, — подтвердила женщина. — Он часа только в три обедать приезжает. Иногда чуть позже. Не пойму я что-то вас, не трудно после трех дерезвонить? Если это не какая-нибудь плоская шутка, разумеется.

В три часа эти парни уже были, естественно, по известному адресу.

Женщина скорее удивлена была, чем испугана, а муж ее, только что вернувшийся из университета, сразу все сообразил и чрезвычайно разволновался. И причину радостно объяснил.

— Это сегодняшнее мое счастье, ребята. Вы сейчас поймете. У нас тогда за года полтора почти всю кафедру забрали, и никто не вернулся. А меня одного тогда не взяли. Если бы вы знали, сколько я пережил! И не страха, уже не было потом страха, — бессильного унижения сколько я пережил. Все ведь именно меня подозревали, что стукач и губитель. Со мной общались так, что и собаке не пожелаю, хотя по виду вежливо и безупречно. Нельзя ли мне эти бумаги хоть на час в университет свозить? А вам надо не мной заниматься, а тем следователем, если разрешат.

Время было смутное, разрешили. Картина очень простая выяснилась и страшная — для тех лет обыденная, вероятно. Следователь то ли торопился выполнить свой план, то ли к концу недели выигрывал время отдохнуть. Дела на восьмерых людей из разных мест и учреждений оформил он за один день. Все протоколы написал, клочки бумажки с приговором ОСО приложил, — значит, были у него уже подписанные тройкой бланки, он только фамилии проставил, тут же справки об исполнении приговоров подколол. Оставалось к ночи дело за малым и будничным: привезти этих людей и расстрелять. То ли была занята оперативная машина, тоже работавшая с перегрузкой, то ли он это на утро отложил, чтобы успеть поспать, жаль было остаток ночи тратить на обрыдлую суету, — но только лег он прямо в кабинете и уснул. А утром его забрали самого. И уже днем он был расстрелян или брошен в лагерь как пособник, перегибщик и объективный враг. Да еще наверняка и били его, выколачивая признание, что применял недозволенные физические методы (случаи такие были известны, в лагерях рассказывали уцелевшие чекисты). А преемник по кабинету принял эти дела как законченные — в них все нужные бумаги уже лежали. Так что восемь счастливых числились в архивах истребленными — и благополучно жили где-то.

На истории этой, ошеломительной, но по-безумному достоверной, Юренин встал и церемонно попрощался. А на просьбу завтра повидаться — ответил уклончиво и сухо, что если живы будем, то с несомненным

удовольствием. И Рубин вылетел, торопясь, покуда все не позабыл.

Утром Юренев встретил Рубина как старого друга. Радостно усадил, долго и улыбочиво смотрел на него, потом поставил чайник и сказал:

— Знаете, а вы когда-нибудь, Бог даст, хорошую книжку напишете, если не скурвитесь и не зачерствеете. Есть в вас тайной свободы остатки, еще той, помните, конечно?

И почему-то полузапел:

Пушкин, тайную свободу
Пели мы вослед тебе.

Рубин сперва продолжил вежливо, заканчивая строфу, но потом громко рассмеялся.

— Вы о чем? — спросил Юренев, монументально усаживаясь.

— Жены своей слова вспомнил, простите за хвастовство, — объяснил Рубин. — Ты, она сказала мне, Илюша, каким-то образом получился свободным человеком, отчего в наше время часто выглядишь то прямым дураком, то неловким провокатором.

— Умница у вас жена, — со вкусом сказал Юренев. — Очень точно по-женски схвачено. Я ведь, извините великодушно, тоже вчера мельком нечто в этом роде подумал. Я, кстати, подарочк вам один приготовил, довесок ко вчерашнему разговору в памяти выискался. Мне приятель один рассказывал, это на Ухте было в тридцать пятом, кажется, то есть довольно рано. Зону они сами себе строили, не центральный был лагерь. Жили в землянках, естественно. И свечи из бересты. А от бересты — чад несусветный. Нормальная первобытная жизнь. И крутился там один сукин сын. По фамилии, естественно, Гордон, отчего я это вам и приготовил.

Рубин усмехнулся как можно невозмутимей.

— Этот Гордон специальный был оратор-пропагандист, его для того и возили с зоны на зону. Как только этап на место приходил, он им такую речь закатывал: дескать, вы сюда прибыли вовсе не для наказания и гибели, родина вас любит и жалеет по-прежнему, родина еще надеется на вас. Вы сюда прибыли для проверки вашего идейного разоружения и готовности послужить отечеству, желающему вас принять обратно в качестве полноценных граждан. И работа каждого из

вас — это пропуск обратно в нашу замечательную жизнь. Так что докажите трудом вашу непоколебимую сознательность и отсутствие за пазухой камня.

Юрнев мгновение помедлил, брезгливо кривя губы, и продолжать не стал.

— И далее, как можете себе представить. Самое только чудовищное в этой чернухе мерзкой, что ему тогда поверили многие, специально я приятеля расспрашивал. Необходима человеку надежда, вот он и верит всяким скотам. Многие тогда вкалывали, себя не щадя. И ушли, конечно, в первые же зимы. Новых, правда, все время пригоняли. Нефть. А этим новым опять Гордона привозили. Он еще им вот раскидывал какую чернуху: дескать, здесь неисчислимые запасы благородного газа гелия, так что вырастет тут светлый город будущего Гелиоград, и будут управляться дирижабли всей страны. А в других местах другое что-нибудь подмешивал наверняка. И хватит о подонках, глупо время проводим, — сердито сказал Юрнев. Но остановиться явно не мог.

— Вот я последнее вам повестну на эту тему, — так благодушно и расслабленно выговорил он, что Рубин тут же насторожился. — Мне поляк один сказал как-то на зоне, мы с ним много лет побеседовали, острый был пан, куда там Гоголю. Шла как раз кампания тогда против космополитов, сиречь вашего брата, мы уже ее поминали с вами в разговоре. Зловещее, однако, было мероприятие, вроде немецкого. Вовремя усатый сдох. Кстати говоря, — я помню, что отвлекся, сейчас вернусь — старые евреи уже здесь мне говорили, что усатый, дескать, именно и сдох-то потому, что на евреев посягнул и замахнулся. А Богу, мол, той жертвы, что немцы принесли, покуда было достаточно, вот и сдох усатый. Интересно! Так что не расслабляйтесь: новые жертвы впереди, ваш Бог без этого не обходится. Да, так я отвлекся. Гремит эта кампания, значит, — поносят, обличают, угрожают, а поляк, пан Шелест фамилия, мне так эпически спокойно говорит.

Юрнев засмеялся воспоминанию и произнес слова приятеля-поляка, чуть подражая его выговору:

— Знаете, что мне обидно, пап Юрнев? Ведь антисемитизм — это бардзо высокая идея, а большевики даже ее испохабили!

Рубин смеялся и Юрнев смотрел на него, очень довольный своей памятью и эффектом.

— Старый Мазай разболтался в сарае, — сказал он. — Давайте, раз уж я разошелся, изложу историю про одно уникальное международное жульничество. Мало кто о нем уже знает. А кто знает — помалкивает. Слушайте и оцените Анастас Ивановича Микояна. Был он в это время уже наркомом. Внутренней и внешней торговли. А торговать, как вы сами понимаете, нечем было ни внутри, ни снаружи. А промышленность строить хочется и надо. Ибо до основания разрушили, как было в песне обещано, пора было уже и строить. Первую пятилетку объявили. Покупать станки — валюта нужна. Тут из них кто-то и сообразил картины капиталистам продавать. Все равно, дескать, буржуазное искусство, досталось даром — что купцы скопили, что аристократы по дворцам да усадьбам — гегемону это ни к чему, он грамоте обучится и нарисует еще лучше.

Лысый их пахан, простите уголовную терминологию, к завету «грабь награбленное» добавил после новый, как вы знаете: «учитесь торговать». Эти два завета соединив, как раз получим общую идею. Порешили торговать награбленным. И пошло у них все очень хорошо. Тициан, Рафаэль, Ван-Дэйк, даже Леонардо и Рембрандт, не буду вам всего перечислять. Часть продавалась гласно, большая часть — втихую. Неимоверные сокровища потекли, за копейки притом, если сравнивать с их подлинными ценами, что, заметьте, тоже оскорбительно. Только ворованное всегда дешевле идет. У воров сбыт краденого даже звучит уничижительно: спульнуть пропаль. Не слыхали такое?

Не слыхали. Рубин записал выражение, и Юрнев продолжал:

— Свои несколько десятков миллионов получили они быстро и легко. Начали станки закупать. А история наша с наркомом Анастасом только-только начинается теперь. Он во вкус вошел. В торговый раж. А торговля, напоминаю, — в тишине. А в тишине, в условиях секретности, у человека все низменное оживляется. Сжульничать его тянет, смошенничать. Правда-правда. Не задумывались вы, откуда столько воров у нас, взяточников, такое общее растление откуда? Непосредственные корни — знаете, откуда? От несвободы. Во всем спектре ее проявлений.

Рубин поднял брови недоуменно.

— Да, да, да, — сказал Юренев старчески настоятельно. — Простейшая цепочка. От отсутствия свободы торговать. От отсутствия свободы голоса. От невозможности подонка ославить, а жульничество вслух осудить. В темноте совершается значительная часть нашей жизни, а темнота располагает и способствует. И Микоян это одним из первых, может быть, в государственном масштабе сообразил. Если, мол, продаем в тишине и тайне, то отчего бы не подсунуть им фальшивки? Ведь не обнаружат. Потому что в голову не придет, что фальшифка. Не заподозрят. Какой смысл дикарям изготавливать поддельные слитки, когда золото у них под ногами в грязи валяется? Сообразили?

— Потрясающе, — согласился Рубин. — Только это ведь работа какая. И особые специалисты нужны.

— А русский человек на все мастак. Вы, батенька, хотя б Левшу припомните. Что блоха после его подковки танцевать перестала — это плевать, зато знай наших. И зовет к себе Микоян художника Грабаря.

Рубин при этом имени присвистнул. Юренев ухмыльнулся и губами по-старчески пожевал, вспоминая что-то.

— И Грабарь собирает себе команду. Из них кто-то даже в Италию смотался, чтобы технологию изучить. Ведь мало копию изготовить неотличимую, мало, что на старом соответствующем холсте — еще ведь живопись состарить надо. Специальная термическая и прочая обработка нужны. Словом, это настоящая фабричная технология. Но условия им все создали. Гениальный копист у них там был — художник Яковлев, собственный свой дар загубивший на этом деле. И еще там было несколько человек.

— И никто не отказался? — быстро спросил Рубин.

Юренев замолк, словно споткнулся.

— Хороший вопрос, — медленно сказал он. — Вы молодец. Только теперь вообразите сами: время для художников смутное, самое-самое начало тридцатых. Перспектива — еще поганей. А тут работа, заработок, интересно, да еще игра некая, все мы немного дети. И ведь по крупной надувательство, историческое, чем не игра? И для собственной страны, заметьте, — я уверен, что на демагогию не скупилась. Словом, причин хватало, чтобы обеими руками ухватиться. А один — я точно знаю — отказался. И как раз те

доводы привел, что вам сейчас пришли в голову, иначе вы б не задали такой вопрос. О чести художника и о достоинстве человеческом. Бруни отказался, был такой. Неудачник по жизни, все у него что-то не клеилось. Из отменнейшего старинного рода человек. Так что, возможно, и наследственность сказалась. Умирали тогда эти понятия очень быстро. Нынче уж и вовсе умерли. Без кислорода задохнулись. Отчего мы и живем в такой клоаке.

Рубин жадно слушал и молчал.

— Дальше работать начали, — оживился Юрнев. — Тут уже азарт играл. Итальянцев стали всевозможных малевать, испанских старых мастеров, малых голландцев, немцев именитых. Уж, конечно, Рембрандта и Дюрера не мазали, с умом выбирали, чуть пониже самих знаменитых. Но первоклассных, надо признать, накрашивали тоже. Хальса, например, если мне память не изменяет, — словом, замечательный был уровень. Знаете, я думаю, их Микоян или Грабарь еще и вот какой наживкой взяли: чем больше сделаем, тем больше в России подлинников останется. Это для настоящего художника сильная наживка. Согласитесь?

— Да, наживка убедительная, — охотно согласился Рубин. — Интересно только, почему на нее ваш этот Николай Бруни не клюнул. Или вот на такую, например: все равно ведь другие сделают, а я зато нуждаться не буду, семью прокормлю, ради детей.

Рубин еще не знал тогда, что через десять лет он будет вновь сидеть и раздумывать, почему Николай Бруни, теперь уже такой близкий и известный ему, не клюнул на десятки других наживок и петель, изобильно раскинутых его эпохой для полного уловления душ. Почему он не обманулся. Почему не проданся. Почему не поддался страху. О многом еще предстояло гадать. Но это потом. Еще нескоро.

— Чистоплюй был! — с торжеством сказал Юрнев. — Редкостная разновидность. Сегодня коллекционная. Он даже понять не смог бы современного типичного довода: не я, так другие. Ну и пускай другие!

— Перебил я вас, — сказал с досадой Рубин, — извините великодушно. Вот вы мне скажите что: неужто ни одного провала не было? Ведь есть же специалисты...

— Это каким глазом смотреть, — уверенно сказал Юрнев. — Живопись давно уже подделывать стали,

дело не новое, коль есть покупатели на имена. И подделки бывали знаменитые, и разоблачения шумные. Только это стиралось век от века, значение свое теряло. Висит картина где-нибудь — обращали внимание? — а ее авторство под вопросом. Атрибуции знатоков-экспертов разнятся, мнения расходятся у них, резоны чисто чувственные, остается так, как хочется владельцу. И вопросы постепенно исчезают, авторство становится несомненным. А тут сомнений и не возникало. Зачем России подделки сбывать, если всем известно, что тысячи первоклассных полотен у нее в сырых подвалах неприкаянно валяются? А когда в случайные руки попадало для продажи такое полотно, то здесь и взгляд у покупателя другой. Один прокол у Микояна знаменитый был и знаменательный. Тут я, признаться, полную достоверность не гарантирую, рассказывали это мне. Но очень, очень похоже, что правда. Вам такое имя — Квислинг — известно?

— Это знаменитый фашист какой-то? — осторожно отозвался Рубин. — Неправда ли? Шведский или норвежский...

— Верно, — энергично кивнул Юрнев. — Норвежец. А он раньше левым был, Квислинг этот, и как они все — приезжал сюда время от времени деньгами разжиться на пропаганду светлых идей. Что энтузиазм подкармливать надо, мы очень быстро сообразили, надо отдать нам должное. На затраты по этой части мы уже тогда не скупились. А в очередной приезд Квислинга ему и говорят: дескать, нету у нас нынче в наличности свободной валюты, господин товарищ Квислинг. Зато можем дать вам запросто десяток выдающихся живописных полотен знаменитых старых мастеров. Если их разумно продать, большие деньги получить можете на ваше бескорыстное левое движение. А он и взял, дурак.

Юрнев засмеялся вдруг так громко и заразительно, что Рубин, глядя на него, тоже захохотал. Ясно уже было вполне, что было дальше. Юрнев аккуратно промокнул губы тряпкой-платком и увлеченно продолжил:

— Возвратился Квислинг домой, стал живописью торговать. В частное собрание предложил или в галерею торговую. А этим неизвестно, откуда у него полотна, неизвестный продавец, то есть объективный у них взгляд, без гипноза и очарования... И разоблачили, конечно. Скандал, возможно, был. А возможно, втихо-

молку вежливо объяснили, что фальшак, мол, неудобно, господин Квислинг, не на фраеров попали. Квислинг этот так обиделся, что от коммунизма отошел и стал выдающимся фашистом. Ну не правда ли, прелестная история? — размягченно спросил Юрнев. — Эстетически благоуханная, я бы сказал, — добавил он.

— Да-а, — протянул Рубин. — И долго так торговали?

— До тридцать шестого наверняка, — ответил Юрнев твердо. — Потому что в тридцать пятом в декабре от них к нам в Тверь приезжал представитель за старыми холстами. Пили мы с ним немного по вечерам, разговаривали, естественно. Мандат у него был всевластный, но он по совести, надо сказать, отбирал. Много десятков миллионов заработало на этом наше отечество.

Опять лицо Юрнева сморщилось в брезгливо-презрительной гримасе, уже знакомой Рубину.

— Вообще, батенька, если начать разбираться, на чем все это стоит, кроме крови и костей, то столько гнуси вылезет!

Юрнев помолчал насупленно и, вдруг спросив: — Вопросы есть? — обмяк и рассмеялся благодушно.

— Вы о чем? — спросил Рубин, удивляясь резкому перепаду настроения старика.

— Я набит воспоминаниями, как помойка — мусором, а ассоциации мои совершенно патологические, — пояснил Юрнев. — Когда меня взяли и осудили, я короткое время в тюрьме, естественно, сидел. А в соседней со мной камере находился очень авторитетный среди этой братии вор. Пахан, одним словом. Этот институт иерархии налажен был у них не хуже, чем в Кремле в ту же пору. Называли панибратски его все — Митяй, но почтением он пользовался настоящим. Все вопросы ихние правовые и моральные он решал по вечерам у своей решетки. Через всю тюрьму неслись указы спросить у Митяя — он ссоры мирил, споры улаживал, очень быстро и очень четко. Сразу и категорически. Ну точно, как в Кремле. А к ночи поутихли все крики, и вдруг в этой тишине Митяй громко и как-то очень задушевно спросил в пространство: вопросы есть? Я тогда так смеялся, сокамерники думали, что я от горя с ума сошел. Так есть вопросы?

Юрнев вдруг тяжело уронил голову и стал клониться туловищем вниз и вперед. Тут же выпрямился

резко, мутные невидящие глаза скользнули по Рубину, и он стал подниматься, наощупь перехватываясь за стол. Пошатнулся, снова вывернулся, неуклюже дернувшись длинным костлявым телом, и неожиданно ловко, привычно лег на кровать. Глаза его были теперь закрыты, губы словно исчезли, он дышал хрипло и учащенно широко раскрытым ртом. Рубин вскочил в растерянности, не зная, куда кидаться и как помочь.

— Сергей Николаевич, вам дать что-нибудь? — негромко позвал он. — Воды? Сердечное что-нибудь? Сбежать в аптеку?

Несколько секунд висела тишина, разрываемая сильным клокочущим дыханием. Потом Юренев, не открывая глаз, с усилием сказал:

— Извините, голубчик. Это бывает у меня. Извините. Мне просто надо полежать.

Он помолчал, собираясь с силами:

— И побыть одному. Простите великодушно. Когда вы едете?

— Хотел завтра, — сказал Рубин. — Запросто могу остаться. Мне сейчас уйти или пока посидеть? Врача не надо?

— Ничего не надо, — досадливо сказал Юренев, не открывая глаз. — Уезжайте спокойно. Будет время — черкните пару слов. Я большой охотник до писем. И появляйтесь. Что-нибудь еще обсудим.

— Весной приеду обязательно, — сказал Рубин и был искренне уверен, что приедет. — И напишу, — твердо пообещал он. И был искренне уверен, что напишет. Чувство невероятной близости к этому еще вчера не знакомому старику, чувство родственности, радость обретения необходимого для полноценной жизни человека — разрывали его нежностью и готовностью на что угодно, чтобы немедленно помочь.

— И замечательно, — вяло сказал Юренев. — Счастливого вам пути, — и незряче протянул обе руки. Перегнувшись через угол стола, Рубин крепко сжал слабые длиннопалые кисти и поторопился уйти.

Он еще забежал к познакомившей их женщине, но она реагировала спокойно: так уже бывало не раз, в эти часы Юренев никого не терпит рядом и выкарабкивается сам. Это что-то с мозговым кровоснабжением, сказала она. Посмотрела на Рубина прямо и жестко, и очень буднично добавила:

— Так что однажды рядом никого не будет. Ну, счастливо вам доехать.

И встала, чтобы сухо попрощаться.

И конечно, Рубин завертелся в суете и не написал ни одного письма, хотя много раз собирался, сочинял шутовское начало и уже вот-вот садился писать. И не выбрался приехать весной, ибо не было ни времени, ни денег.

А спустя какое-то время он узнал, что умер Юренев — тихо, но в больнице, куда успели его доставить, чтобы попусту и бессильно помельтешиться вокруг.

* * *

День воспоминаний выходил сегодня у Рубина, и никуда от них деться не удавалось.

Началось с утра, когда встретились на Пушкинской с приятелем — тому хотелось пожаловаться Рубину на жизнь и жену. Хоть давно уже были они с ней чужие люди, но уйти ему она не давала, угрожая каждый раз самоубийством и устраивая дикие сцены, когда он собирал рубашки, надеясь расстаться по-хорошему. Чем Рубин мог ему помочь, приятель не знал, тянуло выговориться, вот и позвонил.

Они шли по Страстному бульвару. Приятель бубнил о своих горестях, ничего путного Рубин посоветовать не мог, однако слушал покорно и привычно унылое бессмысленное бормотание.

Кончился Страстной бульвар, пошел Петровский.

Именно здесь неподалеку, вдруг вспомнил Рубин, был когда-то Дом крестьянина, устроенный в помещении бывшего ресторана «Эрмитаж», описанного еще Гиляровским. В тридцать первом или в тридцать втором году сюда хлынули тысячи крестьян. Это были исконные российские ходоки, ищущие правды, справедливости и защиты. Они приехали рассказать кому-нибудь из вождей о кошмаре, творящемся в их деревнях и селах, они верили, что это случайность, недоразумение, недобросовестность и перехлесты власти на местах. Что это именно отсюда, сверху затеяно безжалостно и планомерно, они себе представить не могли. И, как когда-то шли к царю, приехали они теперь сюда, надеясь и уповая на бессильного, убогого, никчемного и запуганного Калинина. Дом крестьянина, естественно, не вмещал эти многосотенные толпы нищих, голодных

и растерянных людей, и по всему Петровскому бульвару тогда раскинулся огромный табор обреченных представителей обреченного крестьянства. Их не рисовали художники, их не принимали паркомы, их даже не трогала растерявшаяся без инструкций милиция. Они сидели, ходили, лежали по всему Петровскому бульвару, отчасти захватывая Неглинку. Здесь были мужики и бабы, девушки и парни, многие приехали с детьми. У них были только тощие узелки — они не думали, что надолго, а ни с чем возвращаться не хотелось. Никто не знал, что они ели. К вечеру и утром это скопище немытых людей в износившейся одежде и с помятыми лицами становилось похожим (Рубин вычитал этот образ в воспоминаниях очевидца) — на гигантское лежбище измученных тюленей, истрепавшихся на беспощадно губительной суше. Еще счастье, меланхолически заметил автор воспоминаний, что на Трубной площади уже была построена к тому времени большая общественная уборная. Все лето и часть осени длился наплыв — а скорее всего, просто менялся состав этих неотличимых друг от друга делегатов крестьянской России. А потом они исчезли — в одну ночь — значит милиция получила, наконец, указание.

А пока эта рваная изможденная толпа российских земледельцев жила на бульваре, никакой общественный рупор о них даже не занулся. А прохожие обходили стороной или брезгливо ускоряли шаг, не вглядываясь в этих людей, да и не особенно задумываясь, кто они. И спокойно продолжали жить. И только много-много лет спустя стало выясняться, что это были представители, посланцы тех по крайней мере десяти миллионов, что погибли в результате коллективизации почти сразу. А цифры полные — кто посчитает теперь?

А на стройках индустрии вырастали такие же таборы, и о них взхлеб кричали газеты, прославляя энтузиазм пробудившихся крестьянских масс. Только это были те же самые, снявшиеся от голода с мест, выдернутые из привычного уклада, выкорчеванные с корнями хозяева и кормильцы страны. Постепенно строили они бараки, ели пшеничную кашу, запивая ее водой, и ошалело строили, строили, строили... Здесь был хоть заработок, можно было спастись. Гибли от болезней, старились намного раньше срока, воспринимали время как стихию, вдруг обрушившуюся на них столь же сокрушительно и внезапно, как дикие татаро-монголы

когда-то. Надеялись на вековечное «авось», утешали жен и друг друга тем, что в гражданскую и разруху после нее было не в пример тяжелей. Отсюда же уходили в лагерь, однажды попавшись на том, что похитили на стройке империи что-нибудь нехитрое для своего барачного хозяйства. (Знаменитый закон «семь восьмых» от седьмого августа тридцать второго года появился именно тогда, и сотни тысяч пошли по нему на зоны — государству было уже что охранять от собственных граждан, хозяев этой новой жизни, да и в лагерях требовались новые рабы). А оставшиеся строили, строили, строили... И ушедшие на зону делали то же самое. Империя воздвигала фундамент. Миллионами легли в него крестьяне.

Рубин подумал: ведь наверняка и Николай Бруни за то лето прошел хоть раз по Петровскому бульвару, а знал об этих толпах — без сомнения. Что он чувствовал тогда — боль за них? Свое бессилие? Пустое сострадание? Гнев? Теперь это уже не известно. Вся страна молчала, молчала ее столица, наверняка молчал и Николай Бруни. Да и что мог каждый в отдельности сделать или сказать? Система уже была свинчена безотказно, любой винтик ее оказывался бесполезен и безгласен. Так это и поросло молчанием, родящим полное покорство. А отсюда — и безразличие, и беспамяństwo, ибо иначе разорвалась бы и кровью изошла душа.

Они уже шли обратно, справа теперь было массивное белоколонное здание — бывший Английский клуб, а после — Екатерининская больница. Рубину недавно рассказали историю, которая здесь произошла в тридцать седьмом или восьмом году.

А началась история — в Саратове. Какого-то ученого-бактериолога срочно вызвали на доклад в Москву. Секретарша, принесшая телеграмму, вошла в лабораторию не вовремя: бактериолог сидел, переливая из сосуда в сосуд раствор с чумной вакциной. Он всасывал этот раствор через специальную стеклянную трубку, поднимаясь по которой, раствор уходил в боковое коленце трубки и переливался куда надо. От стука двери бактериолог вдохнул нерасчетливо сильно, и капля чумной вакцины попала ему в рот. Надеясь, что обойдется и пронесет, он выехал в Москву в тот день,

и наутро уже делал доклад на коллегии Наркомата здравоохранения.

Но не пронесло и не обошлось.

Вечером в день доклада (или назавтра) он почувствовал себя плохо и зашел к знакомому врачу, а этот грустный пожилой еврей адресовал его в Екатерининскую больницу, сказав, что боится утверждать, но сильно подозревает неладное. В больнице молодой врач быстро обследовал приезжего, с уверенностью подтвердил диагноз (да, настоящая чума!), растерянно покурил, сообразив, что тоже наверняка заразился, и с азартом обреченности принялся исполнять свой долг. Прямо в больнице в одной из срочно освобожденных комнат он соорудил палатку-бокс, в котором поместились они оба. Тем временем дирекция больницы оповестила — кого было оповещать, как не органы сыска? — и по всей Москве начался стремительный отлов тех, кто имел контакты с бактериологом, привезшим чуму. Малиновые петлицы действовали привычно и безукоризненно: в один день была арестована и помещена в карантин вся коллегия Наркомата здравоохранения, все, кто присутствовал на докладе, и даже служащие гостиницы, где остановился приезжий. Арестам никто не удивлялся. Первым умер молодой врач. Он, кстати, настолько был уверен в таком исходе, что еще в самом начале написал письмо жене и попросился. Второе его письмо адресовалось лично Сталину: врач просил вождя выпустить из лагеря его брата. Он уверен был, что ценой своей смерти спасет брата от гибели. Оба его письма были сожжены вместе с ним. Следующим умер бактериолог-источник. Больше жертв не было. А бактериолог уже только перед кончиной вспомнил о пожилom враче, к которому заходил, едва почувствовав недомогание. И того немедленно привезли. Узнав уже в больнице, в чем дело, он упросил дать ему телефонную трубку, обернутую марлей, и набрать номер домашнего телефона. То, что он сказал жене, запомнилось Рубину как притча, достойная быть записанной. Он был очень лаконичен, этот мудрый старик. Он радостно прокричал в трубку.

— Ция! Не волнуйся! Все в порядке, все замечательно! У меня просто чума!

Они уже снова подходили к Пушкинской площади.

— Бесполезно тебе рассказывать, — уныло и обиженно сказал приятель, — ты ничего не слышишь.

— Я все слышу, — ответил Рубин. — Только ничем не в силах помочь. И потом, знаешь ли, кто-то хорошо сказал: пока мы ругаем жизнь, она проходит. Не согласен?

— Мне иногда кажется, что уже прошла, — пробурчал приятель. — Ладно, больше не буду мочить твою жилетку слезами. Ты сейчас куда?

— В психушку, — бодро ответил Рубин. Приятель дико посмотрел на него и молча пожал руку.

Рубину и вправду надо было ехать в психушку. Знаменитую притом на весь мир — в институт судебной психиатрии имени Сербского.

Рубин пошел пешком, ибо следовало подготовиться к разговору. В редакции журнала, где шла его научно-популярная статья о новых исследованиях мозга, попросили добавить что-нибудь об отечественных новинках, а в институте Сербского интересные работы сделал физиолог Астангов. С ним Рубин созвонился, испросив короткий разговор. В лаборатории Астангова изучали электрическую активность мозга, воздействуя на него словами, которые были особо значимы для испытуемого. Поскольку в институте всегда было в достатке подследственных, проходивших психиатрическую экспертизу, — убийц на почве ревности, к примеру, — то для этих свежих вдовцов легко было подобрать набор существенных для них слов — о ревности, об измене, о коварстве. Слова эти появлялись перед их глазами на светящемся экране на время меньшее, чем нужно для прочтения и осознания, но Астангов убедительно доказал, что глаз все равно успеваает их прочесть, а мозг — среагировать. Здесь открывался простор для множества новых экспериментов, и Рубин хотел уточнить детали того, что уже было сделано и опубликовано. Пропуск ему Астангов обещал заказать заранее, до назначенного часа времени еще было в достатке.

Рубин брел неторопливо по Гоголевскому бульвару до Кропоткинской улицы и вверх по ней, курил, но думал не о статье своей, писанной для прокорма семьи, а о давнем приятеле. О Володе Гершуни, бывшем недавно на экспертизе в этом институте, а сейчас упрянтанном в карательную психушку. Уже вторично, ибо однажды пять лет (или шесть?) отсидел в таком заведении. Сейчас его схватили и осудили за участие в безобидном и слабом самиздатском журнале, послед-

нем из разгромленных в Москве вольных изданий. Кто-то попал в лагерь за этот журнал, кто-то отрекся и выступал публично, каясь и зарекаясь, чем заслужил прощение, кого-то до поры пощадили, а Володя Гершуни — уже немолодой, больной и непримиримый — был обречен на новый круг мучительных уколов, тюремной тесноты и духоты, побоев от надзирающих уголовников. Где он сейчас? Как он? Жив ли вообще? Выйдет ли в полном разуме, как был, или искалечит его психику зверская принудительная химия? Не каждый день Рубин его вспоминал, поскольку благодетельна человеческая память, дарующая забывчивость, а сейчас вот — думал неотступно.

У Володи Гершуни был редкостный талант: он сочинял фразы-перевертыши. От начала к концу и от конца к началу они читались одинаково. Аргентина манит негра. Город у рва мавру дорог. Цени в себе свинец. Нагло Бог оболган. Лезу на санузел. Хлебпиков такое тоже писал, это уникальный дар, чисто физическое чувство слова. Как-то назывались по-научному такие перевертыши — кажется, палиндромы. Были у Володи поражающе длинные перевертыши: гни, комсомол, лом о смокинг. На вид ангел, а лег на диван. Тю, у бревна маман вербуют. Были перевертыши, при приличных дамах нечитабельные. Мыли жопы пожилым. Я ебал, слабея. Была целая поэма о Стеньке Разине, где каждая строка была перевертышем, настоящее притом осмысленное произведение, уникальная филологическая ценность. Никто этого нигде не печатал, неизвестно даже, что сохранилось из написанного Володей Гершуни. На другие языки это было непереводимо в принципе, а в России, как всегда, — ни к чему. Каламбуры еще были удивительные. Это он вместо «исправительно-трудовые» сказал о лагерях — «истребительно-трудовые», что стало у Солженицына названием главы, а для всех — естественным, словно всегда существовавшим сочетанием. А бесчисленное количество других каламбуров, сочных и безупречно-содержательных, — их легко выдавал Володя в любом почти разговоре, — где они? Кто их записал? Часть из них давно уже стала безымянным фольклором. Сочинительство спасло Володю в первую отсидку, это он рассказывал сам. А спасет ли во вторую — Бог весть. И никто не выступает за него, не настаивает, не просят — он будто забыт. А спустя полвека такой же

идиот, как я сейчас, примется шляться по старикам, Володю знавшим, и старательно выпрашивать их и просить вспомнить шутки и каламбуры Гершуни, запишет любую чушь. И удивляться станет, что не хранили бережно его работы и не ценили современники, хорошо знакомые с ним. Так же, как о Бруни я сейчас по капле собираю. Фантастика какая-то. Скорее бред. Чисто российского свойства и духа.

Вот и переулочек Кропоткинский. Уже давным-давно тут не был.

Рубин остановился, оцепенев. Отлично помнил он, что раньше желтый каменный забор института сильно не доходил до тротуара. Кажется, даже палисадник небольшой перед ним был. Теперь здесь высилась вплотную к тротуару массивная высокая стена из серых плотно пригнанных больших брусков-блоков, вроде ограды сверхсекретных почтовых ящичков, с мухоморской скоростью выросших в Москве за последние два десятилетия. Что-то знакомое напомнил Рубину этот серый камень и сама кладка. Он остановился возле массивных въездных ворот в этой стене, перешел дорогу, чтобы взглянуть на расстоянии, закурил — и мгновенно вспомнил. Просто из точно такого же внушительного камня было сложено новое здание Комитета Государственной Безопасности на Лубянке. Ай да шефы, удружили институту, подумал Рубин, вот она где помощь и смычка, кооперация науки с идеологией, дружба двух державных цехов.

Предъявив паспорт, он прошел в двери проходной и миновал вертушку военизированной охраны — еще одна новинка в некогда вполне гражданском институте. Слева и справа две высоченные современные башни — стекло и бетон, новые исследовательские корпуса — знаменовали собой мощные материальные поступления для стимуляции научного поиска. Рубину надо было в правую, как предупредил Астангов. На дворе в углу — между новой стеной и таким смешным теперь и милым желтым каменным забором — ютилась еще и милицейская будка. В роскошном холле нового здания из-за столика дежурного вахтера поднялся среднего роста и средней внешности пенсионер с мятым лицом и цепкими глазами недавнего вертухая или топтуна — цикаких сомнений не оставляла былая профессия вежливого старикана. О посетителе вахтера предупредили. Пожалуйте, вам на четвертый этаж.

Нажимая кнопку, Рубин не заметил, что четвертых этажей два: четвертый просто и четвертый «А». И вознагражден был острым впечатлением — сугубо, впрочем, личного характера, других бы эта мелочь не задела.

В маленьком холле, куда выпустил его лифт, был стол с пепельницей для курящих сотрудников, уютно стояли кресла вокруг него, а на стене — глядя в пространство коридора — висел большой портрет Ахматовой. Подписной чей-то, красивый цветной оттиск, любовно забранный под стекло и в рамку. Что ж, подумал Рубин после первой оторопи, тут работают обычные юноши и девушки, мужчины и женщины, они закончили институты, они знают и любят поэзию, они не монстры, а живые люди, они изучают природу человека и искренне хотят помочь больным. А на другом этаже висит, возможно, столь же прекрасный портрет Мандельштама, который в свое время (додумайся наука раньше до химических смиренных рубашек) запросто бы здесь оказался. И еще тут есть наверняка старики, которые в пятидесятые годы могли запросто Ахматову и Зощенко здесь успокоить своей химией и погасить с гарантией, а сейчас прекрасно помнят Бродского, совсем недавно (всего лет двадцать назад) тут побывавшего. Тогда еще не лечили они, по счастью, только экспертизой занимались. В следующем поколении уже повесят здесь портрет Бродского, а физики в своих институтах — портреты Сахарова и Орлова. Как стихия свирепеет внезапно, так и в отлив она идет, утолясь, и человек пользуется этим и еще гордится, что он по-прежнему человек, и радуется, что не от него стихия зависит. А служить ей продолжает — столь же самозабвенно и старательно.

Так думал Рубин сидя в удобном кресле на четвертом этаже клиники Сербского. И о рабстве, и о блядстве, и о цинизме. И о том, что человек, действительно любящий Ахматову, здесь никак не должен был вешать ее портрет, а значит и любовь его — потребительская и пустая, от моды. А будь иным этот поклонник поэзии — он тогда сам бы здесь работать не мог. Или, быть может, искренне не понимает до сих пор, куда попал. И всюду есть прекрасные и чистые молодые люди, потому что больше им работать — негде, негде воплощать свои незаурядные таланты исследователей тайн мироздания. Ведь не в сапожники же им идти.

И все мы так. До единого человека, включая вас, чувствительный мыслитель.

С этим Рубин докурил и встал, пора было идти на правильный четвертый этаж (подказала пробежавшая мимо девчушка). И с весьма взъерошенной душой вошел Рубин в кабинет маститого ученого.

Доктор медицинских наук Астангов был высок, вальяжен, улыбчив и приветлив. На столе его лежали аккуратной стопкой иностранные научные журналы в роскошных ярких обложках, на специальных деревянных стойках висели прикрепленные листы ватмана со схемами и кривыми каких-то опытов — хоть сейчас снимай тут кино о славных буднях неустанных естествоиспытателей.

Испрошенные гостем полчаса прошли легко и с обоюдной симпатией. Даже некий всплыл смешной исследовательский казус, изюминка для популярной статьи. Один убийца-ревнивец никак не реагировал (в отличие от остальных коллег по рукотворному вдовству) на слово «любовник», чем нарушал статистику экспериментов. С ним поговорили осторожно и вдумчиво, и предъявляемое слово пришлось сменить. Ибо его мышление оказалось столь конкретно, что он реагировал лишь на слово «шофер» — такова была профессия мужчины, с которым изменяла ему жена.

Посмеялись. Разговор подходил к концу.

— А скажите, пожалуйста, — спросил Рубин, — если вы еще располагаете временем, конечно, — нельзя ли ваши эксперименты провести под чуть иным углом?

Астангов доброжелательно и выжидающе смотрел на него, всем лицом выражая щедрую готовность тратить время дальше и соответствовать.

— Я имею в виду вот что, — тянул Рубин, вслушиваясь в шершавую тоску, так и не улегшуюся в нем после курения возле портрета. — Вот вы получаете реакцию на значимое для человека слово, предъявляя его среди слов нейтральных, чувственно никак не окрашенных для испытуемого...

Астангов ободряюще кивнул.

— А если предъявить набор слов не безразличных, но значимых по-разному и из разных жизненных ситуаций, — нельзя ли будет в этом винегрете уловить по реакции человека, каковы его чувства и отношение к разным понятиям... Я невнятицу несу, простите, но слова-стимулы должны обозначать целые области.

О свободе, о любви, о предательстве. Будет он на что-то реагировать выборочно и сильнее? Так что, если будет составлено из этих впечатляющих слов, нельзя ли будет по нему что-то сказать о человеке?

— Понимаю, кажется, понимаю, — Астангов снисходительно усмехнулся. — Только надо тогда найти испытуемых, о которых мы будем точно знать заранее нечто определенное — как мы знаем об этих вдовах-убийцах. Мы должны будем точно знать, какие чувства и страсти кипят в это время в наших испытуемых — вы, кстати, оговариваетесь часто и называете их подопытными, а подопытные — это кролики могут быть, но не люди.

Рубину хотелось возразить, что в этих стенах его слова оговоркой не звучат, но он сдержался.

— Вот я сейчас, к примеру, — сказал он медленно, — у вас на соседнем этаже наткнулся на портрет Ахматовой и вспомнил, как сидел у вас поэт Бродский. Я в те годы с ним дружил. Смутность моя душевная от этих мыслей вам, конечно, понятна?

Астангов с той же приветливой полуулыбкой продолжал смотреть на Рубина, только сейчас она застыла чуть, и яркий светлячок мелькнул у него в глазах. И исчез.

— Это не зафиксируешь, — с сожалением ответил он. — Тут неизвестно, что ловить. У нас когда-то делал подобные опыты один сотрудник, очень способный человек. Но потом он их забросил и ушел из института вообще. Да вы наверняка ведь знаете многих моих коллег, если писали о нашей области. Фальк — вам знакомо это имя? Докторскую уже закончил, исследователь Божьей милостью. Все бросил и ушел.

— Слышал, — подтвердил Рубин. — Знаю. Я многих ваших коллег знаю.

— А Фальк почему от нас ушел, тоже знаете? — неназойливо спросил Астангов.

— Знаю: из чистоплюйства и брезгливости, — быстро ответил Рубин. Отчего-то этот скользкий поворот разговора успокаивал его, словно почесывал в душе болезненное место.

— Полагаете, что он был прав? — доверительно спросил Астангов.

— Не возьмусь судить, — пожал плечами Рубин, вдруг соображая, как нелепа их беседа в этих стенах.

Наплевать, подумал он. — Но в чем-то я его понимаю, если честно сказать.

— Вопиющей глупостью это было, — настойчиво и убедительно сказал Астангов, — кому от этого вред и польза? Прежде всего, тут очевидный вред больным, поскольку был он превосходный диагност. Самому себе огромный урон, ибо лишился возможности работать на лучших в мире приборах: японских, американских, западногерманских. Нас ведь не стесняют в валютной аппаратуре, как вы догадываетесь. И науке вред, ибо сбежал от нее, а был талантлив по-настоящему, экспериментатор по самой природе своей. И идей фонтаны били. До сих пор у нас многие на его идеях работают. А что нашел взамен? А ведь наука без него обойдется: если не он, то другие — медленней или быстрее — а сделают.

По запальчивости хозяина кабинета видно было и понятно, как оскорбительно задел его вольный уход Фалька.

— А вы знаете, что с ним было потом? — возбужденно спросил Астангов.

— Да, в лагере сидел, — ответил Рубин очень буднично.

— Верно, — Астангов навалился широкой грудью на массивный стол, так сильно перегибаясь к Рубину, словно самым движением этим хотел его убедить. — Весь наш институт, всю психиатрию нашу объявил карательной — разве это не клевета?

— Вы хотите сказать, что мало ему дали за это мнение? — непонятливо спросил Рубин.

Астангов легко откинулся на спинку кресла.

— Нет, ни в коем случае, — сказал он чуть обидчиво, даже губы по-детски оттопырив, так расстроился от подозрения в кровожадности. — Ни в коем случае. Просто не следует огульно оскорблять всю науку и всех, кто ею занимается, за деяния нескольких политиков от науки.

— Но ведь он, кажется, и обвинял только их? — осторожно спросил Рубин. — Я, признаться, не очень осведомлен. Там какие-то конкретные фамилии были, кажется.

— Нет, еще всех нас в молчании обвинял, в попустительстве и потакании, то есть в негласном соучастии с преступниками от медицины, — аккурратно

произнес Астангов, и слышно было, что это — пауза, а не просто близко к тексту.

Рубин секунды три помолчал. Да и сказать ему по сути было нечего. Сколько раз уже участвовал он в таких разговорах — с физиками, биологами, математиками... Каждый соглашался, что кошмар творится в его отрасли, работающей на убийство и войну, однако тут же каждый спешно и подробно уверял, что чист от скверны его личный интеллектуальный подвал, где он делает чистую науку, служа целям абстрактного познания. Наиболее честные просто пожимали плечами: что делать — мне там интересно, и ничем иным я заниматься в этой жизни не могу. Время. Призвание. Судьба.

— Да, наверно, он преувеличил, — нехотя сказал, наконец, Рубин. — Только уже дети наши, даже внуки достовернее решат, чья была правота. И моральная, и интеллектуальная. Если эти две правоты вообще разделимы, конечно. Вы не согласны?

— Согласен, — вяло откликнулся Астангов, явно тоже теряя интерес к разговору. Он жалел, наверно, что вообще поддержал эту тему в своих стенах, достаточно зловещих. — Заходите при случае, побеседуем, всегда со свежим человеком интересно.

И крепко пожал Рубину руку, проводив до двери кабинета — снова статный, преуспевающий, значительный.

* * *

Вечером того же дня Рубин сидел у Фалька, не терпелось обсудить дневной разговор. Лысый и шустрый Фальк был, как всегда, насмешливо весел. Рубин его ни разу не видел тоскливым или понурым — Фальк признался ему как-то, что знает часы и сутки тяжелейшей депрессии, но в такие дни просто не видится ни с кем, выключает телефон и отсиживается за чаем и книгой, пока не приходит в норму. Фальк единственное сетовал порою вслух: что непростительно ленив и разбросан.

Рубин его как-то в полушутку спросил, что бы он делал, не будь необходимости бегать по больным и кормить семью дочери.

— Был бы негоциантом, — незамедлительно ответил Фальк, — только не в пошлом смысле этого понятия, а от слов нега и гиацинт.

Рубин рассмеялся и больше вопросов не задавал. Четыре года в лагере (они знакомы были до, но подружались после) только укрепили, как казалось Рубину, жизнерадостность и оптимизм Фалька. В речи его после лагеря появились новые слова, о происхождении которых догадаться было легко, так они пахли баракком и колючей проволокой. Более никаких перемен Рубин не обнаружил. Шуткой был пресечен как-то нетактичный вопрос Рубина, не продолжает ли Фальк свои игры с разглашением правды: их, Илья, ответил Фальк, власти сделали две ошибки — первую, что меня посадили, вторую — что выпустили. И о вопросе своем Рубин тут же пожалел, сообразив, что не случайно он уже не видит проходящих к Фальку людей и не слышит телефонных разговоров. И еще: в доме исчезли опасные книги. Раньше целая библиотека, три или четыре полки книг, стояла открыто, и Фальк их всем раздавал, аккуратно записывая должников в толстую общую тетрадь, где каким-то невообразимым шрифтом отмечал выданные книги и журналы.

О тюрьме и лагере Фальк рассказывал с охотой, словно совершил завидную поездку, которая очень освежила его. Время от времени он сладострастно козырял какой-нибудь тюремной лаконичной мудростью. Рубин вообще побаивался его склонности точно формулировать, которая казалась бы позерством у любого, кроме Фалька, всегда распахнутого и естественного до нельзя. Что очень подкупало, очевидно, его больных, открывающихся тоже в ответ на непосредственность и простоту врача, ничуть не притворявшегося жрецом. Он, кстати, сам осознавал благотворность такой открытости, ибо как-то сказал Рубину в порыве чуть наивного хвастовства:

— Я не настолько глуп, чтобы прикидываться мудрецом и выглядеть от этого идиотом.

Сейчас Фальк слушал, чуть склонив и повернув маленькую лысую голову (недослышивал после лагеря левым ухом). Рубин излагал ему, как побывал в его родном институте.

— Смотрите, как ловко разложились по полочкам потери от вашего чистоплюйства, — говорил он, стараясь уловить реакцию Фалька. — Больные в институте потеряли тонкого диагноста, молодые врачи — наставника, вы утратили счастье работать на лучшей современной аппаратуре, проверяя свои бесчисленные

идеи, а наука лишилась перспективного исследователя. Что вы на это скажете? Убедительно изложил Астангов?

— Очень, — подтвердил Фальк, поднимая на Рубина смеющиеся живые глаза. — Очень, очень убедительно. Как это я все глупо променял, ума не приложу. У нас на зоне был один квартирный вор по фамилии Райзахер, так ему за эту фамилию кличку дали — Меняла. Вот и я такой же неудачливый. Только про душу наш Астангов позабыл, поскольку ненаучная субстанция. А наука, она, конечно же, без меня прекрасно обойдется и достигнет небывалых высот. Не я, так другие сделают. Это, кстати, замечательная психологическая защита, простите, что перескакиваю: все равно если не я, так другие. И для воровства удобная, и для пакости любой. Астангов бедный путает сохранность души и душевное равновесие. Ради собственного душевного покоя он вам это и наплел, я вроде как живой укор ему. Пока живой. Очень, очень интересно это все. Он вообще крупный ученый. Большому кораблю, туда ему и дорога. А вы умны, сыскали наилучшее место для изложения своих переживаний. Лох и фраер вы, батенька, по-нашему говоря.

— Да наплевать, — отмахнулся Рубин. — Зато поговорили интересно.

— Раскованная вы личность, — ласково заметил Фальк. — В наших условиях это почти болезнь. Знаете, однажды в Ленинграде на банкете после большого симпозиума оказался я неподалеку от двух признанных остроумцев: нашего старенького профессора Авербуха, запуганного еще с сороковых годов, и американца Клайна. Весь вечер они напропалую состязались, я попробовал принять участие, меня они мигом заклевали, а потом я провожал Клайна в гостиницу. Он восхищался Авербухом и между прочим сказал мне: только он у вас не очень здоровый, вывихнутый немногo, очень часто говорит не то, что думает. А утром я встречаю Авербуха. Милый мой, говорит он мне, ваш Клайн — просто прелесть какой умница, только ведь заметно свихнувшийся: что думает, то и говорит. Правда же, забавная иллюстрация?

— Это надо будет мне записать, — обрадовался Рубин. — Жалко, что не посидел у этого Астангова подольше. Он ведь столько, наверно, всякого знает, там торча. И думает, главное, у вас ученых это редкость.

— Думает, — согласился Фальк, и что-то у него в глазах промелькнуло хищное. — Очень думает. Вы не обращали внимание, как научная интеллигенция, особенно преуспевшая, живет в непрестанных толках о нравственности: что порядочно, а что нет, что морально, а что просто безвыходно и тому подобное. Отчего эти вопросы их так сильно волнуют? Как нам обозначить их этическую озабоченность? Мне это давно хотелось сформулировать. С одной стороны — они рабы своих недюжинных способностей, которые требуют утоления, а с другой — рабы империи, которой они всей своей жизнью исправно служат, хотя и того или не хотят. Даже своим молчанием служат, не говоря уж о научном вкладе. Отсюда смутное у всех, страшное и неотвязное ощущение: вроде ты вполне добропорядочный, вполне нравственный ученый, а тебя непрерывно и нагло употребляют. Знаете, как я бы это смутное страдание назвал? Комплекс неполноценности.

Рубин захохотал, но Фальк недовольно остановил его, принявшись пояснять (извините за сбивчивость, Илья, еще не додумал), что это настоящее клиническое понятие, что на этой почве может возникнуть множество неврозов и что психотерапевтам полезно знать этот комплекс, имея дело с элитарными пациентами. Несмотря на полуприличную терминологию. Этим же, кстати, комплексом сильно окрашены и мемуары о нашем времени. Пишутся они с подспудным, неосознанным желанием и побуждением себя оправдать, и собственное соучастие во зле хоть как-то обелить, ослабить чувство вины. Вы понимаете?

Рубин понимал. Вроде как глухой тургеневский Герасим, утопив Муму, сел писать мемуары, жалуясь на свою безвыходность и сумасбродство барыни, утешая и выгораживая себя.

— И все-таки жаль, что я с Астанговым не поговорил подольше, что-нибудь и выспросил бы у него мимоходом, — снова посетовал вслух Рубин. — Даже не знаю, каким образом.

— Один мой пациент-шизофреник, — вкрадчиво заметил Фальк, — дня три назад разработал победоносный план Бородинской битвы.

— А мой сосед по двору, алкоголик, — сказал Рубин мстительно, — по пьянке, чтобы стимул был ползти домой, свой ботинок на три метра вперед закидывает.

— Квиты, — улыбнулся Фальк. — Излагайте свою проблему, она вас явно точит.

— Излагать мне, собственно, нечего. Я сижу каждый день, как проклятый, с утра сижу...

— Рыцарь сидячего образа, — не утерпел Фальк.

— И не знаю, как делать книжку, — Рубин, договаривая фразу, понимал, что жаловаться грешно и глупо, но уж больно хорошо слушал Фальк, становилось легче от его внимания.

— В смысле содержания книжки или возможности ее напечатать? — спросил Фальк.

— И того, и другого, — пожал плечами Рубин.

Фальк вдруг жизнерадостно засмеялся. Рубин недоуменно поднял брови.

— Просто удивительная в России цензура: хаять и поносить устройство Вселенной можно запросто, а мелкую гниду из начальства прошлых лет — нельзя.

— Потому что за гнидой вся система проступает, — уныло и бессмысленно объяснил Рубин.

— Да, кое-где не изжиты отдельные случаи повсеместного произвола, повального воровства и всеобщего разложения, — в тон ему поддакнул Фальк.

— Вам бы все смеяться, — огрызнулся Рубин. — Так себя ведут климактерические плейбои.

— Грубо, но не глупо, — Фальк обрадовался, что Рубин чуть расшевелился. — Теперь с вами можно разговаривать. А то хиреете, как орхидея на суглинке. Может быть, вы просто лентяй?

— И это, — согласился Рубин.

— А с утра если хорошо поработаешь, — мечтательно протянул Фальк, — то чувствуешь себя к исходу дня, как любовники — к исходу ночи.

— Можно я закурю? — спросил Рубин. — Правда, такое ощущение мерзкое, что жизнь зря проходит.

Фальк в ответ продекламировал Рубину его же стишок:

— «С утра за письменным столом гляжу на белые листочки. А вот и вечер за окном. Ни дня, ни строчки».

Рубин польщенно хмыкнул.

— По-моему, вы путаете плодотворность жизни с ее продуктивностью, — осторожно сказал Фальк.

— Какой перл психотерапии! — отказался Рубин от утешения, вовсе не за этим пришел он, хотя уныние и впрямь куда-то схлынуло. Он действительно не знал, как продолжать книгу. Выяснив основные вехи жизни

Бруни, встал он перед необходимостью сочинять, но воображение, необходимое для вымысла или хотя бы дѣмысла, отсутствовало у него или атрофировалось от неупотребления.

— Я не сочинитель, понимаете, я пересказчик, излагатель, я... — замялся он, объясняя Фальку свою досаду.

— Вы бормотург, — подсказал Фальк.

— Вот-вот! — обрадовался Рубин.

— Так бормочите на здоровье все истории, которые вам кажутся уместными, зачем вам непременно с болью и натужно втискиваться в известные вам жанры, чтобы непременно быть как все? Я этого искренне не понимаю, — чуть раздраженно сказал Фальк, забыв о функции врачавателя. — Нет, вы не свободный еще человек, вы не готовы, вы все еще тот вялый литератор.

— Какой вялый литератор? — ошеломленно спросил Рубин. Он от Фалька не ожидал раздражения, скорее какой-то необычной идеи ожидал.

— Я был уверен, что вам рассказывал, — оживился Фальк. — Эту историю мне повестнул один старик, сидевший где-то под Челябинском. В войну это было, на самом-самом ее исходе. Лагерное их начальство решило взбодрить двух подопечных, но не прибавкой, разумеется, еды в котел, а разрешением создать театр. Может быть, самим хотелось как-нибудь развлечься. А пьесу для театра заказали зеку, ошивался где-то на подсобных работах один придурок голубых кровей, бывший литератор, вялый и снулый человечек. Дернули его и поручили творить. Непременно чтобы про войну, но из французской жизни. Своя им уже тоже, видать, к горлу подступала. А он часто уголовникам в бараке романы тискал, и начальство знало через стукачей, что очень завлекательно выходило у него про западную развратную канитель. Вот ему такую же и заказали теперь пьесу. Чтобы, значит, про роскошную растленность с романтическим надрывом, но на фоне борьбы с фашистами. Очень он обрадовался такому заказу, сел в отведенную ему каморку, воспарил духом и быстро залудил роскошный боевик. Было там все как надо. Прелестная француженка Мадлен дурила немцам головы, как хотела, все у них в штабе вовремя узнавала и сообщала через своего любимого Жака партизанским связным Раулю и Мишелю. А еще по ходу дела там участвовали разные слои французского населения

из романов, что читал и гискал вора́м литератор: баронессы, виконты, графы, фрейлины и аббаты. Потому, что немецкие офицеры были падки на аристократов, как мухи на говно; в их салонах и дворцах Мадлен и охмуряла немцев, как последних фраеров. Партизанам оставалось только все подряд взрывать, что фашисты очень уморительно переживали под жуткий хохот публики. Если к этому еще прибавить, что весь высший французский свет изъяснялся слегка по-уголовному, то есть легко и непринужденно по фене ботал, то вы поймете, каков был общий успех. Мат, наверно, чем-то заменялся, но таким же выпуклым и сочным эквивалентом, этого на фене хватает. Да, вот еще что важно для завязки нашего сюжета в тугой узел: Мадлен была простая девушка, дочь портового рабочего, разумеется, а ее любимый Жак был графского рода, вследствие чего она из пролетарской гордости отвечала «нет» на его хамские домогательства, хотя сама сгорала от любви. А еще там был советский разведчик, предок и прообраз Штирлица, который обхождением и эрудицией покорял всех графинь и виконтесс, в то же время являясь заслуженным офицером вермахта, а также боевым наставником партизан, одновременно всюду пребывая. Словом, это было нечто высокое и настоящее, так что даже начальство и охрана из соседних лагерей приезжали эту пьесу посмотреть. На роль Мадлен сыскали какую-то девку из соседнего поселка, а виконтесс и графинь играли, по-моему, сами зеки, так что смеха были полные галифе. Вялый литератор необыкновенно расцвел и уже надеялся на досрочное освобождение. Но начальство вошло во вкус, и спустя несколько месяцев ему велели написать вторую пьесу. Чтобы те же в ней действовали герои, чтоб такое же было захватывающее идеологически выдержанное зрелище. Как говорят на зоне — те же яйца, только в профиль. Вялый литератор согласился, естественно, и сел воспарять духом. Но едва он заварил свой новый шедевр, как его дергает оперуполномоченный, то есть кум, говоря по-нашему, по-театральному.

Фальк с достоинством, как подобает зрелой Шехерезаде, прервал рассказ и неторопливо налил себе стакан компота из кастрюли, стоявшей на подоконнике. Взглядом предложил Рубину, но тот отказался, показав сигарету. Фальк усмехнулся, довольный лютой заинтересованностью гостя, и плавно продолжал:

— Дергает его к себе опер и спрашивает: ну, что, Шекспир ебаный, как идет твоя парашная пьеска? Вялый литератор ему почтительно излагает свой волнительный свежий замысел: дескать, Мадлен оказалась вовсе не дочкой докера, а подброшенным внебрачным ребенком одного загульного банкира, который ныне безутешно рыдает, ищет всюду свою дочь и обещает за нее половину банка. Тут берет его на крючок наш офицер, чтобы за наводку на дочь получить ключи от склада боеприпасов; ключи эти мудаки-гестаповцы хранят, как выясняется, у банкира. Так что в финале пьесы будет оглушительно взорван склад, и взрыв этот составит звуковой и световой фон для объятий Мадлен и Жака, потому что Мадлен теперь уже не профурсетка из низов и ей нечего кобениться перед этим аристократическим козлом.

Видя искреннее наслаждение Рубина, Фальк опять сделал перерыв. Возвратившись через две минуты, он для вдохновения продолжал, уже не садясь.

— Опер это выслушал, и ему не понравилось. А что искусство принадлежит народу, опер понимал буквально, ибо куда от опера мог деться этот чахлый зек. А народом все легавые чувствуют себя отродясь. Такая лабуда не пролезает, сказал опер, и не вешай мне лапшу на уши, я не фраер. У тебя выходит в этом разе, что все успехи французских партизан — от банкирских и дворянских выbledков, что идеологически неверно, а исторически — просто хуета. Давай иди и делай так, чтоб этот Жак оказался сыном какого-нибудь слесаря, зашедшего однажды во дворец, чтобы починить сортир, и поимевшего распутную графиню на кушетке в бальном зале. И тогда у тебя все концы сошьются, а также будет клизма всем капиталистам. Вялый литератор мекал что-то о законах жанра, но тут опер его спросил, не желает ли он в штрафной изолятор или барак усиленного режима с выводом на общие работы. Для освежения таланта, как выразился опер, чтоб не протух. И пошел наш вялый литератор заплетать сюжет как приказали. Только сел и воспарил — выдергивает его начальник культурно-воспитательной части...

— Не прерывайтесь, умоляю вас, — воскликнул Рубин. — А то запал пройдет, я знаю, не прерывайтесь!

— Пожалуйста, — со снисходительностью и артис-

тизмом ответил Фальк, выписав рукою в воздухе нечто загадочное и грациозное. — Продолжаю. — Что ж ты, сучий потрох, пишешь нам для второй серии? — спрашивает вялого литератора этот мастер идейной перековки, семь классов кое-как закончивший, а со второго курса техникума выгнанный, — такое у них обычно образование. Наш вялый литератор излагает ход сюжета, как надиктовал ему опер. Нет, не проканают твоя жидкая баланда, говорит ему начальник по культуре. Не годятся нам такие выебоны. Война идет к концу, гражданин маратель, нам пора задуматься о будущем, дорогой Укроп Помидорович. Так что вы эту любовь закрывайте, я вам нужный ход подскажу. Пусть эта ваша Мадлен окажется не дочкой докера, а потерянным ребенком того самого графа, чей сын Жак думал раньше, что любит ее как мужик бабу и старался опрокинуть где ни попадя. А любовь-то у него выходит — братская. А по-настоящему втюриться она должна в советского разведчика, и пускай они вместе начинают вращаться в высшем свете, подрывая основы капитализма и готовя победу ихней компартии на ближайших выборах. Я на этом варианте, гражданин писатель настаиваю категорически. А не то сгною в карцере, так что выбирайте добровольно. А хотите, пусть ваш Жак просто окажется педерастом, все равно французы — все педерасты, и его тогда исключат из партии за еблю с кем попало, а с исключенным из партии и любви не выйдет никакой, это даже французу ясно, так что я ваше воображение чересчур не стесняю. Идите и думайте. И пошел наш вялый литератор к себе в каптерку. И что он угадал сделал?

— Неужели повесился? — с искренним огорчением спросил Рубин.

— Я что-то там забыл, — ответил Фальк. — Еще его начальник производства вызывал. Насчет технических подробностей советовал. Вроде как послать двух баронесс и виконта с фрейлиной подсыпать песок в буксы немецких эшелонов.

— Повесился? — нетерпеливо спросил Рубин.

— Вот чего вы недооцениваете, милый Илья, так это перерождения души под влиянием настоящего творчества, — назидательно ответил Фальк. — Вялый литератор за это время человеком стал. Личностью. Он свою душу уважать начал и ценить, обрел он человеческое достоинство. Словом, ушел в побег. Уголовники

ему помогли. И с концами. Как в воду канул. Правда, поучительная история?

— Да-а, — протянул Рубин. — Прямо притча.

— Я к тому ведь вам ее и рассказал. Пишите, как Бог на душу положит. Не втискивайтесь сами в рамки. Не получится, значит, не судьба. Но зато каким вы воздухом будете весь год дышать! Свежим, недозволенным, свободным. Где-то, кстати, у Мандельштама об этом есть. Правда же?

— Вроде бы... — кивнул Рубин. — Что ж, спасибо вам, благодетель, спасибо.

— С благодетелей надо деньги брать, они ведь получают большее удовольствие, чем их жертвы, — великодушно ответил Фальк.

— Хорошо мне с вами, — сказал Рубин, поднимаясь с кресла. — Освежающе. Скоро опять приду.

— Я как читатель возлагаю на вас надежды, — вкрадчиво сказал Фальк. — Вам не тяжело?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Осенью тридцать четвертого года в Москву приехал французский летчик и конструктор Жан Пуантисс. Тогда много иностранцев посещало Страну Советов: кто работать (иностранцам консультантам платили щедро), кто посмотреть на первый в истории эксперимент, кто меняться опытом с коллегами. Жан Пуантисс был полон доброжелательства, доверия и восторга. Он приехал с женой и сыном. И жена, и сын полностью разделяли его восторг. Если что-нибудь у вас и впрямь получится, говорил Жан Пуантисс, по части равенства, свободы и справедливости, то весь мир пойдет по вашему пути, вам даже не надо будет затевать мировую революцию. Вы со мной, кажется не согласны, месье Николя?

Переводчик Николай Бруни вовсе не собирался охлаждать энтузиазм гостя — тот приехал на две недели, гостеприимство и приветливость русских коллег очаровали его, все он видел в приятной розовой дымке, вовсе ни к чему было портить ему настроение унылыми словами правды. Что изменится от этих слов? Ничего. Ни в стране, ни в слепоте этого замечательного специалиста по рулевому управлению и прочим узлам

самолетной оснастки. Каждый видит то, что хочет и может, незачем попусту омрачать настроение явно хорошему человеку. Инженер-конструктор Бруни, гид и переводчик при летчике-конструкторе Пуантиссе, был немногословен, деловит и приветлив. Он приглашал семью гостя к себе домой дважды или трижды, поил их водкой и чаем, играл им на рояле, (шумно восторгался Пуантисс, сам немного музыкант), но даже дома был сдержан и уклончив, отвечая на вопросы гостя. Зачем тому правда, если он ее не видит сам? В семье Бруни было очень худо с одеждой (когда-то Андрей Белый точно заметил: торжество материализма упразднило материю), и хозяева дома не отказались принять в подарок от гостя кое-какие лишние одежки его сына и жены, у Бруни было уже шестеро, так что сгодилось все. Приняли просто и со спокойным достоинством, ни показной гордыни, ни скрытой алчности не проявив, а у Жана Пуантисса вдруг покраснели и набрякли глаза: Мне стыдно, сказал он, жить во Франции в полном благополучии, когда такие святые люди, как вы, нуждаетесь в самом простом и необходимом, даже недоедаете, ютитесь в тесноте, но со святым упорством строите свое светлое будущее. Я преклоняюсь перед вашим энтузиазмом, добавил отважный летчик Пуантисс. Это был единственный раз, когда хозяин дома громко расхохотался, стеснительно прыснула его жена, но причину смеха оба решительно отказались объяснить. Простите нам невежливость эту, извинился Бруни, вспомнили из молодости нечто. Пуантисс внимательно глянул на него и больше вслух восторгов не проявлял, хотя остался в некотором недоумении.

Так что донос двух молодых сотрудников Бруни, что тот в беседах с французским летчиком поносил советскую власть — был клеветой. А донос такой был, это известно стало позже и случайно. Судя по духу времени, донесли сотрудники — бескорыстно.

Хотя у близких Бруни не было и в этом полной уверенности, ибо вскоре эти двое напечатали в специальном авиационном журнале какую-то статью, о которой все в самолетной лаборатории отзывались как о краже идей исчезнувшего Бруни. Если это было правдой, то случившееся вскоре — было возмездием, причем на сей раз Провидение не медлило, как обычно. Один из доносчиков погиб под трамваем, а второй по пьянке выбросился из окна и разбился в лепешку. Это

стремительно произошло, и у Анны Александровны был повод для горестного злорадства.

Но донос был не только о беседах с Жаном Пуантиссом. Сообщалось также о фразе Бруни, громко сказанной в курительном закутке их института второго декабря утром. Обсуждали убийство Кирова. Большинство отмалчивалось, храня скорбно-отсутствующий вид. А Бруни разговаривал с кем-то, и в момент, когда все разом смолкли, его негромко сказанные слова прозвучали неожиданно слышно:

— Теперь они свой страх зальют нашей кровью.

Тему никто не поддержал, закуток стремительно пустел, в урну летели недокуренные папиросы. Люди уже были грамотные в те годы, особенно после недавней институтской чистки, где били себя в грудь партийцы, не донесшие вовремя на друзей. Процедура этого коллективного унижения всем была печально известна: каялись, шельмовали себя и близких, выворачивали грязное белье, полностью теряли лицо от страха потерять партийный билет.

Сильнее многих прочих грехов были как раз умолчание и недогляд — потеря бдительности.

Бруни арестовали в ночь с восьмого на девятое декабря. Обе комнаты перерыли снизу доверху, ворошили даже постель маленькой дочери; бумаги унесли все. Бруни невозмутимо курил во время обыска, обнял всех детей по очереди и был очень спокоен уходя. Только хромал сильнее обычного: одна нога после аварии была короче другой на семь сантиметров; он носил специальный каблук и, когда не волновался, почти совсем не хромал.

И стало в России на свободе одним человеком меньше. Всего одним. И очень незаметным. И поэтому никто ничего не заметил. И поэтому, быть может, столькое со всеми случилось.

* * *

Несусветная мешанина заполняла блокноты Рубина. В ней тонули крохи сведений, что удалось ему собрать о Бруни. Вместе с тем Рубин ясно чувствовал, что все эти записи имеют явное и тесное отношение к жизни Бруни, делают закономерной его судьбу, очерчивают его личную трагедию канвой предопределенности и безвыходности. Все истории, слышанные Рубиным и записанные им, были о тюрьмах и лагерях два-

дцатых, тридцатых, сороковых и пятидесятих годов. Старики, с которыми Рубин встречался, из-за склеротических зигзагов памяти вдруг спотыкались посреди рассказа, молчали секунду, вспоминая, где остановились, и плавно переходили в другое десятилетие, к другой истории о других людях. Только снова это было неизменно о страхе, доносе, аресте, унижениях и смерти.

Рубин долго разговаривал со стариком, работавшим сначала в Центральном аэрогидродинамическом институте, где недолго служил Бруни, потом в МАИ — Московском авиационном институте. Да, он отлично помнил Николая Бруни — тихого и тихо-ироничного, очень сведущего и старательного человека. В обоих институтах было много тогда ярких людей, все они бредили авиацией, считали, что на свете нету ничего важнее и значительнее полетов, работали самозабвенно и увлеченно, сплошь и рядом прихватывая вечера и даже выходные дни. Бруни жил сначала где-то далеко за городом, отчего не задерживался вечером ввиду долгой дороги, а брал журналы для перевода с собой. После ему дали комнату или две неподалеку от института в бараке. Когда в институт приезжали иностранцы, переводчиком всегда бывал Бруни, четыремя владел он языками свободно. Все попытки иностранных коллег перейти на бытовые темы они тогда с гордостью и надменностью отклоняли, ибо неизменно и пошло им казалось говорить о быте, когда можно было обсудить самолеты. Да, да, именно такое было тогда время и настроение. А в институте, понемногу исчезали люди, самые заметные, способные и яркие, это пошло еще с конца двадцатых, но об этом тоже не разговаривали. Не могу вам объяснить — почему. Вот отец у меня, к примеру, — он сидел два года в Бутырках еще в двадцать втором. По подозрению в принадлежности к монархической организации, к заговору. Его взяли, быстро выяснилось, что ни в чем не повинен, а потом забыли о нем. И точно так же выпустили вдруг, он возвратился, как ни в чем не бывало. И на работе никто не удивился, восстановили — и все. А бывало даже, что виноват, а под честное слово выпускали. Вот с отцом сидел обаятельнейший человек, отец все время о нем после вспоминал: Игорь Ильинский. Нет, не артист, гораздо интересней. Бывший московский адвокат. Позвольте, мы ведь о другом о чем-то говорили? Нет,

пожалуйста, расскажу вам об Ильинском, если хотите. Он сидел за свою поэму о Марксе.

И Рубин азартно записал пересказ одного из первых самиздатских произведений в России. О том, как воскресший Маркс нелегально перешел границу, чтобы полюбоваться воплощением своих идей в одной отдельно взятой стране. Для начала его, естественно, раздели донага какие-то лихие люди, и он долго шел по свободной русской земле в одной бороде. После где-то раздобыл тулуп — то ли украл, включившись в общую борьбу с частной собственностью, то ли нашел оброненный кем-то, уносившим слишком много. И в тулупе этом добрал до бывшей усадьбы, где главной приметой нового быта был валявшийся кверху ножками рояль. Здесь пересказчик даже вспомнил отдельные строчки (это была поэма). О том, как сиротливо бродил в бурьяне еще не пойманный петух, недавний многих жен супруг. И еще: покрыто грязью все, навозом и называется совхозом. Тут на бородатого основоположника накинудись с объятиями местные власти, накормили его, одели, подобострастно именуя «товарищ Марксов», и поскорей отправили в столицу. В переполненном людьми вагоне Карл Маркс ехал, боязливо съезжившись, ибо вокруг висела в воздухе густая ругань в его адрес — бедолагу заочно поносили за то, что все это устроил именно он. Мнения попутчиков расходились: одни утверждали, что Маркс это придумал по жидовской злокозненности, другие настаивали, что обыкновенный немецкий шпион. В Москве он немедленно натывается на какой-то собственный памятник тех лет. Снова запомненные строки: «Стоит на площади без крова не то бульдог, не то корова». Маркс подошел поближе и с омерзением плюнул на свою окаменевшую славу. Случайный прохожий сперва испуганно шарахнулся от такого опасного святотатства, но увидев, что это не провокация, с чувством пожал Марксу руку, прошептал, что совершенно с ним согласен. Далее Маркс, естественно, попал на Лубянку, но оттуда его нехотя отпустили, и он уехал в какую-то деревню, чтоб отдохнуть и укрыться от позора. Снова старик вспомнил две строки: «то был медвежьего угла приют невежества и зла», а дальше шло столь густое перечисление деревенских кошмаров той поры, что рассказчик вдруг легко перешел на зеленое мыло, которое носил отцу в Бутырку для борьбы с мириадами насекомых. Целый зверсов-

хоз, сказал старик, клопов и вшей. А Ильинский? — напомнил Рубин. Выпустили под честное слово, что нигде не будет читать свою поэму, объяснил старик. Удивительные были времена! И уехал он (вроде бы) в Ясную Поляну, а судьба его дальнейшая неизвестна. Сгинул, добром такие не кончали, очень был способный человек.

Что-нибудь еще о Бруни тех лет, попросил Рубин. Был ли он общителен или замкнут? Читал ли кому-нибудь свои стихи? Известно ли было в институте, что он священник?

В блеклых склеротических глазах собеседника промелькнул какой-то отсвет воспоминания, словно дальняя одинокая искорка на мутном осеннем небе, и он сказал, что да, был однажды краткий разговор, он его запомнил из-за необычности идеи. Говорил ли это Бруни, он уже не может поручиться, ибо возможно — говорил другой инженер, тоже вскоре сгинувший незаметно и бесследно; однако Бруни присутствовал — и не он ли затеял разговор? А я в то время, сказал старик, был отъявленным и яростным комсомольцем, делал стенгазету и совсем иначе все воспринимал.

Обсуждали, вспоминал старик, подергивая головой, словно для стимуляции памяти, то чисто религиозное помешательство, что охватило страну. Говорили, точней, о светской, мирской разновидности такого помешательства. Но в повальной эпидемической форме. О резком разделении всего в мире на силы добра и зла, воплощающих свет и тьму. Абсолютное, беспримесное добро виделось в торжестве революции и всех ее лозунгов без исключения. И потому сторонники добра были заведомо вправе совершать любые деяния: казнить и миловать, разрушать и строить, отнимать и раздавать, возносить и низвергать, отменять и учреждать — сама причастность к добру предоставляла им мандат и индульгенцию. И по этой же причине к силам зла относилось все на свете, что мешало носителям добра. Зло меняло свои личины, изощрялось и изворачивалось, взывало к жалости, состраданию, человечности, милосердию, великодушию, сочувствию — но притворству этому не следовало внимать. Комиссары добра могли жечь, насиловать, притеснять; и даже малое сомнение в их правоте и праве — означало причастность такого человека к силам тьмы и праведную необходимость искоренить его. Безумие двуцветности постигло Россию.

Да, именно Бруни это говорил, сказал старик. А собеседник, старый спец, как их тогда называли, только детали вставлял, поддакивая описанию повального ослепления и бреда. Почему они меня не опасались, такое выбалтывая? Знаете, совсем не оттого, что я настолько был умен и порядочен. Нет, нет, склероз пока не съел меня целиком и я не собираюсь приукрашать себя тогдашнего. Запросто мог донести — тем более, что это не доносом тогда было, а обнаружением врага, то есть доблестью. Но видите ли, мне услышанное показалось правдой. Они слово «безумие» не употребляли, вот что важно, они говорили о сокрушительном господстве мифа во всеобщем русском сознании, только для них это был миф, а для меня ярчайшая реальность, и я свое высокое превосходство ощущал над их неверием. Вы меня понимаете?

Думаю, что да, честно ответил Рубин. Это ведь и вправду было нечто вроде угара, ослепления, почти повального гипноза, и кристально честные люди совершали искренне Бог знает что, сегодня страшно подумать. Отсюда же отчасти и пресловутый энтузиазм тех лет. Только неужели Бруни уже тогда все ясно понимал? Вы не задним ли числом сочиняете такой разговор?

— Клянусь вам, — сказал старик. И вдруг с горячностью добавил: — Век свободы не видать!

— Вы тоже сидели? — изумился Рубин.

— Обижаете, гражданин начальник, — ответил старик, — хуже я других, что ли? Но об этом в следующий раз, я очень устал с отвычки. Мало сейчас приходится разговаривать. Дайте мне денек отдохнуть.

А через день Рубин сидел на скамейке в хиллом скверике возле метро Новокузнецкая и старательно вспоминал, записывая, только что состоявшийся разговор. Ибо смысл и значение закорючек, наскоро занесенных им в блокнот, боялся по дороге забыть. Позавчерашний собеседник был сегодня совершенно иным, нежели при первом знакомстве. Даже склеротическая мутность его глаз куда-то исчезла. Был он говорлив, подвижен, оживлен, и хрупкой худобой своей, лысиной (и черная на ней шапочка-нашлепка), быстротой реакции на любое слово — напоминал неувовимо Фалька.

— Я помолодел, вероятно? — бодро спросил старик, усадив Рубина и точно истолковав его удивленный взгляд. — Этим я обязан вам. И вы за это поплатитесь,

ибо я болтлив и памятлив. Курите, пожалуйста, я ведь видел, как вы мучились позавчера.

— Я вправду удивлен, Юрий Лукич, — Рубин такого резкого изменения в человеке никогда не встречал. Закуривая, он глянул искоса на диван возле своего стула — там лежал небанальный набор книг: «Процесс Промпартии», давно исчезнувшее из библиотек издание тридцать первого года; толстый серый том о Беломоро-Балтийском канале с сытым профилем Сталина, вытисненным на обложке; что-то еще явно тех же лет. Из всех книг торчали закладки.

— Смысл жизни появился, — просто объяснил старик. — Я вдруг кому-то оказался нужен. И совершенно иначе себя почувствовал. Я ведь, как видите, долгожитель, а такие старики кому нужны? Никому. Включая, разумеется, собственных детей.

Он властным жестом остановил вежливое недоверие Рубина.

— Нет, нет, декорум они соблюдают неукоснительно. Каждый вечер звонят, раз в неделю приезжают, раз в месяц предлагают съехаться. Причем бескорыстно — у обоих достаточно просторные квартиры. Мне это ни к чему. Их бабы вызывают во мне омерзение...

— Сколько их? — спросил Рубин.

— Два сына, соответственно две бабы, а что у них на стороне — не знаю, хотя сам пошел бы от таких женщин не только налево, но и направо. Внуки обычные, то есть прекрасные ребята, коим на меня вообще плевать, спасибо хоть от подарков не отказываются. Но не будем отвлекаться. Хочу ответить вам на ваши вопросы и заодно защитить от вашего посягательства свою совесть.

Рубин не понял, о чем речь, но не решился прерывать. Старик положил перед собой лист бумаги, потянулся за карандашом, исподлобья косо глянул на Рубина и провел на листе две тонкие параллельные линии.

— Это Ленинградское шоссе, — объяснил он, — сейчас начнем, как говорил мой друг и шеф Туполев, открывать государственные тайны.

— Они мне как-то ни к чему, — недоуменно отказался Рубин.

— Про первую советскую шарашку, где работали арестованные ученые, неужели выслушать не хотите? — спросил старик. — О ней ваш Николай Бруни знал прекрасно.

— Но первая была на Ижорском заводе под Ленинградом, — неуверенно сказал Рубин, словно отвечая урок. — Там спроектировали и построили блюминг. А в Москве была шарашка Рамзина, где конструировали прямоточный котел. Вы о ней? Она к Николаю Бруни отношения не имела.

— Еще раньше одна была, — сказал старик торжествующе. — На год раньше. Еще до дела Промпартии. Более того. Она, быть может, и послужила основой для этой дьявольской, этой блядской идеи сажать людей в тюрьму и в ней заставлять думать. Тюрьма — оранжерея изобретений, ведь это исключительно наша прогрессивная мысль. И вы знаете, на кого я грешу, подозревая в этой подлой придумке?

— На высоких чекистов, — немедленно ответил Рубин.

— Получится у нас разговор, — старик так энергично тряхнул головой, что камилавка сползла ему на лоб, и он досадливо поправил ее, не сводя с Рубина ярких — совершенно ясных сегодня — карих глаз. — Думали об этом или знаете?

— Заразился вашим воодушевлением и догадался, — Рубин был обрадован удачей и почувствовал охотничий азарт. — Этим озаренным людям запросто могла придти идея поселить спецов в оранжерею, чтобы не пропало для республики их умственное богатство.

— Изо рта выхватываете, — одобрил старик. — Только думаю, что у чекистов и еще одна идея была: утвердить престиж своей конторы как существенного органа системы, то есть не только карательного и охранительного, но и с творческим потенциалом. Оттого они и собственный знак сделали на этом самолете.

— На каком самолете? Какой знак? — взмолился Рубин. — Умоляю вас, Юрий Лукич, я ведь ничего не знаю, я глубоко невежествен сразу во всем, я журналист.

Старик усмехнулся коротко и наклонил голову к бумаге. Ниже линии Ленинградского шоссе возник кружок с двумя башенками и нечто вроде входа в него.

— Петровский дворец, — объяснил старик. Вокруг дворца и ниже закудрявилось множество завитушек. Петровский парк, вслух догадался Рубин. Старик кивнул. По другую сторону шоссе возникли два квадратика, сразу аккуратно заштрихованные твердой опытной рукой; после — еще несколько квадратиков, оставших-

ся пустыми; после — несколько линий вбок и вверх.

— Взлетно-посадочные полосы аэродрома на Ходыньском поле, понятно? — спросил старик.

— А эти квадратики?

— Ангары и складские помещения. И слушайте теперь внимательно. На Ходыньском поле в декабре двадцать девятого освободили два ангара и устроили первую шарашку. Тогда арестовали конструкторов Поликарпова и Григоровича — из ведущих. Вам эти имена знакомы?

— Теперь да, — кивнул Рубин. — Я просмотрел вашу книжку об истории самолетов, с благодарностью сейчас верну.

— Подождите и слушайте, — старик обвел два заштрихованных ангара изломанной чертой. — Их арестовали за антисоветские разговоры и предложили выбор: будете сидеть или хотите работать? Конечно, работать! Из Ленинграда привезли конструкторов — там тоже нескольких арестовали, жена одного из них у нас останавливалась, когда мужу передачи привозила. Женщине во все века что главным казалось? Накормить своего мужика. Вот она и ездила. Посидит с ним в ангаре на коврике, пирожками покормит, а плакать — к нам. Им сказали так: стране срочно нужен ультрасовременный истребитель. Сделаете — освободим. Срок — три месяца на проект, два — на изготовление. И тут же срок изготовления на месяц сократили. Нечего, дескать, тянуть, если на свободу хотите. Три месяца на проект и макет, а еще через месяц — вылет.

Рубин присвистнул.

— Да-да, — скупой улыбнулся старик. — Такие сроки. И в конце апреля они, батенька, уже испытывали гордость советского самолетостроения тех лет истребитель И-5. И его прямо на летное поле приезжал смотреть Сталин. Кстати, он тогда одного конструктора участливо так, по-отечески, вполголоса спросил: не угнетают вас здесь? Такой вот был заботливый человек. А на вертикальном оперении сзади, на киле то есть, была у первого самолета пятиконечная звезда, а внутри нее буквы: В и Т. Догадываетесь?

Рубин даже головой не успел мотнуть, ибо риторическим был вопрос старика.

— Внутренняя тюрьма! — пояснил он с таким торжеством, словно гордился этой меткой. То есть, понимаете ли, не только не стеснялись они, что тюремный

труд используют, но даже рекламировали. Так что эту идею усатый с радостью из их рук принял.

— Подождите-ка, — перебил Рубин, — а конструкторов выпустили, как обещали?

— Человек пять-семь выпустили, а там человек тридцать было, я их судьбу не знаю.

Старик хмуро молчал, уставясь на лист невидящими глазами, и постукивал пальцами обенх рук по столу, словно что-то припоминая.

— А из шарашки выйдя, где они работали? — спросил Рубин. — Их в свои бюро вернули?

— Вернули, — старик с трудом выходил из каких-то нахлынувших воспоминаний. — Еще как работали! Я вот одну историю вспомнил, зоологическую. Не возражаете?

Ответа он не ждал, да Рубин и не собирался отвечать.

— Это на юге где-то было, потому что о баранах речь. О мясной бойне. А на бойню водил баранье стадо козел-загонщик. Знаете, наверно, такую практику. Он их много лет водил: доведет до двери забойного цеха, и его сквозь цех пропускают, а их валят всех, и он других ведет. Много лет прошло, и то ли он состарился, медленно стал вести, то ли молодого выучили, но только однажды один мясник сказал другому, что пора бы уже этого козла тоже на разделку отправлять. И козел это понял, очевидно, — слишком долго жил среди людей. Утром, едва выпустили его из стойла, сбил он кого-то с ног и сбежал. Была в заборе щель — он через нее и скрылся. Посмеялись мясники, что такой понятливой оказалась скотина, и повел первую порцию баранов молодой козел. А старый, он не убежал, как оказалось, он сквозь щель смотрел, что будет без него. И когда увидел, что ведет молодой, то возмутился, пролез обратно, одним ударом рога отшвырнул выскочку и сам повел стадо баранов. Хоть и догадывался, что это его последняя прогулка. Так оно и было на самом деле. Что, интересно, у него сработало: чувство долга, многолетняя привычка или профессиональная страсть?

— Привычка, ставшая страстью, — задумчиво протянул Рубин. Он уже записал: «козел», — и понимал, что всю историю не позабудет.

— Вот мы все так и водили друг друга, — хмуро пояснил старик. — А главный наш мясник ухмылялся только в усы и нашей податливостью восхищался.

Не зря он после войны поднял тост за терпение русского народа — это ведь какое утонченное издевательство было, если подумать. Но мы — не думали.

— Вот об этом я хочу вас расспросить, — Рубин хищно вытянулся вперед, взял сигарету, размял ее, не сводя глаз с собеседника, и так же ошупью закурил.

— Дайте и мне, — попросил старик.

— У меня без фильтра, — предупредил Рубин.

— Ерунда, я всю жизнь курил папиросы, — старик снова скупо улыбнулся. Лицо его разгладилось и посвежело.

— Вот покуда курим, расскажу вам, как я книги в ссылке обожал. Как-то узнал, что в соседнем городке Краснотурьинске завтра будет подписка на сочинения Аксакова. Холод лютый, февральский, то есть с ветром. Пятьдесят пятый год пошел. Веку нашему пятьдесят пятый, мне слегка поменьше. Идти надо пехом пятнадцать километров, на попутную машину ночью нет надежды никакой: часто грабили тогда шоферов. Пошли с приятелем. К семи утра там были, как сейчас помню. Продрогли так, что еле отогрелись в чайной.

— А зачем так рано, почему не утром? — не понял Рубин.

— Так ведь боялись, что очередь будет на подписку, а всего-то было два абонемента, как нам сказали, — терпеливо объяснил старик. — Вот мы там и топтались до открытия. То один сбегает погреться, то другой. Слушайте дальше. Открывают магазин, платим за первый том Аксакова, и вдруг приятель говорит: слушай, Лукич, а где же очередь? И в самом деле никого. Давай говорит, еще часок тут переждемся, покантуемся в тепле и посмотрим. Так никто и не появился за час. И пошли мы с ним домой по такому же морозу. А он, надо заметить, — немец, а я — наполовину еврей, наполовину поляк, об этом мы одновременно вдруг подумали, и он мне говорит:

— Знал бы этот ебанный отец славянофильства, кто за ним в России по морозу бегают!.. — До сих пор я помню, как мы с ним смеялись.

— Прямо к моему вопросу вы меня и подвели, спасибо, — Рубин аккуратно придавил окурок, — про энтузиазм тех лет хочу у вас спросить — ведь был же он?

Юрий Лукич кивнул и посерьезнел.

— Для меня-то лично штука крылась в авиации са-

мой. Такая там романтика была, такая страсть! С утра до ночи мы работали в охотку, сейчас трудно себе это представить. Уже не помню я, о чем статья была в каком-то журнале, а кончалась она вот как: дескать, на заоблачных сферах след самолета выпишет когда-нибудь слова: «сила», «смелость», «свежесть», «радость» — это и будет новой расшифровкой нашего СССР. Вы мне сегодня не поверите, но я тогда и впрямь так чувствовал. Когда опомнился, то поздно уже было.

— А когда? — спросил Рубин. — Прозрели когда?

— После войны, перед посадкой, — лаконично и хмуро сказал старик. И вдруг опять лицо его разгладилось и помягчело от какой-то мысли.

— Удивительные мы сукины дети, — сказал он. — Если чего-нибудь видеть или понимать не хотим, то есть боимся, хоть и неосознанно, то не просто ведь не видим и не понимаем — нет, не видим и не понимаем роскошно — с теорией на этот счет, с концепцией, с идеологией. Дыма без огня не бывает, лес рубят — щепки летят, вокруг и вправду враги. А то и вовсе смешная штука: неприятный был и мерзкий человек, туда ему и дорога. Правда, правда! Жертвы, исчезнувшие — они вдруг жутко несимпатичными делались. Вот когда я сгинул, мне потом рассказывали, сослуживцы мои тут же заговорили: дескать, тяжелый был человек, насмешливый, жесткий, резкий. Интересно. Куда-нибудь придешь — нет человека. А спрашивать, где он — боишься, вдруг соучастником сочтут. А он, быть может, просто болен. А ты, не спрашивая, идешь к другому или уходишь. Будто и не понял, что исчез человек. Но это уже после, когда крупная охота на всех шла.

Рубин посмотрел недоуменно.

— Случай охотился, — пояснил старик. — Вероятность. Все под ней ходили. Поводов и причин не надо было. Лотерея. Двери в подъезде по ночам и лифта двери — они как выстрелы нам звучали: мимо или не мимо. Замолчали все уже тогда, в винтики и болтики превратились. А анекдоты были все равно.

Старик нервно облизнул губы. Легкая взбудораженность появилась в нем, и Рубин решил при первой же возможности отвлечь его и дать отдохнуть.

— Два профессора стоят в очереди за зарплатой и один другому шепотом говорит: коллега, а они ведь начали нас сажать. А второй ему тоже шепотом: неудоб-

но, мол, зачем говорите — они. А тот ему в ответ — пожалуйста, коллега: мы начали нас сажать.

Рубин засмеялся.

— Чувствуете? — хрипло спросил старик. — Было это ощущение — мы, а внезапно сменилось на мы и они, где-то здесь эта граница и проходит, когда наше прозрение началось. Только уже поздно было.

— Интересно, — протянул Рубин. — Знаете, Юрий Лукич, а вы мне очень важное сказали только что о Николае Бруни. Он в эту очарованность не впадал.

Старик остывал медленно, и в глазах его что-то недоговоренное плясало, но уже исчезли искорки. Рубин поторопился продолжить.

— Его арестовали по доносу — он сказал после убийства Кирова: теперь они свой страх зальют нашей кровью. Чувствуете местоимение, Юрий Лукич?

— Это убедительно, — старик улыбался, чуть ощерясь.

Рубин поспешил добавить:

— Знаете, чем он последние годы после работы занимался? Он роман писал.

Старик молчал, глядя на Рубина доброжелательно и вроде бы с печалью или жалостью.

— Сколько талантов дал Господь, — бормотнул он, продолжая слушать.

— «Мертвая кожа». Так роман должен был называться. Больше года он его писал по ночам. Забрали рукопись при обыске. И с концами, разумеется.

— О чем? — Старик неподвижно держал голову, словно застыл.

— Не знаю. Никто не знает. Я — позвольте — снова закурю? — Старик прикрыл разрешающе оба глаза. — У меня одна идея есть, ничем не подтверждаемая. Понимаете ли, он очень дружил с Павлом Флоренским...

— Знаю, знаю это имя, — старик чуть дернул головой и вновь застыл.

— Очень они часто ездили друг к другу, разговаривали часами. И вот я подумал: что, если роман этот беседами с Флоренским навеян? Содержание — о воплощении утопии. То есть о трагедии сбывшейся мечты. А название романа — от его завязки. Обнаруживает некий человек книгу в кожаном переплете, книга эта — свод утопий о всеобщем человеческом счастье. От Кампанеллы и Платона до Бэкона и остальных собраны там вековые утопические планы...

— У него сколько было детей? — внезапно спросил старик.

— Шестеро, — удивленно ответил Рубин.

— Одна нога короче другой после аварии, — утвердительно сказал старик. Лицо его было неподвижно и хмуро.

— На семь сантиметров, — недоумевая ответил Рубин.

— Так что сам уже летать не мог, — торжествующе сказал старик. Рубин промолчал, не понимая, почему был прерван. Старик сел поудобнее и как-то очень буднично сказал:

— Это не роман был, а повесть, я вам сейчас ее расскажу.

Тут уже застыл Рубин. Снова уставясь в стол, старик заговорил монотонно, вспоминая что-то давнее, но отлично сохранившееся в памяти.

— Действительно, та книжка была сводом утопий. Только были в нее вложены два кусочка кожи и текст на латыни. Дескать, лоскуток один следует размолоть до пыли и пустить по ветру — сбудется вековая мечта, воплотятся светлые утопии. А ежели что не заладится и выйдут хаос и разруха, то распылить надо второй и все прекратится. Это, собственно говоря, повесть об одном безумном летчике. Он этот лоскут распылил с самолета. После неудачно сел, повредил себе ногу и стал смотреть, что будет. И принялась вековая мечта сбываться. Только все обратное ожиданиям происходило. Кровь лилась, брат на брата пошел, каждый был уверен, что прав, ибо во имя светлой цели злодействовал. После устоялась жизнь, застыла, но в кошмарных и уродливых формах. К власти только одни подонки и мерзавцы пробивались, кто умел пресмыкаться и ничем не брезговал на своем пути, переполнились тюрьмы, словно общество целиком обезумело. Школа прививала отвращение к знаниям, работа — омерзение к труду. Врачи презирали страждущих и болящих, служители закона попирали его на каждом шагу, ибо само понятие законности означать стало узаконенное беззаконие. Служители прессы — ввали напропалую, лгали изошренно, ибо сами хотели выжить. Продавцы ненавидели покупателей, соседи — соседей. И все счастливыми притворялись, ибо любое недовольство каралось смертью. А все, что человека человеком делает — личное достоинство, чувство чести, великодушие, преданность дружеская и кров-

ная, — искоренялись так неукоснительно, что обузой только становились, тяготили человека так, что он и сам от них избавлялся, изживая и выдавливая, и в других переставал ценить и понимать. А порядочность — вовсе непонятной категорией стала. Словом, сильно человек опять в животное состояние подвинулся. А в ком личность сохранялась — приспособлялся к незаметности, укорачивал себя и оскоплял. И, конечно, в общей лжи и молчании участвовал. Словом, понимаете, о чем я говорю и что перечисляю. В воздухе тоска повисла, тусклость и страх. Летчик этот бывший приходит в ужас от того, что сделал, и умоляет своего товарища распылить второй кусочек кожи. Тот над ним смеется, объясняет, что это бред у него, следствие сотрясения мозга, историю России излагает, доказывает, что все естественно случилось. Только летчик безутешен, собирается покончить с собой от чувства вины, а сам он полететь не может: одна нога короче другой, его никак уже в авиацию не допустят. И товарищ поднимается в воздух со вторым кусочком кожи, но разбивается, летчик не может узнать, выполнена его просьба или нет. Но ему начинает казаться, что выполнена, — появляются люди, которые, как он, осознают, в какой страшный тупик загнала их воплотившаяся мечта. Тут начинается вокруг охота на прозревших, на тех, кто все понял и не хочет продолжать. Их опознают, их провоцируют, на них доносят. И летчика арестовывают тоже. Он умирает в тюремной камере, счастливый, что загладил свою вину.

— Потрясающе, — очень искренне не сказал даже, а выдохнул Рубин. — Как и где вы это прочитали? — и догадался еще за миг до того, как старик ответил так же просто:

— Сочинил я это незадолго до ареста. После жена говорила, что я сам себе тюрьму напророчил. Забавное совпадение, правда?

— Правда, — удрученным тоном сказал Рубин, разочарование свое скрыть не сумев.

— Не сердитесь, — виновато сказал старик, — на поверхности эта идея лежит. Не пытайтесь вместо автора роман сочинить. Он еще когда-нибудь отыщется. Хоть рукописи и горят, как известно. Вопреки мечтам великих прозаиков.

— Горят, к сожалению, — Рубин засмеялся. И поднялся, чтоб уйти и поскорее записать услышанное.

— Мало я вам по делу рассказал, — пробормотал старик, тоже поднимаясь.

— Совсем не мало, — возразил Рубин, — про шарашку первую в России — очень интересно и важно. А как быстро эту надпись — «внутренняя тюрьма» — убрали с кия истребителя? — спросил он уже в коридоре.

— Убрали, кажется, сразу, — ответил старик. — А вот идея — она усатому запала. Удивительно мы сами свою тюрьму старательно строили, оттого и разобрать не можем.

— Поколения нужны, — ответил Рубин стереотипной банальностью.

— А по-моему, и наследственность у нас обреченная, — не согласился старик.

Пожимая Рубину руку, он сказал:

— Будете если писать, спокойно на меня ссылайтесь. Я уже свое отбоялся. А сыновья перебьются.

— Спасибо, — растроганно сказал Рубин. — Я еще не знаю, документально буду писать или насочиняю что-нибудь романное.

— Страшней, чем было, не сочинить, — брезгливо сказал старик. — И пользы сегодня больше от документа. Насочинялись досыта.

— Ну, а вот ваших сыновей, например, интересуется ваш жизненный опыт? — спросил Рубин, зная заранее ответ.

— Их интересуется то же, что ихних баб, — поморщился старик. — Видеоманитофон и кассеты с детективами. Внуки растут на том же бульоне.

— Кино — штука заманчивая, — примирительно сказал Рубин.

— А потом отыщется козел-загонщик, — холодно ответил старик. — Желаю здравствовать. Заходите, если вопросы созреют.

Так он и остался в памяти Рубина, словно застрял, — сухой, маленький, с огромной лысой головой, склонившейся в прощальном кивке.

* * *

В доме не стало мужа и отца, и Анна Александровна вдруг с ужасом вспомнила и поняла слова старца Нектария (двенадцать лет назад в Оптиной пустыни произнесенные нехотя и словно в сторону): жаль мне тебя,

вдову с шестью детьми. Сказано было походя и негромко — видно, старец Нектарий удержаться тогда просто не смог, ясно провидя будущее молодой прихожанки. И вот — сбылось. Но почему сбылось, муж-то ведь жив? Жив, уцелеет и вернется.

С этой верой она жила до пятьдесят седьмого года. И ее веру не могли поколебать даже письма, начавшие возвращаться в тридцать восьмом с пометкой — «адресат выбыл». Но ведь «выбыл» — это о живом человеке глагол, после Николай куда-то прибудет и даст о себе знать. Ибо настоящую веру и подлинную надежду никакие факты реальности не в силах одолеть. И спасительная мысль нашлась однажды, вскоре обратившись в полную душевную убежденность, логике и разуму неподвластную: выслали его куда-то на дальний север, где нужны православные священники, а писать оттуда пока нельзя.

Эта идея у Анны Александровны возникла в сороковых, когда церковь по мановению сталинской руки вернули к жизни, чтобы взбодрить народный дух ради военного успеха и сплоченности помыслов на благо державе.

А пока история страны начала чугунным катком прокатываться по оставшейся без кормильца семье.

Из казенной квартиры их выселили весной тридцать пятого, дали все-таки перезимовать с детьми. А в мае пришли люди, предъявили бумагу и выбросили вещи на улицу. Они сперва смущались и стеснялись, отводили глаза в сторону и бормотали что-то утешительно-оправдательное (еще бы, ведь вчерашние сотрудники были, сослуживцы и приятели), а потом разогрелись от таскания связок с книгами, повеселели и уже что-то бодрое кричали вслед трем телегам (нашлись возчики, слава Богу), увозившим барахло и детей.

В доме у бабушки на Арбате пожилы недолго: предписание выехать за сто километров пришло через месяц. Брат Лев смотался в Малоярославец и купил для них полдома. Начиналась совершенно иная жизнь.

Когда Рубин ездил в Малоярославец, одна из собеседниц сказала ему: жаль, что вы приехали поздно. Тут у нас совсем недавно умер дед, которого все звали Робинзоном. Отчего такая кличка? — удивился Рубин. А он с женой все время по-французски разговаривал, объяснила старушка, а когда ссорился, то на английский переходил, а еще они разговаривали на третьем каком-

то, но я его не опознала. Дворником работал он до последнего года, никуда съезжать не хотел. Славный очень был старик, общительный, только уже тронулся маленько: в огороде копается и разговаривает громко сам с собой. Видать, одичал.

Рубин рассказал это при случае Фальку.

— Человек, лишенный среды, превращается в Пятницу, — сказал Фальк.

И Рубин тут же эту мысль тайком зарифмовал.

Семье Бруни очень повезло. Директорша местной школы почти сразу по приезде сама пришла к ним в избу. Извините, вам не доводилось лет пятнадцать назад бывать в Оптиной пустыни? Доводилось. Тогда вы, может быть, припомните меня? Я жила от вас через дом и следила всегда за вами, потому что старалась переменить походку и выражение лица. Девчонкой была. Очень хотелось стать такой же красивой и вести себя с таким же достоинством. Может быть, пойдете к нам в школу преподавать немецкий язык? Ведь наверняка же знаете. А что диплома нету, это ерунда, я вас приму, а вы поступите в заочный институт, и мне тогда не будет нареканий. Хотите?

И Анна Александровна стала преподавать немецкий.

Во множестве мелких городков и поселков страны появились тогда люди, волей судьбы выброшенные из прежней жизни. С одухотворенными измученными лицами и великим запасом самых разнообразных знаний. Образованные, доброжелательные и беспомощные питомцы русской культуры, вытесненные и изгнанные из нее. Они знали иностранные языки, они играли, пели и рисовали, а заниматься были готовы чем угодно, ибо надо было как-то выжить и как-то прокормить детей. Они устраивались где и кем придется, преподавали в школах (если их брали), шли в бухгалтеры, счетоводы, воспитательницы и няньки, работали в клубах, шли в посудомойки, официантки и уборщицы, но повсюду оставались сами собой. Читали книги, всем на свете интересовались, щедро делились тем, что знали. И, может быть, аура культуры, осенявшая их, пробудила или сохранила человеческие черты у тех, кто с ними общался, несчетное количество молодых душ спасла или предохранила от одичания, разбудила способности и духовные устремления в подростках. И если книги о влиянии декабристов на развитие культуры в Сибири уже написаны, то об этих сосланных, вытесненных и униженных — еще пока

не сказано ни слова, да и неизвестно о них толком ничего. А ведь они преподавали в провинциальных школах, училищах и институтах, руководили самодеятельностью, просто, наконец, одалживали книги соседским детям. Кто оценит и измерит степень их заслуги в том, что полностью не одичала страна? Кто-нибудь, когда-нибудь, приблизительно. Если вообще оценит.

А Его Величество Случай продолжал работать с надежностью взведенной пружины: дочь учителя литературы из той школы служила в авиационном институте, и в одно из воскресений было подробно рассказано за чаем, кто именно донес на Николая Бруни. Анна Александровна тут же написала об этом мужу в лагерь. Бог простит, легкомысленно ответил он.

Письма он писал бодрые. В далеком северном городе Чибью (еще не ставшем Ухтой) он работал лагерным художником, даже право выходить в город имел, на уголовном языке именовалось это — «выхожу один я на дорогу» (знал бы Лермонтов, на что пойдет его строка!) Надеялся Бруни на скорую встречу с женой — она хлопотала через кого-то свидание, — умолял всех за него не волноваться и беречь друг друга. Письма его не сохранились (дети сожгли однажды ночью, когда исчезла мать в сорок шестом), только одно случайно уцелело.

Письмо это Николай Бруни писал своей матери (Анна Александровна Соколова, как и предсказал ей старец Нектарий, пережила всех своих детей и умерла в сорок восьмом, вскоре после смерти сына Льва). В основном содержались в этом письме воспоминания о счастливом, безоблачном, полном любви и нежности детстве. И о детских страхах, разумеется. Ибо в их загородном доме в бревнах всех стен — (далее цитата из письма): «жили страшные духи. Это были карлики, чертенята и множество других, еще более страшных полуптиц-полузверей, хотя все они были маленькие, не больше курицы. Они жили в стенах, и их можно было видеть только тогда, когда они перебегали между двойными рамами, но это случалось очень редко, и пробегали они так стремительно, что их нельзя было как следует разглядеть. Они боялись показываться детям на глаза — так же как и мы, дети, боялись с ними встретиться. Но мы хорошо знали: они не могут тронуть человека даже в темноте, если зарыться под одеялом с головой, чего нам не разрешалось делать и что нам приходилось делать тайком,

чтобы избежать опасности, так как иначе заснуть было невозможно от страха».

Шли потом воспоминания об отце и любви сына к обоим родителям; после — описание своей детской влюбленности в двоюродную сестру Машу; дальше Николай Бруни собирался перейти к своим сегодняшним (тогдашним) ощущениям и чувствам, начав издалека.

«Чтобы лучше понять, вспомни твою встречу (вероятно, самое большое, что было в твоей жизни) с Крамским. Я уверен, что эта встреча и страдания, пережитые тобой, глубоко определили все то метание, которое привело твою душу к разорению. (Не хочу этим отнюдь сказать, что ты бедна духом!)... Ты не смогла сохранить верность моему отцу, потому что эта верность была бы только верностью человеку-мужу, а не пути, которого искало все твое существо...»

Далее шли очень личные размышления о них обоих — матери и сыне, — об одинаково остром их желании выстроить осмысленную цельную судьбу, и о сокрушении надежд на это. Рубин выписал отчаянную и безысходную формулировку:

«Можно ли представить себе, что значит — быть одаренным так богато и так разносторонне, каким ты меня родила, и так беспредельно и остро ощущать бессцельность жизни в том тупике, который определился?!»

Странные это были мысли для христианина тех лет, поскольку они более годились для философа-экзистенциалиста второй половины века; но ведь на то и был Николай Бруни так необычайно одарен.

Остальные письма дети сожгли; более о чувствах его и мыслях лагерной поры ничего узнать было нельзя.

Осенью тридцать шестого года заключенный Бруни был счастлив — это можно говорить с уверенностью. В память столетия со дня гибели Пушкина местное начальство вдруг решило поставить поэту памятник. Делал это зек Бруни, и ощущения он пережил высокие. В декабре того же года он рассказывал о них жене — ему в награду дали краткое свидание. И о том, что пережил он при аресте, в первые дни тюрьмы, — рассказывал тоже. К острому чувству нереальности всего происходившего примешалось у него тогда странное и очень сходное воспоминание о минутах, некогда проведенных им в аэродинамической трубе. Предложили друзья-коллеги, а он из любопытства согласился. Пол в трубе был слегка покатым, а вообще этот восьмигранник из дере-

ва длиной метров в пятьдесят выглядел внутри даже уютно. Трехметровый диаметр позволял стоять во весь рост. В мягком полумраке вдали виднелись в торце огромные лопасти вентиляторов. Люк закрыли, донеслись неразборчивые слова шутивого напутствия, и полированные лопасти начали медленно вращаться. Потекли тонкие, нежные сперва, струйки. А через секунду уже трудно было стоять. Бешено понесшийся поток воздуха забил дыхание, пригнул к полу и повалил. Бруни кубарем докатился до противоположного торца и вцепился в решетку; жуткое наступило ощущение, что сейчас снесет и ее. Так же мгновенно поток воздуха спал, только еще с минуту звенело в ушах, и медленно возвращалось сознание. В люк уже заглядывали друзья, они смеялись и галдели, обсуждая, что случилось с бывшим летчиком. А была ведь скорость воздуха небольшая, как ему объяснили, — скорость урагана, можно было сделать вдвое больше.

Ощущение бессилия и проглоченности, чувство, что несет неодолимым потоком, и смута в осознании происходящего — это как раз Бруни и вспомнил в первые же дни ареста, и посмеиваясь, рассказал об этом жене. Привезла она домой и два его автопортрета — лучше бы не привозила, наверно, потому что принималась плакать, случайно посмотрев на стену, где один из них висел.

В тридцать седьмом ей отказали в свидании. Муж писал, что это временно, что они скоро увидятся, что вообще уже прошло почти три года, и он вот-вот снова обнимет их всех.

В тридцать восьмом вернулись обратно письма. Анна Александровна существовала по инерции, совершенно механически совершая действия, входившие в распорядок жизни.

А время между тем кипело — героическое всюду и вокруг. О полетах через Северный полюс в Америку, о папанинцах, дрейфующих на льдине, об успехах, достижениях и победах — надрываясь, кричало радио и трубила печать. Сотни тысяч трудящихся исправно слали миллионы писем, то приветствуя бесчисленных героев, то требуя нещадно покарать презренных подсудимых-отщепенцев. Кто-то приезжал из-за границы, о его восторгах сообщалось в подробностях. Кто-то приезжал и после хаял социализм — он оказывался выродком и извращенцем. Кровожадные изверги-фашисты превратились вдруг в соратников и друзей. Махровым цветом расцве-

тали с каждым днем науки и искусства, и успехам нашим жарко рукоплескала планета в каждом выпуске наших новостей и известий.

Осенью сорок первого года в Малоярославце уже были немцы. Учительницу немецкого языка привели в комендатуру в качестве переводчицы. А из Малоярославца уходя — забрали с собой. Сын, по счастью, был в Москве, отрезанный от дома, старшая дочь — в Ташкенте. Четверых дочерей Анна Александровна бросить побоялась, все они поехали с ней.

Как тянулись годы рабства на чужбине, Рубин се-стер подробно не расспрашивал, ибо одинакова у всех была эта трагедия, воспроизведенная миллионными тиражами: рабство плена описывать в России дозволялось. На чужбине ведь оно и вправду тяжелей, дома это всем казалось не рабством, а скорей тяжелым периодом, затянувшимся на несколько поколений. Зато дома все вокруг свои. Дочери работали в услужении в немецких семьях, мать стирала где-то в госпитале, в сорок пятом удалось собраться вместе. Бесконечные лились слезы и рассказы о непрерывных унижениях. Одна дочь была прислугой в доме важного профессора-химика, жена профессора однажды чуть не убила ее: двухлетний ребенок, за которым она присматривала, случайно обварился кипятком, а так-то ничего, жила себе и жила на кухне. Вторая дочь была в деревне, доила коров, ходила за свиньями, полола огород, растила кур, и был еще породистый бык на особом присмотре и уходе. Вставала в пять, ложилась к ночи. Кожа у нее сходила с ладоней. Было ей пятнадцать лет. Все бы ничего, только сын хозяев бил ее при каждой встрече и старался побольней попасть. Ровесник. После откупили ее у хозяев две сестры-монахини, жившие вместе со своим слепым братом. А в подвале они всю войну прятали, как оказалось, еврейскую семью: мужа, жену и пятерых детей. У монахинь ей жилось хорошо.

Ждали своей завтрашней судьбы с нетерпением. И она замелькала бесчисленными всюду объявлениями: «Дорогие репатрианты! Родина вас ждет, Сталин не забыл вас, Отчизна вас не накажет. Являйтесь в комендатуру!» Бегом они бежали, не раздумывая ни одной минуты.

После были несколько месяцев лагеря для перемещенных лиц. Хлеб, горох, баланда. Но вокруг свои — и русская речь! Подтвердилось, что в плену себя ничем

не запятнали. Эшелоны, долгая дорога, слезы от встречи с родиной... В Малоярославце своего дома у них уже не было — его занял какой-то местный начальник (не из крупных) и возвращать отказался. Аргумент он веский приводил: за это время сделал новую крышу, так что вроде дом теперь им и построен. Жаловаться побоялись, но начальник этот сам и помог: дали им небольшую хибарку из брошенных в войну. Мать пошла прописываться, сказала, что будет через час.

И вернулась через десять лет. Судили ее в клубе, принародно — как пособницу немецких оккупантов. За те два месяца, что была она переводчицей в комендатуре. А двух старушек, хотевших рассказать, что переводчица спасла их дочерей — не допустили выступить, чтобы не тратить время.

Мать вернулась домой глубокой старухой, первое время плохо различала детей, билась время от времени в приступах эпилепсии. А еще у нее астма была, нажитая в лагере, — врачи сказали, что если приступы совпадут, она не выживет. Но она упрямо жила, ибо никак поверить не могла, что ее муж Николай Бруни мертв. Не выходила из головы идея, что послали его куда-то, где не хватало священников. А потому вот-вот вернется. Разубедить ее было невозможно. Прямо на улице бросалась она к пожилым мужчинам с сединой и пристально вглядывалась в лица. Дочь сказала: сильная сразу становилась, не удержать ее было в эти минуты.

Приступы эпилепсии каждый раз бывали точно (кроме неожиданных и внезапных), если исполняли по радио бетховенскую Лунную сонату. Это было любимое произведение Николая Бруни, он и дома его часто играл, а в Клину когда жили, в дом Чайковского ходил специально, чтобы на том рояле поиграть. Услыхав, что будет исполняться Лунная, радио спешили выключить, но не всегда успевали. И немедленно начинался припадок.

Тут опять невольно вспомнился Рубину великий гуманист, плакавший некогда от исполнения Апассионаты, — ибо сказал тогда великий гуманист, что от музыки этой хочется ему плакать и по голове кого-нибудь гладить, а по голове — только бить надо сейчас. И добился. Так что приступы эпилепсии от Лунной были у Анны Александровны Бруни в прямой и непосредственной связи с той успешно подавленной в себе человечностью у Владимира Ильича Ульянова.

Мать умерла в пятьдесят седьмом, спустя неделю

после получения справки о посмертной реабилитации мужа. Лучше бы не приходила эта справка, хмуро пояснила дочь, мы ведь знали, что давно уже нет отца, одна она только верила — не в себе была после лагеря.

В доме их, как издавна повелось, непрерывно кто-нибудь жил. Теснота невероятная была, но жильцов пускали безотказно. Постояльцы здесь жили по году и больше, пока сами не становились на ноги, — ибо все это были люди из лагерей и ссылок, ограниченные сто первым километром.

Удивительную книгу держал Рубин в руках, бережно полистывая ее и слушая пояснения. Сохранилась домовая книга той хибарки, где уютилась вся семья. Постояльцы аккуратно прописывались там, без прописки жить нельзя было советскому человеку. Двое так и умерли здесь. Дочь припоминала, затрудняясь: минуло много лет. Сказывалась приязнь к интеллигентам, сказывался дух фамилии. Музыкант из Большого театра. Судовой врач. Художник. Цирковой артист и режиссер (когда-то весь мир объездил, меланхолично пояснила дочь). Женщина — театральная режиссер. Архимандрит (ой-ли? — удивился Рубин. Да-да, подтвердила дочь, в роскошной рясе ходил, к нему люди шли и шли в его каморку). А еще был некий Кривошеин, родившийся во Франции, в Булони, а прибыл он со станции Потьма, из Мордовии. Снова проглядывалась ясно история великой страны. А в конце была подписка владельца дома: обязуется он старую домовую книгу хранить как архив и справки по ней выдавать только прокуратуре, управлению внутренних дел и управлению государственной безопасности. Замечательная фраза была в конце: «Об ответственности я предупрежден». Так что и сообщать, кто где живет, было, оказывается, покушением на государственную тайну, а за разглашение — ответственность.

Дети — четверо из шести — были немолоды. И уже у каждого свои были дети. Только никаких почти не видел Рубин несомненных родовых признаков той блестящей артистической фамилии, что когда-то прижилась в России и хорошо была в ней известна. И от этого очень тоскливо ему было, и необъяснимое жгло чувство собственной вины.

А в Ухте остался памятник Пушкину, созданный неизвестно кем и когда, и к нему стали в последние годы собираться молодые поэты, чтобы читать свои стихи по праздничным дням. А создатель памятника этого — не-

подалеку лежит. Только неизвестно пока в точности, где. И от остальных его уже не отличить. От остальных десятков миллионов.

* * *

— Вы мне про русский народ лучше ничего не говорите. Я его двадцать один год изучала в тюрьмах, лагерях и ссылках, а светлее места не бывает, чтобы человека разглядеть. Если ты споткнулся или зашатался, русский человек тебя под зад толкнет. И не по злобе или ради собственной пользы — просто так толкнет. И еще с твоим же другом станет о тебе жалеть по пьянке, а если друг не так о тебе скажет, он ему за это морду набьет. Или вдове твоей поможет. Или переспит с ней. У меня к русскому народу такой антисемитизм выработался! Да, да, не смейтесь, я давно эту формулу придумала. Я сама наполовину грузинка, на четверть немка, а на четверть русская. Имею право. И сходилась я всю жизнь с людьми, ни на их национальность не глядя, ни на партийные заблуждения. В первой ссылке я в Уфе сидела, в лагерь меня оттуда забирали — так вот, знаете, какая у меня была формулировка? За близость к троцкистско-бухаринско-зиновьевскому-право-лево-эсеровскому-анархистско-меньшевистскому блоку. Вот вы опять хохочете, а это просто перечень моих друзей по ссылке. Так что я повидала, не жалеюсь... Вы пишете, пишете, не стесняйтесь, я уже ничего не боюсь, хватит. Правда, и раньше не боялась. Меня когда взяли первый раз, так за меня Горький просил Ягоду. Тот обещал посмотреть и разобраться. Я сейчас вам объясню, почему за меня сам Алексей Максимович просил, сперва только про Ягоду закончу. И вот этот выродок сообщает через день: ничего не могу поделывать, Алексей Максимович, язык бы ей укоротить, тогда бы и помочь удалось. А это я просто следователя спросила: зачем вы меня, вполне советского человека, взяли на ваши краткосрочные курсы антисоветских убеждений? Неужели вы думаете, что после всего, что я увидела в Бутырке, я смогу верить хоть единому вашему слову? А он, дубина, все это в протокол записал. Ягода еще Горькому сказал: Алексей Максимович, вы за нее не бойтесь, такие как она, даже у нас не пропадают. И ведь прав, скотина, оказался. Между прочим, наша семья в некотором смысле ответственность за этого мерзавца несет: когда маму выслали из Петербурга в Нижний Новгород, она немед-

ленно кружок завела по изучению социал-демократии, а туда стал ходить юный сын аптекаря Генрих Ягода. Мы за все, за все сами в ответе. А отца моего имя вам уже, должно быть, ничего не говорит? Гогуа. Каллистрат Гогуа. Знаменитое было имя. Самую первую забастовку на Кавказе в паровозном депо еще в девяносто каком-то году — мой отец организовывал. После он был членом правительства Грузии. Там его и повязали — обманом, когда Грузию большевики захватили.

Обещали неприкосновенность, конечно, а после всех арестовали. Я перескакиваю, извините. А на маме моей отец женился как раз в ссылке. У мамы семья зажиточная была, с корнями, породистая. И все были за революцию, между прочим. Бабушка только два слова все время путала: большевики и белешвейки. А когда мама им о женихе сообщила — он машинистом паровоза был до ссылки, то бабушка замечательно сказала: конечно, революцию делать надо, только зачем при этом за рабочих замуж выходить? Но потом они его очень полюбили. Он насквозь прозрачный человек был: чистый, умный, озаренный...

Нет, они не в обычной тюрьме сидели, когда их из Грузии привезли. Что вы! Был для них устроен специальный Суздальский политизолятор. В старом монастырском здании он помещался. Вот где показуха была, вот где туфта! Я сейчас все время об этом изоляторе вспоминаю, когда к нам разные коммунисты из-за границы приезжают, а им так мозги пудрят, что даже князю Потемкину с его деревнями не снилось. Так это еще тогда началось, тоже ведь разные социалисты приезжали, уже не помню их фамилий. Как, мол, у вас обстоит дело с членами разогнанных социалистических партий? Замечательно обстоит с ними дело: рядовые члены покаяться и влились в рабочие коллективы трудящихся, а вожди — благоденствуют в Суздале. Желаете посмотреть? Поехали! А в Суздале заводят как бы в первую попавшуюся камеру, где на столе благодать и блаженство: мягкое кресло возле письменного стола, бумага и чернильный прибор, на стенках фотографии родных и близких, книг полным-полно, живи и радуйся. Только одна маленькая неувязка: все ссыльные в лес по ягоды пошли, осенью — по грибы, зимой — на лыжах. Да они с вами разговаривать все равно не будут, не хотят они ни с кем общаться, им неинтересно, пока собственные теоретические разно-

гласия не увязали, так что глянули — и посдемите обратно. И уезжали. А из этой показательной камеры все потом растаскивалось по местам: у кого-то из начальства было кресло, у кого какие книги на полках стояли — все это просто собирали для впечатления. Фотографии у всех и вправду были, так что в целом такая липа выходила — пальчики оближешь. В полном восторге уезжали приезжие, так вот всяким роменам роланам с бернардами шоу головы и задуривали. А заключенных после отъезда гостей приводили обратно из какой-то камеры дальней. Кстати, и так никто бы слова лишнего этим сраным социалистам не сказал: уедут ведь, а ты останешься. Да из гордости не сказали б они им ни слова, такие были люди настоящие. Как в Ухте, помню, я тогда в строительном управлении работала, а там зеки все, но бабы вольнонаемные тоже были. Вот одна новенькая и спрашивает инженера-зэка: как вас кормят на зоне-то? Он сам профессор бывший, математик, зелено-желтый весь сидит, зубы цинга съела, глаза запавшие — так ведь он этой дуре жаловаться разве станет? Замолчали все разом, а он так вежливо ей отвечает: ничего кормят, благодарствую, только очень утки с яблоками надоели. Каждый день утки с яблоками, прямо не смотрел бы, а вот индейка с рисом или телятина с грибами — это не слишком часто, больше по выходным. Даже эта идиотка сообразила, вся пятнами пошла. Ах, какие люди там сидели! Я уж не про ум и таланты, я про человеческое их достоинство все вспоминаю, что же их-то убила Россия, зачем?

Рубин отложил ручку, чтобы отдохнула рука, откинулся в кресле и блаженно закурил, оставив спичку гореть, пока Ирина Калистратовна Гогуга разминала папиросу. Он пришел к ней всего час назад, но чувствовал себя так, словно долгие годы поддерживал это замечательное знакомство. Час назад ему открыла дверь явно когда-то очень красивая, аккуратная и собранная пожилая женщина с живыми темными глазами и крепким рукопожатием. Ее никак нельзя было назвать старушкой, хотя возраст свой она не скрывала: с девятьсот четвертого, отнюдь не первая молодость. Одета она была в модные вельветовые брюки, голубую вязаную кофточку и производила впечатление пожилой избалованной театралки. К Рубину старушка Ирина Калистратовна отнеслась с приветливым равнодушием, с порога

предупредив его, что в смысле новых знакомств блюдет в своем доме крайнюю чистоту, отчего просит его не обижаться, но сразу изложить, кто он, что писал раньше, что пишет сейчас и чем интересуется. Рубин рассказал о своих розысках, связанных с Бруни, о людях, которых повидал, о нескольких общих знакомых — даже стишок прочитал: «Не узок круг, а тонок слой нас на российском пироге, мы все придавлены одной ногой в казенном сапоге».

И старушка заговорила с ним так, будто они давно были известны друг другу. Да, она сидела в Ухте. Нет, она не могла знать Бруни, ибо прибыла туда по этапу в октябре тридцать восьмого, когда Бруни уже не было в живых. Она пришла с этапом смертников — это недобитых под Воркутой троцкистов отправили к Кашкетину в Ухту. Да, сейчас она расскажет. Да, конечно, можно записывать. Даже нужно, а то она сама всегда ленилась, о чем изредка жалеет. И про Бруни она тоже может кое-что рассказать. О его смерти. Это очень важно, как именно умирает человек — как он себя ведет при этом, что говорит. Она два раза готовилась к смерти и среди смертников жила.

Так начался их долгий разговор. Случайный и притворливо петляющий, но ничего от старческой болтливости не было у этой женщины, уцелевшей в силу невероятного, нескрываемого и не угасшего жизнелюбия.

— Нет, пыток еще не было тогда на Лубянке. И в Лефортове о них не слыхала. Только вот что было со мной лично: после одного допроса, а я ни в чем не сознавалась, никого не оговаривала, все отрицала про себя и других, да еще грубила следователю — повели меня в камеру по коридору. На Лубянке дело было. И вдруг вталкивают в маленькую каморку без света. Я сперва думала — переждать, пока навстречу кого-нибудь ведут, знаете эту их подлую повадку, чтобы мы не встречались. Проходит минута — чувствую, что начинаю задыхаться, — ни глотка свежего воздуха, а дверь очень плотно закрыта, я даже ощупать успела, задыхаясь, — резиновые прокладки. И грохнулась в обморок. Очнулась — меня опять усаживают на стул в кабинете следователя. Может быть, хотите что-нибудь нам все-таки сказать? Я сперва расплакалась от страха и унижения, а потом так на него орала, что вспомнить стыдно. Почему стыдно? Потому что я на самом деле от испуга орала, такая у меня истерика была. Нет,

больше не повторялось. Вот Авель Енукидзе, тот действительно страшные муки перецес. Он ведь не подписал ничего, а время уже пыточное было. И ничем другим его было не сломить — ни партийной демагогией, ни угрозой, что с детьми расправятся: он одиноким был, — ничем. После мне в лагере рассказывал один, бывший чекист: Авеля на расстрел вести не могли, у него все кости переломаны были, его прямо в камере добивали... — Нет, меня сначала к ссылке приговорили. Я не подписала, между прочим, ни одного протокола. Просто из упрямства, я не понимала тогда, что происходит. И не верьте, если кто-нибудь скажет, что понимал. Предрекать — предрекали, пророчествовать любит русский человек. И очень, между прочим, точно. Только это уже задним числом осознается. У нас в доме старая пянька была, мы тогда жили в «Метрополе», эдакий был второй дом правительства. А для желающих строился кооператив на улице, где сейчас дом звукозаписи — знаете, конечно? И как раз в это время сломали храм Христа-Спасителя. Камня, видать, мало было в Москве, так на фундамент нашего дома выбрали камень из развалин храма. И моя старуха-нянька, как узнала об этом, наотрез отказалась ехать с нами: жизни, говорит, не будет в доме, который сделан из камней порушенной церкви. Даже какую-то цитату из писания наизусть приводила. Плакала навзрыд — любила она меня, — а жить не согласилась. И как точно предрекла: уже в тридцать шестом в доме почти полностью жильцы сменились, всех прежних замели. Вот и не верьте после этого. Нет, я верующей не стала за эти годы. Очень бы хотела, но ведь искусственно не поверишь... Нет, я и в Уфе ничего не признала, когда из ссылки всех подряд мели в лагерь. До сих пор, между прочим, замечательную картину помню: ведут меня по двору тюрьмы, а со второго этажа сквозь решетки видны мужские лица — потные, бородатые, всклокоченные, и хором бубнят: не признаешься — три года, признаешься — десять. Дружеское такое наставление — думали, что новичок я... Да, очень много смеялись. Знаете, я лично думаю, что именно это многих и спасло. А как жизнь облегчало — не выразить словами. Возьмите ту же Уфу. Камера на двенадцать человек, а в ней шестьдесят четыре бабы. Даже, если хотите, — дамы. Только бывшие. Лето. Жара, а мы еще после бани. Сидим в три яруса, почти все голые;

а бельишком своим слегка помахиваем, чтобы просохло. Баба, она ведь если до теплой воды дорвется, ее без постирушки не оторвешь. Тут открывается камера, на пороге стоит старушка с узелком. Монашка. Посмотрела она на нас обалдело, плюхается на колени и кричит в голос: Господи, спаси грешниц на пару! Это она решила, что в ад попала и нас казнят горячим паром. Картина, правда, была похожая. Знаете, как мы смеялись? До истерики, до слез, до судорог. И потом еще, как только вспоминали. Знаете, когда я после этого следующий раз заплакала? Через пятнадцать лет. Когда узнала, что Сталин сдох. Целый час рыдала, не могла остановиться, а потом побежала и купила шампанского две бутылки. Все уже ясно понимала, никаких иллюзий не было, ненависть одна оставалась, а услышала — и заплакала. Мир обрушился. Кошмарный, но мир. Не смогу вам этого объяснить. Да и не надо, здесь вы правы... Знаете, Сталин честным трудом занимался всего шесть месяцев за всю свою жизнь — когда наблюдателем на метеостанции в Тифлисе работал, температуру воздуха и влажность записывал. Все остальное время он чистым был бандитом и убийцей. Понимаете, этот картавый лысый властолюбец Ильич — он, сам того не зная, создал чисто уголовную государственную систему, огромный лагерь с блатными и надзирателями из них же, я в лагерь когда попала — ахнула от абсолютной похожести. Правильно древние китайцы говорили: великий человек — несчастье для нации. Это я про Ленина в лагере услышала. Вот потому этой системе Сосо и в цвет пришелся. Поверьте мне: он был воплощенной посредственностью, только в злодействе талантлив, но ведь любой восточный убийца такой же. А воспоминаниям не верьте: это у всех гипноз от его власти, а не от его личности. Скажем, улыбнется вам сосед — вы подумаете: симпатичный человек, а улыбнется шах-владыка, тут вы скажете: ах, мистическое обаяние. Что-нибудь простой знакомый сказал — какой умница, а если владыка сказал — ах, корифей мысли! То же самое со всеми его словами, а идей настоящих, собственных, отродясь у него не было, крал он их у всех своих соратников; а своя только жестокость была, решимость злодейская, а машину для этого он полностью готовую получил, от учителя принял, только обкатать ее надо было. Так что это не от воли его могучей или тайных сил исполинских шел по коже

холодок у всех, кто вспоминал, а от всевластия и от готовности раздавить. Он был великое ничтожество, вот он кто был. И гений посредственности. Отсюда и убийца необузданный. Так что историки с годами, когда остынут, не с него, а с остальных спросят, помяните мое свидетельское слово... Крепкие вы сигареты курите. Не любите с фильтром? А я так и умру, наверно, с папиросой во рту. Мы больше махорку курили. Когда была, конечно. От березового веника шелуха хорошо курится. Чулок распущенный тоже годится. Надо только нитки растрепать хорошенько и немного чая добавить. Без курева в лагере здоровье не сохранишь. Знаете, я всю жизнь страдала от слабых легких — туберкулез у меня был, на юг ездила. И ангинами болела постоянно. И на Лубянку в тридцать пятом с ангиной пришла. И все. До пятьдесят шестого не болела ни разу. И про легкие забыла. Вышла — немедленно слегла с ангиной. Мы ведь, женщины, — вообще существа выносливые. Мне один прозектор в большой лагерной больнице рассказывал: вскрываешь зека мужчину — нету ни миллиметра подкожного жира, а у женщины, которая от такого же истощения умерла, — тоненький, но есть жирок... Кто же вам об этом рассказывал? Молодец баба, приметливая. Нет, нет, не врала. Действительно, в самое трудное время — следствие, тяжелый этап, штрафняки всякие — исчезают месячные. Заботится природа о женщине, убирает лишние недомогания.

— У Кашкетина, по-моему, задание такое было: расстрелять всех троцкистов, кому в тридцатые годы малые сроки дали. У нас, во всяком случае, так именно толковали его расстрелы. В Воркуте он на кирпичном заводе расстреливал, а нас, кого не успел почему-то, погнали к нему в Ухту. Зимой мы шли, по берегу Печоры. Шестьдесят человек. Женщины, мужчины, двое детей. Девятнадцать человек конвоя. Они не скрывали от нас, зачем ведут, этап наш так и называли — смертный. Целые дни мат в воздухе висел, быстрее идти подгоняли, им ведь тоже холодно было.

Привели нас в поселок Пионер, это километров десять от Ухты, заперли в тюрьме местной. Пол земляной, ни коек, ни нар нету, ничего, но мы уже вроде и не жильцы были. Стали мы все ждать смерти. Там высокие люди были, в тюрьме нашей: Валентинов, бывший редактор газеты «Труд», Ральцевич, доктор философии,

Сапаров, оппозиция была такая знаменитая, Козлов, бывший резидент нашей разведки в Китае, Окуджава — дядя, кажется, поэта, многих еще могу назвать. Грязно, холодно, голодно — как животные валялись. Очень равнодушно уже жили, успокоенно. Никакой надежды не было. Так что, выходит, это Берия всех спас — тем, что сменил Ежова. А потом в лагерь перевели, там уж мы и услышали, что Кашкетин сам расстрелян. И еще нам кто-то рассказал — я помню, как обрадовалась, когда услышала, — что он перед смертью выл как собака, пощады просил. Очень это важный момент в жизни — как человек смерть принимает. Вот я и до вашего Бруни дошла. Это часто вспоминали в лагере, кто-то из конвойных рассказывал, он возил этапы на Ухтарку, где расстреливали.

Рубин сидел, оцепенев, записывал, не следя за рукой, неотрывно глядя на собеседницу, медленно и ровно говорившую тоном отчужденным и спокойным, словно пересказывалось кино, ожидал и боялся услышать что-нибудь плохое о Бруни. О слабости, о сломанности, об отчаянии. В рассказах дочерей это однажды промелькнуло. Когда жена была у него на свидании, и они стояли, прощаясь, какой-то бесконвойный урка, проходивший мимо, что-то грубое и насмешливое обронил. Тот прежний Николай Бруни, которого знала она столько лет, кинулся бы на него немедленно, оборвал бы криком по меньшей мере — он даже в священниках был способен на такое, — а зек Бруни промолчал, будто не услышал, только чуть голову склонил, чтобы она по лицу ничего не увидела, и это было последнее, самое горькое, пожалуй, воспоминание о муже. Что-нибудь подобное Рубин ожидал услышать. Не напишу этого просто, и все, подумал он. Стойкость, она не всем дана, а с лагерников ее требовать нам, рабам сытым и благополучным, — и вовсе грех смертный.

— Он невероятное мужество проявил, этот ваш Бруни, — сказала старушка Гогуа, — редко я о таком слышала. Мне тогда так прямо и говорили: опоздала ты, Ирина, чуть-чуть, а тут святого одного расстреляли. Там, понимаете ли, так было: рвы для них уже выкопаны были. В мерзлоте много не накопишь, по колону, даже менее того, чтобы просто потом присыпать, и все. Когда выводили из барака колонну, большинство молча на смерть шло, редко кто кричал что-нибудь, матерились разве. Про партию и Сталина — это уже по-

том ублюдки придумали, я ни разу не слыхала, чтоб рассказывали, что так кричали. А в тот раз человек какой-то вдруг по дороге псалмы запел. И конвой не останавливал его, все обалдели. Такие лица просветленные сделались, будто не на смерть шли, а к участию. А он все пел и пел. Правда, первым и застрелили. Так и погиб ваш Бруни — видать, не зря священником был. А больше я, извините, ничего не знаю о нем. Заходите, заходите, я отвечу на любые вопросы, это счастье, что хоть кто-то интересуется, а то вроде как и не было нас. Цифры в лучшем случае, и все. А ведь не просто цвет России ушел, а еще и семя лучшее, вот о чем подумайте на досуге.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На большом столе в комнате Фалька были небрежно отодвинуты в сторону книги и журналы, постелена сложенная вчетверо скатерть, стояли две бутылки водки и тарелка с наскоро нарезанной селедкой. Еще видна была с порога огромная сковорода с жареной картошкой и накромсанным прямо на нее вареным холодным мясом, издали блестели на нем янтарные пятна супового жира. В комнате кто-то был — вился дым от сигареты.

— Пир жизни! — радостно воскликнул Рубин. — По какой причине?

— Был бы повод, а причина найдется, — глубокомысленно ответил уже явно захмелевший Фальк, пытаясь помочь Рубину снять пальто.

— Что вы, что вы, сударь, я не при мелочи к тому же, сам разденусь, — оборонялся Рубин.

— Должны мне будете, — сказал Фальк, отбирая у него пальто. — Пойдемте. Я вас вызвонил так срочно, чтобы познакомить со своим близким товарищем. И давним, — добавил он, полуобнимая Рубина и подталкивая ко входу в комнату.

Там сидел, грузно и твердо опершись о стол обоими локтями, средних лет мужчина с очень морщинистым крупным лицом потомственного рабочего, такие бывают у актеров, если это образ положительного гегемона. Так же грузно он поднялся из-за стола, протянул руку, осторожно рубинскую пожав, и назвался Юлием. Рубин, много в молодости игравший в волейбол и гордившийся своей крепкой кистью, сжал поданную руку, не-

медленно ощутив в ответ каменную хватку. Они быстро глянули друг на друга и улыбнулись. Гость обнажил два ряда сплошных коронок из нержавеющей стали, сразу огрубивших и ожесточивших его лицо. Глаза у него, однако же, были мягкие, только сильно воспаленные веки то ли о выпитом свидетельствовали, то ли о бессонной ночи. Впрочем, скоро выяснилось, что он сварщик, воспаленность век уже была, наверно, хронической. Фальк был крепко навеселе и нескрываясь наслаждался общением.

— Прошу любить и жаловать друг друга, — словоохотливо заговорил он, разливая водку. — Мы с Юлием Семенычем полные тезки. Познакомились на зоне когда-то. Знаете, Илюша, я на него сразу обратил внимание. Я в библиотеке был, в культурной части, а за стеной воров учиться заставляли, чтобы бумажку об окончании школы им всучить. Конституция, ничего не попишешь.

— Обязаловку придумали, скоты долбаные, — хмуро сказал Семеныч. И к Илье обратился: — Вы уж извините, что выражаюсь. Мне тезка сказал, что вы писатель, вам, должно, неловко это слышать.

— Что за херня! — закричал Фальк. Таким его Илья еще не видел. Фальк изображал того бывалого зека, каким хотел когда-то быть, наверно; играл искренне, с удовольствием от нахлынувших воспоминаний. На лысине его блестел пот, глаза сияли, ему явно хотелось говорить, хвастаясь гостем и собой, их общим прошлым и возможностью самозабвенно окунуться в него. — Ты не знаешь, Семеныч, какой мужик Илья, хотя вы оба сопляки против меня. Вы еще подружитесь и будете выпивать после моей смерти вместе! Со свиданьем, ребята!

Они выпили и помолчали, взяв по селедочному куску.

— Так вы начали про школу говорить, как познакомились, — осторожно напомнил Рубин. Он еще не очень понимал, что происходит, и в гульбу с этим чужим и хмурым стальнорылым включиться сразу не мог.

— Да, — увлеченно сказал Фальк. — В ликбезе это было, в ликбезе. Семеныч очень полюбил учиться. И других зеков сдерживал, если они мешали. Он им так говорил...

Фальк постарался придать своему голосу хрипловатую властную весомость, для чего нахмурил лоб, на-

бычил свою тонкую шею и произнес негромко и внушительно.

— Тише, блядь, что шумишь в классе?

Рубин громко захохотал, откидывая голову, и даже Семеныч улыбнулся. Лицо его сразу смягчело, когда он смотрел на Фалька, — так отцы, в позднем возрасте заимевшие сыновей, наблюдают, как их подросток притворяется взрослым. Сейчас видно стало, что ему тоже под пятьдесят, но ровесники Рубин и Фальк лишены были начисто его весомой и могучей основательности.

— Нет, Юлий, я на тебя гораздо раньше глаз положил, — сказал Семеныч, наливая водку в фужеры для шампанского всем троим, а Рубину — побольше как опоздавшему. — Вот, думаю, странный мужик: со всеми одинаково разговаривает. Будто ему все одинаковые и все — кенты. А у нас такие были на зоне животные, что никак с ними нельзя по-хорошему, враз на шею сядут и выебут. Голову оторвут и в глаза бросят. Ну, давайте за все хорошее.

Закусили опять селедкой и лениво ткнули по разу вилками в сквороду с картошкой. Рубин и Семеныч закурили, исподволь присматриваясь друг к другу.

— Теперь по делу, Семеныч, — сказал Фальк. — Илья пишет книгу об одном художнике. Его убили в тридцать восьмом. А сидел он в Ухте. И на зоне был художником. Вот расскажи Илье, ты три зоны сменил...

— Четыре, — сказал Семеныч.

— Четыре, — согласился Фальк. — Как живут на зоне художники?

— Хорошо живут, — осторожно сказал Семеныч. — Плакаты пишут. «На свободу с чистой совестью». «Жарким трудом растопим вино перед родиной». Или вот еще в стихах есть: «Кто работал и трудился, тот давно освободился». И правда, освободился: закопали его с биркой на ноге.

Слушали молча и на шутку хмыкнули в унисон. Семеныч отчего-то рассердился:

— Хорошо, говорю, живут художники. Как и все придурки. И на воле так же точно. Ты вот, например, писатель, говоришь. Значит, и ты — придурок на этой зоне. Придурок у советской власти. Услужаящий, значит, если непонятно. Пишешь ведь, небось, как поешь: хорошо в стране советской жить.

— Это ты, пожалуй, зря взъерился, — быстро сказал Фальк, зная, очевидно, переходы гостя от настроен-

ния к настроению. — Илья по-настоящему пишет.

— Если печатают, значит, не по-настоящему, — запальчиво возразил Семеныч. — По-настоящему только Солженицын писал. Настоящий русский писатель. Вот его евреи и выгнали.

— Кто? — Рубин чуть не выкрикнул вопрос. — Евреи его выгнали?

— Ну да, — сказал Семеныч, явно в легком недоумении находясь, что два московских интеллигента не знают простого факта. — В Кремле-то ведь одни евреи сидят.

— А, эту концепцию я знаю, — одобрительно и спокойно сказал Фальк. — Очень, кстати, убедительная теория. Выслушайте, Илья, не возражайте.

— Вот я — еврей, — сказал Рубин. — Илья Аронович Рубин. И все в роду до единого человека — евреи. А в Кремле они, Семеныч, в придурках только есть. И то в мелких. Не пускают их туда.

— Какой ты еврей! — презрительно отмахнулся Семеныч. — Одно название. То же самое сказать, что Фальк — немец. А настоящие евреи, сионисты, — они давно уже у власти все сидят. Разве, посуди сам, русские люди стали бы так с русским народом обращаться? Это еще с Ленина и Троцкого пошло. Или скажешь, что и эти не евреи?

— Ленин, правда, на четверть еврей. Троцкий — да. Но ведь потом же еще Сталин был, Хрущев, Косыгин, Брежнев...

Рубин пытался понять, о чем говорит Семеныч, а Фальк уже беззвучно хохотал.

— Сталин — тот грузин, это спору нету, но при нем всю машину вертел Берия, грузинский еврей, они там мингрелы называются, — спокойно и твердо объяснил ему Семеныч. — Хоть усатый и сам был сучий выродок, но что верно, то не спорю: грузин. А уж Никита-кукурузник, из-за которого весь скот в деревнях извелся, Косыгин, Громыка криворотый и хитрожопый, Брежнев и остальные все — чистые евреи. То есть сионисты. Ты Андропову не всматривался в рожу? У него же морда — тютя в тютю зубной врач у нас в поселке. Тютя в тютю. А врач — еврей. Только обычный, вроде тебя. А эти — сионисты. Они всем людям враги. Особенно русскому народу. А на фамилии ты не смотри — это специальные кликухи. Они как раньше привыкли в своем партийном подполье под кликухами жить, так и пошла повадка

дальше. С понтом — русские ребята. Биографии себе насочиняли. Они же издеваются над Россией! Как может русский человек так измываться над родной страной? Он ее ругать может, злиться, материть из конца в конец, наебывать помаленьку, проклинать может в белом гневе, но она ему остается мать! А эти все в Кремле — специальные евреи. Может, у них, конечно, хер не у всех обрезан, в бане я не мылся с ними, только думаю, что у многих и обрезан. Разве русские люди могут обосрать и выгнать русского писателя, который правду о лагерях написал, всю правду рассказал про мучения русского народа? Вот за Сахарова я не знаю, не поручусь, тут много стремного, — больно много лет он у них в придурках ходил. Кстати, лектор у нас выступал в поселке, тоже смутно нам намекал, что еврей Сахаров. Дескать, слепое орудие в руках сионизма, не может быть ему не сродни. Откуда я про мировой сионизм узнал? Да от того же лектора. Мы его после доклада подпоили, он все выложил. Часа три сидели. Нет, он за вождей, конечно, прямо не сказал, темнил про них, он только про щупальца говорил, что разбросаны, дескать, по всей планете, и что сами, мол, часто не знаем, с кем живем. Но тут только безмозглый не догадается. Чего молчишь-то? Не согласен?

Рубин сейчас вовсе не о возражениях думал — что тут возражать, — а выйти и записать хотел, но было неудобно.

— То-то, — назидательно и хмуро сказал Семеныч. — Тут крыть нечем. А мы все только потому и живы, что сопротивляемся как можем. Где туфту прогоним, где украдем. С понтом — все согласны, и все — с единым сердцем. Тем и живы, что их наебываем. Правда, и они нас изрядно гнут. Но не согнули.

Он уткнул лицо в ладони, продолжая глухо что-то бормотать. Зримо видно было, как душа его (или разум) боролись с алкоголем, изнемогая, — ему явно не хотелось сдаваться. Рубин вопросительно посмотрел на Фалька, но тот спокойно ждал. И Семеныч, проведя ладонями по лицу, словно снимая хмель, опять вдруг ожил. И немедленно продолжил тему:

— У евреев, что нами правят, — сказал он Рубину наставительно, — святого нет. А я вот пьяный, сраный, зек по жизни, а святое у меня есть. Родина, мать, Новиков... Новиков — это я, — пояснил он.

Фальк захохотал, влюбленно глядя на Семеныча.

Тот недовольно глянул на него и тоже заулыбался. Хмель как будто отступил от него на время, сдавшись воле.

Теперь наливал Фальк. Он и произнес тост.

— Мужики, — сказал он торжественно. — Давайте! Чтоб мы так жили, как мы сидим.

— Хорошо загнул, — сказал Семеныч.

Теперь закусили мясом.

— Просьба у меня к тебе, Семеныч, — сказал Фальк очень серьезно. — Ты заметил, когда я Илье звонить кинулся? Когда ты рассказывал мне, как на воле тебе тяжело живется и отчего тебе в лагере легче было.

— Не в пример, — качнул головой Семеныч. Он уже опять заметно отяжелел.

— Вот и расскажи, пожалуйста, Илье, почему на зоне легче. Ему это очень нужно услышать.

— Вроде ты меня на сцену выставляешь, Юлий, — сказал укоризненно Семеныч. — Самое что ни есть козлиное место.

— Неправда твоя, — трезво возразил Фальк. — Здесь все свои. А мысли твои моему товарищу интересны.

— Смешно, ей-Богу, — сказал Семеныч, не улыбаясь, — что кому-то мои мысли интересны. Что ли писать будешь? Протокол? — спросил он недружелюбно. Но тут Семеныч перевел взгляд на Фалька, сразу помягчел, лицо расслабилось, и он покорно сказал:

— В точности так же не повторю.

— Как сумеешь, — пожал плечами Фальк.

— Я ему тут, Илья, рассказывал, — сказал Семеныч вяло, — что на воле тяжелее жить, чем в лагере. Я четырнадцать лет там пробыл, мне можно верить. Колготней на воле. Главное, на воле у вас вкалывать надо. Мантулить, горбить, рогом упираться. Иначе ни пожрать, ни выпить, ни одеться. А на зоне ишачат только дураки. Потому что сколько ни работай, много ли мало — пайка та же. Пайку ты мне отдай. А на приварок, на ларек то есть, бригадир всегда туфту запишет. Вот и смекай, стоит ли трудиться. Уметь, конечно, надо увораживать. Но сметливые быстро научаются. Это, значит, первое. Дальше, тут на воле всякий свое талдычит. Свой обычай у всякого, свои замашки, своя повадка. Это, мол, нехорошо, тут так нельзя, а здесь надо и вовсе иначе. Заебешься разбираться.

— Вы еще не чувствуете, Илья? — радостно спросил Фальк. — Это ведь Семеныч аккуратнейшим образом перечисляет аргументы против эмиграции. Просто лагерная модель. Это он сейчас об иной ментальности говорил.

Рубин еще на словах Семеныча о необходимости вкалывать понял, о чем речь. Он кивнул головой, чтобы не отвлекать Семеныча. Но тот спросил у Фалька:

— А ментальность — это о ментах, что ли?

— Нет, — засмеялся Фальк, — это о духовном складе. О привычках, обычаях, традициях. А ты все правильно нам очень излагаешь.

— Ну, я как чувствую, — Семеныч был польщен, и слова его полились энергичней.

— Крутиться трудней на воле. У меня на зоне кругом свои. Всегда знаю, где достать, у кого спросить, где украсть, через кого устроить, кого как прижать, а кому довериться. А на воле — без поллитра не разберешься. В лагере у меня все схвачено, там как меня ни паси и ни ограничивай, а бацилла всегда у меня есть (тут он рукой на еду показал, заботясь, чтоб Илья понял слово, произнесенное на фене), табак есть, чай есть, водку я достать сумею. С развлечениями, правда, лучше на воле. Даже не о бабах говорю, а вообще. Так ведь тоже привыкаешь без них жить, вроде вовсе не надо тебе этого гарнира с соусом, что за проволокой есть на воле. Телевизор, кстати, тоже у нас есть, радио есть, кино по выходным привозят, хоть и без него можно. Да! Главное чуть не забыл. Вот что: я на зоне человек, меня все знают, я куче народа нужен: друзьям-приятелям, другим разным, кому со мной сподручно или интересно. А на волю вышел — никому я не нужен, через лупу не заметен. Каждый сам по себе у вас на воле. Каждый в свою дуду. Отработать, дом, телевизор, баба, машина, дети, садик и дача. Тьфу! А разговаривают о чем? О шмотках! Хуже баб. И это молодые! Или про хоккей с футболом. А на зоне справедливость обсуждают и насквозь всю жизнь. Повыше разговор выходит. О жратве-то или про курорт — бесполезно, неинтересно даже, вот и толкуют о душевном. Такие мысли наворачивают! Историй тоже у каждого невпроворот, судьба крученная, оттого и истории. А еще на воле все к себе тянут, на себя одеяло норовят. А на зоне сам по себе не проживешь. Ты это, Юлий, знаешь. Правда же? Потому только там дружба и есть. В лаге-

ре мы все вместе, кто людьми остался, конечно, там каждый нужен каждому, я говорил уже про это. И на зоне меня — хер наебешь, я насквозь вижу любого на зоне, а на воле — непонятные люди, он сегодня один, а завтра — не узнаешь его. На зоне ты хер изменишься, завязан очень ты с кентами своими, кодлом живешь. Не объясню я тебе все словами, это кожей надо почувствовать хотя бы годик.

— Ты еще одно забыл, Семеныч, — мягко сказал Фальк, очень внимательно слушавший его. — Смысл жизни.

— Это я не помню что-то, — пробурчал Семеныч, вниманием нескрываемо польщенный. И налил себе полный почти фужер, искоса убедившись, что в других еще немного водки оставалось.

— Давайте, мужики, а то я скоро рухну.

Снова ковырнули кто что. Снова закурили. Помолчали.

— О сопротивлении, — сказал Фальк. — О надежде. О болезнях.

— Правильно! — оживился Семеныч. — Голова у тебя, Юлий, как капкан.

— Мышеловка, — усмехнулся Фальк. — А то б в ученые вышел.

— Твои ученые нам сигнализацию изобретают, чтоб через колючку мы не сгали, — сказал Семеныч. — Не огорчайся, что не вышел. Дай лучше доскажу. Понимасшь, Илья, на зоне вся жизнь словно бы назло вертухаям. Они ведь, падлы, все делают, чтобы мы подошли или, по крайности, скотами стали. Животными. А мы сопротивляемся как можем. Какой-то, выходит, смысл у наших жизней есть. И уцелеть, и не оскотиниться, и не прогнить. Ох, как многие сгнивают на зоне! Просто ничего в них человеческого не остается. И еще надежда есть на зоне, жизни опора. Всегда просветы впереди. У кого амнистия — кто поглупей и подоверчивей, у кого — послабление режима, а у всех вместе — конец срока. Вот выйдем — и поживем! И от этого жизнь упругая становится, просто не найду другого слова. А на волю вышел — ну и что? Жрать вольготней, спать помягче — вот и все. И как будто лопается что-то, что держало, места себе никак не найдешь, пустота гложет. Ты заметь, между прочим, оттого на зоне и болеют меньше. Нельзя болеть. И организм сам прекрасно знает. Простуды всякие, хуяды, насмор-

ки, о них знать почти не знают. Ну, если серьезное что, тогда конец, конечно. Кранты. Потому что врачешки никудышные. Так ведь бесплатная медицина у нас. И на этом тоже наебывают. Она бесплатная, но ей такая и цена. Только чувство, что вопреки падлам ты живешь, — оно крепко организм держит, поверь на слово. Извините, мужики, в сортир пойду. Юлий, не сердчай, у тебя можно кемарнуть до вечера?

— О чем ты говоришь, — сказал Фальк. — Сколько угодно можно. Только не засни в сортире. Не дотащим мы тебя. Квелые.

— Обижаетесь, начальник, — пьяно и дружелюбно сказал Семеныч.

Встав и резко покачнувшись, он нетвердо вышел в коридор.

— Ну-с, — торжествующе спросил Фальк, — теперь вы поняли, Илья Аронович, отчего мучаются наши советские эмигранты на диком Западе?

— Удивительно, — сказал Рубин. — Сейчас тоже пойду в сортир. С понтом в сортир, как вы, зеки, говорите, а на самом деле — записывать.

— Пишите здесь, — сказал Фальк. — Я сейчас Семеныча спать уложу. Он готов уже. Он первую бутылку сам выпил, я ведь только на донышко себе плещу, мне мало надо, он это знает.

— Неудобная ситуация какая-то, — вдруг сказал Рубин. — Классическая. Хрестоматийная, верней. Швед и еврей до бесчувствия спавают русского.

— Ну, во-первых, я чисто русский человек, — сухо возразил Фальк. — Русский потомственный дворянин. Так точнее. Национальность — это самоощущение, а не анкета, не становитесь на фашистскую и советскую точку зрения. Во-вторых, пил он сам, добровольно и с большим удовольствием. В-третьих, мы не интимные тайны у него выпрашивали.

— Я пошутил, — ответил Рубин, но Фальк был немолчим.

— Плохая шутка, Илья. Уж извините. Социалистическая.

— Впрочем, вы в чем-то правы, — Фальк понял, что перегнул и смягчился, — мы ведь от него правду слушали, а правда — наша главная военная тайна. Он еще когда-то мне про москвичей забавно излагал — за что их в лагерях не любят.

— А не любят? — Рубин этого не знал.

— О! — Фальк очень, кажется, обрадовался случаю стать похожим на Семеныча лагерным волком, для чего нахмурил лоб, тяжело посуровел, но не выдержал и засмеялся. — Не любят очень. А доводы и причины — в точности те же, за что на воле евреев не любят. Ей-Богу, век свободы не видать. Не рассердитесь?

— Обижаешь, начальник, — грамотно сказал Рубин.

Фальк принялся перечислять, загибая пальцы на руках:

— Москвичи — они, во-первых, наглые. Во-вторых, нахватанные, то есть понаслышке что-то знают, отчего наглости только прибавляется у них. В-третьих, они кучкуются и всегда своим помогают. В-четвертых, они всюду лезут, всякой бочке затычка, управы на них нет; не успел оглянуться и подумать, а еврей уже сообразил и первой тебя успел. То есть, простите, москвич. И вообще им больше всех надо, прут и прут — то они права качают, то затевают что-то, раздражают очень своей неугомонностью. Узнаете?

— Да, — с наслаждением протянул Рубин. — Ведь и вправду раздражать должны.

— Вообще социальным психологам сидеть бы надо и сидеть на зоне, — сказал Фальк, допивая невидимую каплю из своего фужера. — Только там нашу загадочную душу и изучишь. Может быть, желаете, Илья Аронович? Легко могу помочь.

— А за что он сидел? — спросил Рубин, меняя тему.

— Убил свою сестру и ее сожителя за то, что они по пьянке издевались над стариком-отцом. Он в разъездах постоянно был, а вернулся как-то, и соседи рассказали. Вышку сперва ему давали. Заменили на десять лет. А в лагере он лет через пять убил бригадира: тоже за издевательство — над зеками. Кстати, не над собой. У него удивительная нетерпимость к любому виду унижения. Раз я спросил его на зоне, что бы он сделал с начальством лагеря, если бы имел возможность. Убил бы или иначе распорядился? Он подумал и твердо сказал, что нет. Я бы их, Юлий, говорит, такому же унижению подверг, как они нас, только погуще. Например, расстрелом испугал, наверняка они в ногах бы ползали и рыдали, что не по собственной воле были скотами. Что-то в этом роде, уже не помню. Он своеобразный человек. Не боится, кстати, ничего, и потому его другие

боялись. Даже говорить вслух, что думает, не боится, а ведь это сейчас в России вообще забытая смелость. Вся наша необъятная родина прочно держит за зубами свой могучий, правдивый и свободный, а Семеныч, сколько помню его, всегда лепил, что думал. Ох, и на-терпелся он за это! Он очень умен, если вы заметили. Тоже своеобразно, только это от дремучей темноты. А невероятно умен.

— А про евреев эта чушь смешная? — спросил Рубин. — Вы не пробовали опровергать его, объяснить, спорить? Если, тем более, он умен.

— Тут я вам, Илюша, удивляюсь, — сказал Фальк. — Это же естественный миф, картина мира, как его можно опровергнуть? Он же вовсе не антисемит. Для него точно так же, как для верующего — дьявол, а для философа — мировое зло, сионизм — рабочая деталь мироздания. И куда он может деться от такой картины мира? По радио ему трубят, в телевизоре показывают и объясняют, в газетах пишут, лекторы растолковывают. А разве не то же самое делает чисто русский гений Солженицын, сваливая на евреев революцию? А разве не то же самое делают сегодня патриоты-славянофилы-черносотенцы, утверждая, что Москва имеет форму шестиконечной звезды, что высотные здания похожи на субботний семисвечник, что метро строили согласно протоколам сионских мудрецов, чтобы силам тьмы было сподручней разом выйти однажды из-под земли? Разве имеет смысл разубеждать? У него естественная для его уровня картина мира. Не хуже других. Кстати, не уснул ли он там? Он пьянеет очень резко, я давно с этим знаком, — деловито сказал Фальк.

Нет, не уснул Семеныч, даже протрезвел чуть-чуть; как раз он входил в комнату.

— Извините, мужики, можно я лягу? — сказал он вяло. И, не дожидаясь ответа, подошел к дивану Фалька. Рухнул и уснул, как провалился.

Фальк постоял над ним задумчиво и медленно сказал:

— Какой-то поэт в начале века заметил, что пьянство — это соитие нашего душевного астрала с музыкой мироздания.

Рубин вытащил блокнот и спешно нацарапал в нем десяток закорючек для памяти.

— Ну, мы продолжим? — неуверенно спросил

Фальк. — Вам было интересно встретиться с настоящей жизнью?

— Очень, — сказал Рубин. — Спасибо. Из меня, правда, весь хмель выветрился, но пить я больше не хочу.

— Забиться в свою комнату и записать хотите? — одобрительно засмеялся Фальк.

— Еще в троллейбусе начну, — сказал Рубин. — Видите ли, эта похожесть картин мира на всех уровнях очень много обещает евреям в ближайшем будущем.

— Конечно, — уверенно сказал Фальк. — А почему, как вы думаете, Бог открыл им щель для спасения? Просто большинство боится ей воспользоваться. И в Германии было то же самое.

— Я думал, щель эту открыло правительство, — сказал Рубин для подначки.

— Что оно может! — презрительно сказал Фальк. — Оно может только закупоривать. И держать до последнего. А зависит от него — вот столечко, — и он показал тесно сведенными тонкими пальцами, сколь мало зависит от правительства.

— Сдох усатый, надорвался, — сказал Фальк, — но дело его живет. Покуда созревает просто.

— Но ведь это коснется и массы интеллигентов, — сказал Рубин. — К ним такое же у всех отношение, как у Семеныча — к придуркам.

— Боюсь, что да, — сказал Фальк бодро. — Даже обязательно коснется всех.

— А что же делать? — глупо спросил Рубин.

— Смеяться! — ответил Фальк. — Вы что-то заскучили?

Рубина точило ощущение, что он уже это слышал.

И внезапно вспомнил, что не слышал, а сам же написал, просто не придавал значения: шутка, она и есть шутка.

— Странно, Юлий Семенович, — пробормотал он, — у меня стишок один есть. Разрешите?

И Рубин прочитал, припоминая строчки: «Еще он проснется, народ-исполин, и дух его мыслей свободных взовьется, как пух из еврейских перин во дни пробуждений народных».

— А вот это — я запишу, — засмеялся Фальк. — Так что и вам спасибо. Не исчезайте.

— В Питер я сегодня еду, — объяснил Рубин уже в

дверях. — Пора семью кормить, везу заявку на сценарий.

— Удачи, — бросил Фальк, захлопывая дверь.

* * *

Трубку долго никто не поднимал, и Рубин решил, что Кунина в Ленинграде нет. Где же он мог быть так рано утром? На даче? У них дачи нет. В больнице? А Наталья на работе. Вроде бы она на пенсию собиралась. О, кто-то есть.

— Слушаю вас внимательно, — Рубин давно уже не слышал этот знакомый насмешливый голос.

— Антон Миронович, вас беспокоит некто Рубин, — сказал он радостно и поспешно.

В трубке помолчали секунду.

— Не имею чести такого помнить, — холодно сказал густой низкий голос старика Кунина.

— Антон Миронович, вы сердитесь на меня? За что?

— Один довольно гнусного вида молодой человек средних лет был трижды за этот год в колыбели нашей революции и ни разу даже не позвонил одинокому больному старику, — назидательно сказал Кунин.

— Почему одинокому? — испугался Рубин. — А где Наташа?

— Наташа в библиотеке, она работает, ей месяц до пенсии. А одинокому — потому что человек одинок по замыслу свыше, — объяснил Кунин так подробно и спокойно, словно они уже сидели за столом. Сказывалась привычка общаться по телефону, он мало выходил в последние годы.

— Я сегодня же хотел бы оправдаться, — сказал Рубин торопливо.

— Приходите часам к семи, — сказал Кунин снисходительно.

— А пораньше можно? — спросил Рубин.

— Пожалуйста, только никого не будет дома, — приветливо ответил Кунин, — обнимаю вас, Илья. С приездом.

— До вечера, — буркнул Рубин и медленно пошел на киностудию, радуясь любимому городу.

В полседьмого он уже ехал в автобусе, сутулясь, чтобы не помяли обретенный в магазинной давке торт.

— Какой вальяжный и импозантный! Он поэтому

на нас и наплевал. Какой комильфотный и респектабельный! Он поэтому чихал на стариков! Как жовиален и экспансивен! А куртуазность какова! Наташка, возьми торт, он куплен на трудовые доходы за словоблудие. Какой галант и эlegant! — так встретил Рубина старик восьмидесяти пяти лет, очень плотный, но толстым не казавшийся, в засученной до локтей рубашке, обнажавшей крепкие волосатые руки биндюжника, а не музыканта, с черно-седой, вполне сохранившейся шевелюрой, с хищным и твердым, очень красивым мужским лицом. Только рост слегка подводил Кунина: сто шестьдесят четыре сантиметра — как у Сталина, часто говорил он, а мерзавцу это ведь нисколько не мешало. Зато я значительно выше Наполеона, добавлял он обычно. Его жена Наташа, улыбочивая и милая, была очень худошава, отчего выглядела моложе своего возраста. А когда смеялась, вообще молодела чрезвычайно — морщины вписывались в улыбку, а былая красота и миловидность — проступали ясней.

— Через месяц на пенсию, представляешь мое счастье? — сказала она, целуя Рубина.

— И сразу же — за стол, — властно сказал Кунин. — Как это у Достоевского сказано: сперва накормите человека, и только после этого лишайте его добродетели.

Атмосфера кунинского дома всегда счастливо возбуждала Рубина. Четыре огромных старинной выделки книжных шкафа стояли в комнате, возносясь к высоким потолкам петербургской старой квартиры. Оставшаяся плоскость стен была увешана рисунками многочисленных друзей и знакомых.

— Ну, рассказывай, за что ты нас так презираешь? — потребовал Кунин, сев к столу. Уже расставлены были рюмки, нарезаны колбаса и сыр, открыты шпроты; даже несколько сырых яиц — ими Рубин издавна любил запивать водку — были не забыты Наташей.

— Расскажите сперва, как вы себя чувствуете, — попросил Рубин. — А то прогоните меня, и я не буду знать главного.

— Прекрасно я себя чувствую. Не увиливай. Я безнадёжно здоров, — обрезал Кунин эту тему.

— Типун тебе на язык, — сказала Наташа. — Тьфу-тьфу-тьфу!

И они постукали все трое, чтоб не сглазить, — Ру-

бин и Наташа — по ножке стола, Кунин — по лбу над кустистыми седыми бровями.

— Я мотаюсь, как загнанная мышь, — начал Рубин. — Вы ведь знаете, какую дрянь я пишу, чтобы кормиться.

— Конечно. Про неустанное биение мысли у озаренных исследователей природы. Наука на марше. Мироздание раскрывает секреты младшему научному сотруднику Васе Плюеву. Аппараты современных лабораторий — инструмент его пылливой интуиции. Моральность личной жизни — залог его научной проницательности. За порогом неведомого Васю ждут пути в неизвестное.

— Совершенно точно. Только хуже. Этот стишок я вам читал? «Толпа естествоиспытателей на тайны жизни пялит взоры, а жизнь их шлет к ебене матери сквозь их могучие приборы».

— Илья милый, — сказал старик с непривычной для него серьезностью, — ты бы писал стихи, они ведь получаются у тебя. И вон возьми сразу листок, запиши мне это. И не откладывай его, еще читать будешь. Понимаю, кормиться надо...

Он замолк на секунду, налил Рубину водки, налил жене, делая это истово и с удовольствием, плеснул себе.

— Это мне на весь вечер, Наташка, — предупредил он ее безмолвную просьбу. — Вот увидишь. У меня железная воля. И несокрушимое здоровье, — добавил он. — Типун мне на язык, тьфу-тьфу-тьфу — правда, Наталья?

— Хорошо мне с вами, мужики, — сказала Наташа. — Такие вы дураки оба, сейчас редко таких отыщешь. Слушай, Илья, а ведь ты нашел себе в Москве такого же, к нам приезжал с запиской от тебя и целый день прогостевал. Этот, как его?..

— Фальк, — обрадовался Рубин. — Изумительный мужик. Я забыл совсем, что он сюда ездил. Он тоже был от вас в восторге.

— Что они здесь болтали друг другу, Илья, ты не можешь себе представить, — сказала Наташа. — Я умираю над ними со смеху. Оба они впали в полное идиотическое блаженство.

— Могу представить, — сказал Рубин с завистью и поднял рюмку.

— Не надо только пить за мое здоровье, — скривился старик. — Лучший тост в мире — со свиданьем.

Они чокнулись. Водка была холодная, лимонная кор-

ка побыла в ней ровно столько, сколько нужно. Наташа вынула свою рюмку до дна, Кунин только пригубил.

— Он хороший врач, должно быть, твой Фальк? — то ли спросил, то ли констатировал Кунин. — Ты ешь, Илья, ешь, мы с Наташкой целый день ели.

— Так вы дома были? — удивился Рубин. — Что же не пустили меня раньше?

— Военная хитрость дряхлой старости, — объяснил Кунин, нюхая ломтик сыра. — Ты ведь забываешь, сопляк, что я мастодонт, плезиозавр, ископаемое. У меня хватает сил только на вечер, и я целый день лежу, как сволочь, чтобы вечером прийти в себя.

Краем глаза Рубин увидел лицо Наташи. Страх и боль быстро промелькнули на нем, и она чуть опустила голову, чтобы скрыть их. Рубин вспомнил о количестве перенесенных стариком инфарктов. При общении с Куниним это забывалось так же, как и его годы.

— Так что не серчай и расскажи про своего Фалька. Хороший очень врач, правда же? Умен, как собака, аж завидно делается.

— По-моему, он настоящий врач. Я у Фалька не лечился, пациентов его тоже не знаю, но он сохранил редкостную для врача черту — любит своих больных.

— Это да, — сказал Кунин одобрительно. — Это видно. Мы с ним тут заспорили о циниках и романтиках. Что-то я ему сболтнул, а он мне говорит: я никак, мол, не пойму, уважаемый Антон Миронович, вы циник или романтик? Я ему отвечаю, что поскольку романтика изгажена, испакощена и просто засрана деятелями комсомола, то я предпочел бы в циники. Но с другой стороны, я люблю жизнь, у меня с ней длительный роман, так что я романтик тоже.

— Он еще тебе сказал, что ты — циклик, что ли? — вмешалась Наташа.

— Женщина, — укоризненно сказал Кунин, — это был врачебный диагноз, он сказал, что я циклотимик.

— Вот-вот, — обрадовалась Наташа. Илья, а почему он отказывается объяснить мне, что это такое, и смеется?

— Это не болезнь, это особенность характера, — объяснил Рубин. — Частый переход от хорошего настроения — к очень подавленному, угрюмому. Бывает это с Антон Миронычем?

— Еще как! — сказала Наташа, по-девичьи всплеснув руками. — Так ведь он, злодей, хорошее настроение

тратит на гостей и приятелей, а в плохое — так меня тиранит, ты себе даже не представляешь. Я ведь вообще несчастная женщина, — сказала она бодро и радостно. — Давай еще по маленькой, Илюша? Выпьем за здоровье этого деспота?

— Ни за что, — сказал Кунин. — Разливаю я, и тосты мои. Вам же нужен за столом пошляк. Это я.

Уважительно наклоняясь, он налил им полные рюмки.

— Друзья мои, — торжественно сказал он. — Давайте выпьем за все то, благодаря чему мы, — несмотря ни на что, все-таки.

И снова сделал капельный глоток.

— А для души писать уже не остается времени? — спросил он Рубина и тут же спохватился. — Кроме стихов, разумеется. Это у тебя важная ветвь. Прочти стихок, после ответишь. Любой.

Рубин покосился на Наташу: лицо ее было безоблачным и счастливым. Он подмигнул и прочитал вспомнившиеся строчки. «Когда в семейных шумных сварах жена бывает неправа, об этом позже в мемуарах скорбит прозревшая вдова».

И уже на середине спохватился, какую дикую бестактность допускает в доме, где вот-вот это случится, но нельзя было останавливаться, было бы хуже. На Наташу он старался не смотреть, а Кунин поощрительно захохотал:

— Запиши, сразу запиши, я буду их читать Наташке, когда она меня пилит.

Рубин хотел сгладить свой промах, но как всегда в таких случаях, ничего не всплывало в памяти.

— Дайте я вам похвастаюсь, — сказал он. — Тут недавно у тещи в доме был семейный праздник и пришел один дальний родственник, недавно окончил университет. Весь из себя филолог. С такой естественной заносчивостью молодого ученого, который много знает, а еще большее вот-вот поймет и объяснит.

На Наташу Рубин все еще боялся посмотреть.

— Заговорили почему-то о фольклоре. Он им тоже занимается. Я ему говорю, что умер фольклор, задавил его насмерть радио и прочие успехи прогресса, и теперь фольклор сочиняют профессионалы. Вы, он говорит, дядя Илья, просто не в курсе жизни, множество есть народных частушек и до сих пор. Удачных? — спрашиваю. Литература, отвечает он надменно. Почитай,

говорю. Читает шесть штук. Из них три — мои. Я от гордости чуть не лопнул.

Наташа захлопала в ладоши.

— Какие, Илья?

— Да вы их знаете наверняка, им уже лет двадцать, — сказал Рубин. «Ты, подружка дорогая, зря такая робкая, лично я, хотя худая, но ужасно ебкая»

Мат воспринимался в этом доме, начисто лишенном ханжества, спокойно и с удовольствием, если служил своему благородному назначению оттенить и заострить смысл и чувство сказанного.

— Еще, — попросил Кунин. — Эту я знаю.

— Тоже старая, — сказал Рубин. «Я евреям не даю, я в ладу с эпохой, я их сразу узнаю — по носу и по хую.»

— А третья? — Наташа явно была рада уходу от того идиотского напоминания.

— Слушай-ка, — сказал Кунин. — А ты ведь все свои частушки пишешь от женского лица, что это за тайная аномалия?

— Не знаю, — искренне пожал плечами Рубин. Третью он читать не хотел, ей тоже не следовало звучать в доме, где есть старик. Спеша уйти от просьбы и не в силах подыскать замену, он торопливо и оживленно сказал:

— Нет, я другому стишку больше радуюсь. Его бы можно в виде эпитафии подарить какому-нибудь журналу из иностранных на русском языке. Все мечтаю его Синявскому в «Синтаксис» послать. Они там единственные о наших проблемах здраво рассуждают.

— Ты читай, читай, — прервал его Кунин.

Рубин прочел с выражением: — «Благословен печальный труд российской мысли, что хлопочет, чтоб оживить цветущий труп, который этого не хочет».

— Годится, — скупой похвалил старик и наполнил рюмки снова. — Давай, Наташка, выпьем за это бесплодно растраченное дарование.

— Почему же бесплодно? — обиделся Рубин. — Я сейчас взялся за настоящую книгу.

— Печатную? — брезгливо спросил Кунин.

— Как получится, — Рубин и вправду еще сам того не знал. — Я наткнулся на судьбу удивительного человека. Был такой художник и поэт Николай Бруни...

— Музыкантом еще он был, — сказал Антон Минович.

Рубин остолбенело смотрел на него.

— И летчиком, — самодовольно добавил Кунин. — Ты все время забываешь, Илья, что я динозавр и мамонт. Птеродактиль я. Из раньшего времени, как говорила наша кухарка. Я его просто знал, Илюша.

— Вы... — Рубин был ошеломлен.

— А ты ищешь его следы в пыльном книжном вранье, не правда ли? — Кунин сиял от удовольствия.

— Не совсем, — Рубин пришел в себя. — Я ищу людей того времени. Только знаете, честно говоря, я о вас и вправду даже не подумал.

— Это делает честь мне, но не тебе, — Кунин быстро взял бутылку и плеснул себе водки. — Согласись, Наташа, что я должен освежить свою память для предстоящего интервью, — важно сказал он.

— Здорово вы меня, — медленно протянул Рубин. — И как долго вы общались?

— Один вечер, — сказал старик. — И поэтому я помню его всю жизнь. Он увлек мою любимую девушку.

— Всегда одно и то же, — сказала Наташа.

— Это было до тебя, друг мой, а значит — не было вообще, — ответил Кунин. — Нет, Илья, не делайте на меня стойку, я вам очень мало о нем расскажу. После того вечера у меня неоднократно была возможность с ним встретиться, но я этого избегал. Да-да. И не смотри на меня, как Вольтер на церковь, Ленин на буржуазию, а интеллигент на клопа. Я же не знал, что спустя почти семьдесят лет станет необходимо, чтобы я с ним встречался чаще. Мне одного вечера хватило по горло. Он у меня первую любовь порушил. Увидав его, она ко мне остыла напрочь. Мне было семнадцать лет. А ему, между прочим, лет на десять больше.

— Ровно на десять, — пробормотал Рубин.

— Вот и мог бы иметь сочувствие к юной страсти. А он ее очаровал и увлек. Он весь из себя красавец был. Я тоже, но я тогда еще не расцвел. Кстати, он весь покалеченный был, только-только сросся. Самолет у него разбился вместе с ним.

— Да, это он, — кивнул Рубин. — А стихов не читал?

— Много читал. Не помню, свои ли. Декадентские какие-то. Или символистов. Я это всегда путал. А одно превосходно помню, после я натыкался на него. Ходасевича такое странное стихотворение. Об авиаторе. Кажется, так и называется. Как его манит к себе земля.

Очень это впечатлило всех тогда в сочетании с его личной судьбой. И отчасти мою судьбу решило. Ах, как я любил эту Анечку!

— Так же звали его жену! — изумился Рубин. — Сколько ей было лет?

— Анечка была моя ровесница. Мы собирались в Москве на Солянке, дом я отлично помню. Это было у родителей Сеньки Туровского, он учился тогда в консерватории. Или только собирался? Потом стал пианистом, потом нэпманом. Да-да, открыл кафе, где сидел за пианино все вечера, а на кассе была его жена, она же, по-моему, готовила еду. Кстати, у нее был бюст в точности как у кассы. После посадили их обоих, когда нэп закрыли. А Бруни, он тогда, кажется, к его родителям зашел, но ввязался в нашу юную компанию, где все от него сомлели.

— Старшая дочь родилась у него в двадцать первом, — задумчиво проговорил Рубин.

— Анечка вполне могла рожать, — мечтательно сказал Кунин.

— Он играл вам? — спросил Рубин.

— Вот! Играл, отдаю должное, превосходно. Главный же талант был — в импровизации. Я тебе не буду всяких наших музыкальных терминов приводить, ты все равно в них разбираешься, как воробей в лингвистике... ты, кстати, знаешь, Наташка, что у нашего гостя нет ни слуха, ни голоса?

— Не отвлекайтесь, — попросил Рубин.

— Он божественно импровизировал. И на музыкальные темы, и на литературные. И весьма владел инструментом, это тебе тоже вряд ли понятно, но он был с ним на ты, это нечасто. Может быть, именно его импровизация тогда решила дело с Анечкой?

— Ну не паясничай, Илье ведь не нужна твоя запоздалая печаль, вспомни еще что-нибудь про Бруни, — сказала Наташа.

— Не смей мешать мне на закате дней мыслить, почему зачах мой рассвет, — надменно ответил Кунин. — Может быть, я был бы счастлив с ней. Знаешь, Илье, он был в свитере и кожанке. Торчал воротник рубашки. Очень порывистый, быстрый, яркий. Самое главное я скажу тебе сейчас, я на самом деле все время думаю об этом, просто женщина мне мешает размышлять. Не та женщина, а эта, заметь. Меня всегда отвлекали женщины, хотя музыку я любил не меньше, просто не та судь-

ба. Вот что главное, и в этом тебе надо мне поверить: он был обречен. Да, да, не вскидывайся, обрати лучше внимание, что я даже не спросил тебя, как он закончил жизнь. И вовсе не случайно не спросил. Он был обречен. И очень вскоре. А теперь подтверди мне, что я прав.

И Кунин тяжело, без тени улыбки, посмотрел на Рубина. Рубин кивнул. Открыл было рот, но Кунин остановил его:

— Сейчас расскажешь, дай объяснить.

Он поднял свою рюмку, но отвел ее, когда Рубин потянулся чокнуться.

— Давай не чокаясь. Возьми рюмку, Наталья. Помянем этих обреченных и всех прочих вместе с ними.

Они выпили. Кунин нюхнул корочку от того же сырного ломтя и аккуратнo положил ее на стол.

— Твой Бруни был человек очень способный, очень чистый и светлый. Увлекающийся и слишком заметный. Прятаться, ловчить, видоизменяться он просто не умел. Очевидно, так же, как лгать. Ты, я надеюсь, понимаешь разницу между ложью и враньем? Вранье — штука бытовая, я врал всю жизнь. Правда, только женщинам. Кроме Натальи, разумеется.

— Ну, знаешь, — возмутилась Наташа, но Рубин умоляюще на нее посмотрел, и она умолкла. Кунин усмехнулся, с нежностью глядя на жену.

— Такие приспособлялись плохо. Я очень много, Илья, людей повидал, ты себе вряд ли представляешь даже — сколько. А при таком количестве невольно впадаешь в соблазн классификации. Я словами эти группы не определяю, но чувственно различаю их безошибочно. Бруни был из тех, что ушли первыми. Из того, разумеется, поколения. К середине тридцатых их уже практически не было. Я имею в виду — на воле не было, а многих — и в живых. Теперь скажи, когда и как он погиб.

— Сел в тридцать четвертом в декабре, расстрелян в тридцать восьмом в феврале-марте, — хрипло сказал Рубин. Кунин тяжело кивнул головой.

— Значит, вы с ним встретились... — начал Рубин. Кунин живо перебил:

— В восемнадцатом, Илья. Под Рождество. Кстати, мне уже кажется, что не куртка у него кожаная была, а пальто. Кожанка такая знаменитая.

— Но ведь в восемнадцатом... — опять начал Рубин задумчиво, он уже понял, что женские имена совпали

случайно, так что Кунин очень кстати перебил его, захотав:

— Революция была, ты хочешь сказать. Непрерывно брали Зимний, шли с винтовками, били белых и махали флагами, да? Жизнь была, Илюша, обычнейшая жизнь. Люди музицировали, читали стихи, ходили в гости, влюблялись и заводили романы. Люди еще совсем не знали, что им предстоит. Даже то, что произошло, они осознавали слабо. Про Февральскую революцию — это да, а про Октябрьскую — кто там понимал? Как у тебя в стишке сказано? Где к Пушкину ты затерся в соавторы?

Рубин прочитал: «Открыв сомкнуты негой взоры, Россия вышла в неглиже на встречу утренней Авроры, готовой к выстрелу уже».

— Ужас, — сказала Наташа. — А ведь правда, на-верное, жили себе и жили...

— Сейчас вернусь, — сказал Кунин, — прошу прощения.

И легко поднявшись, вышел. Рубин обернулся к Наташе. У нее было совершенно иное, чем минуту назад, лицо. Осунувшееся, измученное, усталое. Она виновато посмотрела на Рубина.

— Все очень плохо, Илья, — сказала она вполголоса. — Это со дня на день может произойти. Врач к нам ходит, он сказал, что длится чудо, он такого и не понимает.

— Я даже не знал, что так серьезно, — бормотнул Рубин.

— Он запрещает мне вообще касаться этой темы. Обрывает, и все. Очень тяжело. Вроде как мы оба это ждем. Только по-разному.

— И ничего уже не сделать? — спросил Рубин, чтобы что-нибудь спросить.

Наташа покачала головой — и сразу же расцвела улыбкой: в комнату входил Кунин, неся пепельницу, пачку сигарет и спички.

— Поговорим о вещах серьезных, — возгласил он, садясь и входя в роль патриарха за семейным столом. — Только сперва закури, — приказал он Рубину. — Ты уже час мучаешься желанием покурить, но тебя воспитала мама, а не дружный коллектив, так что мало в тебе хамства, и поэтому ты стесняешься дымить при старом сердечнике. Который, хочу заметить, я недавно посчитал, курил в течение шестидесяти пяти лет без пере-

рыва. Доставай. И сейчас же прочитай что-нибудь о ку-
реве. У тебя наверняка есть.

Рубин покосился на Наташу, та беспомощно повела бровями. Он достал сигарету, размял ее и с наслаждением затянулся. Кунин вдохнул дым и тоже зажмурился от удовольствия. Стишок из недавних Рубин вспомнил сразу: «Нет, я не знал забавы лучшей, чем жечь табак, чуть захмелев, меж королевствующих сучек и ссучившихся королев.»

— Слушай, — сказал старик. — А ты знаешь, ты кто? Ты — Абрам Хайям!

Рубин засмеялся, польщенный. Неважно, подумал он, уже можно, ему уже можно прочитать и этот.

— Еще вспомнил, — сказал он. — «Случайно встретившись в аду с отпетой шлюхой, мной воспетой, вернусь я на сковороду уже, возможно, с сигаретой».

— Слушай, Илья, — спросила Наташа (значит, ничего, что прочитал), — ты ведь прекрасный семьянин, у тебя дома все в порядке, как ты пишешь такие пакости? Такой преданный муж.

— Оттого как раз, наверное, и пишу, — пожал плечами Рубин.

— А я по той же причине не пишу, — сказал Кунин.

— По противоположной, — поправила Наташа.

— Ну да, — охотно согласился Кунин, — по противоположной. — Но я тоже порядочный. Просто я любил семейную жизнь и от этого все время женился. Я не виноват, что очередные гастроли эту жизнь прерывали. Я недавно видел сон, Илья, удивительный, очень литературно-философский, если хочешь. Будто я уже на небе нахожусь, и ты мне не поверишь, но в раю.

Наташа громко и нервно засмеялась. Кунин укоризненно глянул на нее. Поставлю чай, виновато прошептала Наташа, и вышла. Кунин продолжал, и его живое лицо было совершенно безоблачным.

— Я всегда подозревал, Илья, что в раю очень скучно. Ты представь себе эти толпы усохших девственниц, да еще играющих на арфах. А так называемые приличные люди? От них и здесь воздуха не хватает, а там их миллиарды. А нищие духом? А идиоты, что искренне раскаялись? А просто бездари, которые безгрешны из-за своей полной и абсолютной импотенции во всех отношениях? Словом, ничего хорошего я от рая не ожидал. Но увиденное меня потрясло! Там просто-напросто никого не было. Где-то на безумном от меня расстоянии,

я даже во сне чувствовал его неодолимость, кто-то гулял, но я понимал, что туда не доберусь. Пустыня. То есть не пустыня, весь антураж рая соблюден: деревья, мелкие кущи всяческие, пенье птиц, благоуханье лужаек. И никого. И вдруг навстречу мне идет мой знакомый, мы его лет пять как похоронили — в полном человеческом облике и притом куда-то спешит. С книгами в руках, заметь, а он за всю свою жизнь только в детстве, может быть, прочел про Муму, и то потому, что в школе задали, а мать заставила, оставшись дома по бюллетеню. Кстати, был симпатичный человек и весь век проиграл на бильярде. Не бедствовал. Мишка, говорю, а ты как здесь? Он ко мне подходит так запросто, словно мы только вчера расстались, поделив выигрыш, и будто встреча не в раю, а в рюмочной на Литейном. Здорово, говорит, Антон, душевно рад тебя видеть. Почему ты, спрашиваю, здесь, ты ведь такой грешник, тебя при первой же облаве словят. Это, говорит, Антон, очень трудно объяснить, ты разберешься позже сам. Совсем не так мы все это себе воображали, и именно поэтому до сих пор умершие с живыми никак не общаются, тех их просто не поймут. Ах ты, говорю, темнила несчастный, проводи меня куда-нибудь и объясни. Нет, говорит, здесь каждый должен сам сориентироваться, от этого зависит его будущая вечная судьба. Засим, привет. Стой, говорю, объясни тогда единственное: почему здесь никого нет? И он мне очень важную штуку, оглянувшись, шепнул по дружбе. Слушай, Илья, какое он мне откровение поведал.

Кунин близко наклонился к Рубину, будто нечто важное и сокровенное собираясь передать. Рубин тоже наклонился вперед.

— После смерти, — торжественно сказал старик, — живут на небе только те, кто на земле жил настоящей полной жизнью! Каково?

И он откинулся назад, любуясь эффектом.

— Я проснулся, — медленно добавил он, — и подумал: а ведь, правда, прозябание здесь, я имею в виду всякую пресность, унылость, постность, тусклость и даже праведность отчасти — почему они должны быть после смерти какими-то иными? Хотя, конечно, это как-то посложнее.

— Кстати, — быстро выговорил он, — ты Наташку не забудь, если здесь бывать придется.

— Антон Миронович! — сказал Рубин и остановился.

— Сказано — и проехало, — поморщился Кунин. — Я ведь все знаю. Но что из этого? Не плакать же, не убиваться. Забудь. А вот и дамы!

— Соскучились без приличного общества? — спросила Наташа. — Представляю себе, что вы тут наплели без меня друг другу.

— Нет, Наталья, ты всегда была излишне подозрительной, — возразил Кунин и важно произнес: — Переходим к проблемам настоящим, будем учить молодых людей искусству жизни. Слушайте внимательно старого музыканта и книжника.

— И картежника, — добавила Наташа.

— Илюша, — попросил старик, — немедленно почти стишок про занудливых моральных баб. Неужели нету?

— Ха-ха! — ответил Рубин. — Два! И прочитал: — «У целомудренных особ путем таинственных течений прокисший зря любовный сок, идет в кефир нравоучений».

— Так их! — поощрительно воскликнул Кунин. — Еще! Рубин помнил еще: — «Есть дамы: каменные, как мрамор, и холодны, как зеркала, но раз обмякнув, эти дамы в дальнейшем липнут, как смола».

— Этот последний я с рождения знал, — подтвердил Кунин. — спасибо, милый.

— Господи, какие вы мерзавцы оба, — сказала Наташа, погладив Рубина по плечу.

— Илья, ты будешь последний дурак, если задумал серьезную книгу, — Кунин говорил сейчас всерьез, и Рубин сразу это ощутил. — Написаны горы назидательных серьезных книг. Из них одна хотя бы помогла людям жить? Очень немногие. Единицы. Ты не потянешь. Напиши такое, чтобы людям легче дышалось, когда будут читать. Трави им байки, истории и анекдоты. Поверь мне, я много прочитал, я не зря весь век возился с книгами. Скоро я встречу с твоим Бруни. Я надеюсь, что смогу простить ему свою былую обиду, и мы поговорим. И он спросит: что обо мне, забытом и безвестном человеке, пишет ваш приятель? Не знаете ли, Антон Миронович? И если я отвечу ему, что приятель пишет высокое жизнеописание, то Бруни плюнет и отвернется. Потому что он и здесь был мудрым челове-

ком, а уж там наверняка прибавил. Я хотел бы, Илья, вот что ему ответить...

Кунин остановился и разлил водку по рюмкам. Себе не долил, мимикой похвалившись Наташе, какой он выдержанный. Все молчали.

— Я скажу ему честно и открыто: он не о вас пишет книгу, уважаемый Николай..?

— Александрович, — подсказал Рубин.

— Не о вас. Он о свихнувшемся времени пишет. Оно взбесилось. Причем хуже всего, что безумие это подогревается свирепым здравым смыслом, который каждый человек в отдельности проявляет. Он вокруг нас пишет, Николай Александрович, и это вам должно быть приятно и интересно. Тебе, Илья, охота классикам серьезности подражать, так хочешь — я подарю тебе все тома своих пыльных классиков?

— Ой, нет! — искренне воскликнул Рубин.

— И правильно. Про наше бытие клочки надо писать, обрывки, мелочь и случайности. И если ты эти отдельные уловленные ноты сможешь увязать воедино, в смесь и мешанину невообразимую...

— Ты всю жизнь винегрет любил, — сказала Наташа.

— Лучшей закуски нет, — согласился Кунин и продолжал: — Это месиво значимых мелочей если ты сможешь хоть как-нибудь увязать — знаешь, чем будешь вознагражден? Чувством удивительного счастья. Да, да! Я всю жизнь был маленьким музыкантом, большего мне Господь не дал, но я тоже знаю это счастье. Потому что человек так устроен, что вознаграждается чувством счастья не за то, что создал что-нибудь великое и величественное, а за то, что изо всех сил к собственному потолку приближался, к пределу своих способностей. Это Бог устроил хитро, чтобы мы тянулись. Вот и ты — из разных мелких цветковых пятен собери картину, а не в классические зануды тянись.

— Для баек еще более нужны детали времени, — Рубин зачем-то попытался набить цену своей работе.

— Или отсутствие деталей, если оно звучит, — сказал старик.

— Этого я не понимаю, — нахмурился Рубин.

Кунин пошевелил пальцами, словно выживая объяснение из воздуха. И выудил.

— Одна художница, она сидела много лет, рассказывала про знакомых по лагерю воровок. У них у каж-

дой непременно оказывался в прошлом любовник-прокурор и непременно были уроки музыки на шикарном рояле в доме родителей. А художница спрашивала всегда: какой марки был рояль? А воровка мгновенно отвечала: черный.

Рубин засмеялся и вытянул из пачки еще одну сигарету. Наташа кивнула головой. Кунин продолжал возбужденно:

— Ни одной мелочи не чурайся. Это и есть тот самый, коли уважаешь классику, портрет лунной ночи в отблеске бутылочного осколка. О самой ночи, о самой луне — не напрягайся, это для других. Хочешь, расскажу одну историю, она тебе, возможно, пригодится?

— Очень хочу, — вскинулся Рубин. — Очень.

— В сороковом году, а возможно и раньше — пронеслась по всем зонам одна и та же параша, то есть сверху, значит, спущена была: что освободят досрочно за любые важные изобретения, открытия, идеи, всякое такое. И после войны из года в год эта параша повторялась. Начальство освежало. Но ни разу не слышал я, чтобы кого-то и вправду освободили. В шарашку выдергивали, чтобы со специалистами работал, — это было...

— Простите, Бога ради, — перебил Рубин. — Душа свербит. Можно стишок прочту?

Кунин улыбнулся, старчески-любовно глядя на Рубина, и чуть повернул ухо к нему, чтоб лучше слышать. Рубину стало стыдно на мгновение, что перебил ради красивого словца что-то действительно интересное, но он уже читал свой стишок. «Боюсь, что наших тонких душ структура — всего лишь огородная культура: не зря же от ученых — урожай прекрасно добивались, их сажая».

— Циник ты, Илюша, — заметила Наталья. — Такой же циник, как Антон.

— А ты, Наталья, ханжишь, как многодетная монахиня, — и, защитив Рубина, Кунин продолжал:

— Сколько человек эту наживку проглатывало, Илья, ты себе не представляешь! Очень много ведь талантливых людей сидело. Жулики пытались счастье тоже. Сумасшедшие попадались.

— Про Вдовина расскажи, — попросила Наташа.

— Я про него как раз, — Кунин благодарно глянул на жену. — Только не помню, кто он по профессии был.

Гуманитарий какой-то. Технаръ бы не осмелился такую чушь предлагать.

Кунин аккуратно разлил водку по стопкам, добавив и себе. Наташа молчала, провожая глазами его руку. Крепкие пальцы в старческих коричневых пятнах уверенно и привычно обнимали бутылку. Выпили молча, по-деловому, словно торопясь куда-то. Кунин вытер платком уголки губ.

— Тогда ходили грузовики с газогенераторами — знаешь такие? Сбоку кабины стоит цилиндр и топится чурками. Чурки сырые, горели плохо, моторы барахлили... И вдруг этот Вдовин — кажется все-таки, что он актер бывший — посылает в Академию наук свою идею. Предлагает в виде топлива для моторов не дрова, а воздух. Ибо воздух, как известно, состоит из водорода и кислорода, и он, заключенный Вдовин, знает способ, как этот воздух расщепить на эти составляющие. После чего водород будет гореть, а кислород — поддерживать горение.

Рубин хохотал, запрокидывая голову, Наташа тоже смеялась, будто слышала впервые. Кунин наслаждался эффектом.

— Даже мне это потешно, — сказал он, — представляю, как вам, с инженерным образованием. Так ведь сняли Вдовина с общих работ, дали каптерку отдельную, и он полгода кантовался, как хотел. Ждали ответа из Академии наук. А он, не будь дурак, тем временем черкнул в Президиум Верховного Совета предложение сочинить новый гимн, причем такой проникновенной силы, что после одного исполнения солдатам уже не понадобится воинская присяга, настолько слова гимна пропитают их сознание и подсознание. И ему какой-то чиновный идиот вдруг ответил: ваше письмо переслано в соответствующую комиссию. Причем назвал его не гражданином, а товарищем. Очевидно, решил, что цифровой номер вместо адреса — это не лагерь, а секретное предприятие. Тут наше начальство ошалело вовсе и дало ему еще дневального в эту каптерку.

— И чем кончилось? — хищно спросил Рубин.

— Не было достойного конца, — сожалеюще пояснил Кунин. — У него там что-то лопнуло в голове, и его забрали в больницу. Умер, очевидно. А жаль...

Они все трое помолчали секунду.

— Заклинаю тебя, Илья, — сказал Кунин, — не

пиши серьезную книгу. Не нужна нашему времени серьезность. Были чересчур серьезными наши обе империи, что у Гитлера, что у Сталина, хватит. Не будь философом Ротштейном.

— Да, да, — откликнулась Наташа. — Это правильное сравнение. Честное слово, я сама это хотела сказать.

— Умная женщина — украшение дома, — похвалил жену Кунин, глядя на нее пристально и неотрывно, и все трое подумали об одном и том же, отчего громко заговорили одновременно и тут же вежливо замолкли.

— Милиционер родился, — сказала Наташа. — А если сразу трое молчат, то в чинах будет. Расскажи ему о Ротштейне, Антон. Пусть он это где-нибудь в книгу вставит.

— Всамделишный философ был, — сказал Кунин. — Замели его в пятидесятом, и попал он в нашу бригаду. Мы лес грузили в вагоны. Разумеется, вручную. Сперва были три автопогрузчика, но мы их быстро сломали. Потому, что тогда уже деньги платили, а расценки за ручной труд намного выше. Три человека на вагон. Так что физически я здорово окреп, спасибо товарищу Сталину за спортивную нашу закалку. Самое тяжелое — последние бревна, которые надо уже высоко поднимать. Клади две наклонные доски, по ним бревно два человека вкатывали, после подпирали его длинными шестами и толкали дальше, один сверху принимал. И вот попалась тяжелая листовница, застряла наверху и не движется. Бригадир наш говорит новенькому: ну-ка, Ротштейн, помоги...

Наташа начала смеяться, зная, что произошло.

— Он подошел к нашему грузалю, этот философ, — Кунин тоже засмеялся, продолжая, — и уперся ему руками в спину. Понимаешь, он искренне хотел помочь, он думал, что если в спину упрется, то их усилия сложатся. Тот удивился, опять налег изо всех сил на жердь. А Ротштейн — ему на спину. Он обернулся и так послал, что философ бедный аж покачнулся. Кругом хохот стоит, все уже поняли, что философ помочь хочет, не понимает только, куда давить надо. Отсмеялись, подошли, помогли. Он когда сообразил, грузаль наш, то сказал: скажи спасибо, земляк, что я тебе по харе не съездил, я думаю — что за мурак мне в спину уперся? Часто после вспоминали это в бараке. А Ротштейна этого полюбили, он ничего мужик оказался. Ве-

чером частенько его просили: ну-ка Ротштейн, хуякни что-нибудь про философию. И не отказывался. В пух и прах разносил все, что только что преподавал. Не бери с него пример, Илюша. Я про упираие в спину.

— И впрямь на притчу похоже, — благодарно согласился Рубин. — Расскажите что-нибудь еще о людях. Может быть, я в книге их в Ухту переселю.

Лицо Кунина, все время благодушно расслабленное, вдруг искажилось непонятной гримасой и застыло. Рубин испугался сперва, что старику становится плохо, потому что кровь отхлынула от его щек и лба, и появилась пепельно-землистая окраска старческой кожи, но глаза, только что смеявшиеся и мягкие, засветились холодно и враждебно.

— Ты соображаешь, что ты только что сказал? — медленно произнес Кунин.

Рубин молчал, не понимая, что происходит. Покопился на Наташу, она тоже с недоумением и испугом смотрела на мужа. На лице ее была готовность кинуться, принести, вмешаться — все, кроме понимания.

— Эти люди погибли, — зло и жестко сказал Кунин, с брезгливостью глядя прямо в зрачки Рубина. — Погибли после страшных мучений. От голода, унижений, холода и непосильной работы. Какое вы имеете право о них писать, если вы о них разговариваете не как о людях, а как о фишках для вашей сраной повести, в которой вы их поставите и повернете, как захотите? стыдно это и позорно!

— Антон, опомнись, — тихо и умоляюще произнесла Наташа. Кунин грозно посмотрел на нее и низко опустил голову к столу, как бы не желая видеть их обоих.

— Вы даже на «вы» со мной перешли, — медленно сказал Рубин.

— Да! — ответил Кунин, подняв голову. Глаза его смотрели по-прежнему презрительно и враждебно. — Да! Потому что такой холодный изобразитель вдруг оказался передо мной, что если б я такого раньше знал, то на порог бы не пустил.

— Я сейчас сам уйду, Антон Миронович, — тихо и растерянно сказал Рубин. — Только позвольте мне сначала — нет, не оправдаться, — последнее он проговорил очень быстро, заметив брезгливо дернувшуюся щеку старика, — не оправдаться, а сказать, что я вам очень благодарен. И за все предыдущее, и за сегодняшний урок.

— У них же есть родные у всех, Илья, ты сам сообрази, — проворчал Кунин, медленно приходя в прежнее свое состояние, — из глаз уже исчезли острые осколки льда. — Это ведь были живые люди. Про них можно только правду сейчас писать. Боль-то свежая. Внуки наши — те пускай врут и сочиняют. Им это чужое будет, эдакая история с кошмарами. Как для нас времена Ивана Грозного.

Кунин разлил водку по рюмкам, и все трое помолчали — но уже совсем не так, как минуту назад.

— Извини, что я так на тебя накинулся, — сказал Кунин уже остывшим, но все-таки не прежним еще голосом. — И улыбнулся Рубину. — Не обижайся, но в тебе вдруг такая сука прорезалась, такой махровый литератор, что мне страшно стало. Я ведь тебя как сына воспринимаю, мне тебя настоящим видеть хочется.

— Да правы вы, абсолютно правы, — выдавил из себя Рубин.

— Антон, возьми валидол, — попросила Наташа.

Кунин достал из нагрудного кармана рубашки таблетку и залихватски кинул ее в рот. Подмигнул Рубину и прочитал его же давний стишок: — «Из комсомольского актива ушел в пассив еще один, в кармашке для презерватива теперь ношу валокордин».

— Ты зарифмовал бы валидол, — попросил он Рубина.

— Сделаем, — ответил Рубин вяло. Уже пора ему было уходить, самая пора. Но Кунину явно хотелось теперь сгладить происшедшее.

— Можно, я тебе еще нравоучение произнесу? — спросил он. Рубин засмеялся и кивнул головой.

— Думай о старости, Илья, не о Страшном суде и не о Нюрнбергском процессе, а о собственной личной старости. Знаешь, время старости очень похоже на тюрьму — тоже все прошедшее вспоминается. Так что из чисто эгоистической заботы о собственной старости стоит жить так, чтобы не больно было вспоминать. Почему верующие так достойно себя ведут? Они, кстати, и в лагере достойно сидели, часто я завидовал их... — знанию что ли какому-то, чуть ли не инстинктивному, как поступать и как к чему относиться. И тогда еще я понял: они так себя ведут, потому что верят, что на них все время смотрит кто-то, видит их, слышит, чувствует насквозь. И перед этим кем-то неудобно ударить в

грязь лицом. Ну, а мы с тобой люди неверующие, к со- жалению...

Старик выпил из своей рюмки последнюю невиди- мую каплю.

— И тогда я придумал это про старость. Еще в ла- гере. Что на меня мой будущий облик постоянно смот- рит. И от меня зависит, каким он будет: жирным, дряб- лым и пакостным или мудрым, спокойным и усмешли- вым. Я, как ты понимаешь, выбрал второе. Разве не заметно?

— Ты прямо как Акимыч сейчас, — сказала Ната- ша. — Слушай, Антон, ему надо с Акимычем погово- рить! Он же таких больше никогда не встретит! Напи- ши ему записку от нас. Илья, ты можешь завтра на полдня за город съездить? Это недалеко, сорок минут на электричке. Не пожалеешь.

— А кто это? — Рубину мотаться за город не хоте- лось, он собирался уехать завтра вечером, а еще пред- стояла всякая беготня.

— Это интересный мужик, — подтвердил Кунин, придвигая к себе с края стола большой блокнот с ле- жавшими на нем очками. — Это мой когдатошний ла- герный бригадир. Коренной российский человек. Аким Акимович Варыгин. Чувствуешь, как русским духом за- пахло? Притом кондовым, подлинным, изничтоженным. Очень мы дружили с ним долго.

Кунин по-стариковски расплылся от каких-то прият- ных воспоминаний, надел очки, строго глянул поверх них на жену и стал писать записку.

— Позжай, Илья, не пожалеешь, — сказала Ната- ша шепотом, — это штучный старик. Его даже Антон не перебивает, когда он говорит, а это редкость, ты ведь знаешь.

— А он станет разговаривать со мной? — спросил Рубин.

Кунин быстро пробормотал, не отрывая глаз от бу- маги:

— Старики болтливы, это только я исключение, — и с удовольствием посмотрел поверх очков, как засмея- лись Рубин и Наталья.

— Вот. А на обороте — как проехать. И непременно выведи разговор на тему о свободе, тут у старика идеи есть. У Акимыча про все, правда, идеи есть.

— Спасибо вам большое, — Рубин взял записку и

встал. — Засиделся я у вас. Пригрели очень вы меня. Спасибо. Через месяц опять приеду.

— Насчет пригрели это точно. — Кунин, не вставая, смотрел на Рубина смеющимися глазами. — Даже ошпарили немного. Приезжай, Илья. Я обещаю, что тебя дождусь. Вернее, что постараюсь. Честное слово. Честное ленинское, честное сталинское, честное всех вождей, век свободы не видать, сукой буду, честное пионерское.

— Уймись, — сказала Наталья. — Приезжай к нам, Илья.

Она обняла Рубина и, не размыкая рук, заплакала.

— Ну и дура, — сказал Кунин, вставая. — Иди сюда, хватит с молодым обниматься.

И крепко пожал Рубину руку. Хватка его пальцев была железной.

— Ну и рука у вас, — буркнул Рубин.

— Книжный червяк, — хвастливо сказал старик. — От бильярдного кия это. Акимычу от нас большой привет. Привези стишков, когда приедешь.

Захлопнув за собой дверь, аккуратно обитую добротной мешковиной, напоминающей натянутый на подрамник холст, Рубин закурил и медленно побрел по лестнице. Странные мысли лезли ему в голову, до того реальными становясь, что он зримо видел, как не сегодня-завтра этого невероятно живого человека понесут по этой лестнице. И сам он все отлично знает, и знает его жена, но живут, однако, полной настоящей жизнью. Ощущение своего здоровья и счастья стыдно и властно захватило Рубина, и последний пролет лестницы он преодолел, перепрыгивая через две ступеньки. На все плюну, а к Акимычу съезжу, подумал он. Новый человек. Хомо сапиенс инкогнито. А пока надо срочно найти скамью, чтобы сесть и все про этот вечер записать. Вот и скамья. Лишь бы целоваться сюда никто не приплелся. Итак, с самого утра. Трубку долго никто не поднимал...

* * *

Всю дорогу в электричке Рубин сочинял мажорный стишок про весну, но никакой стоящей мысли не было, и он бросил это привычное занятие. Просто его, как любого горожанина, вид земли и весеннего пробуждения оживлял и смутно тревожил, эту смуту он и принял за готовность что-нибудь сочинить. После он бездумно

курил в тамбуре и нужную станцию чуть не проехал. Проходя мимо дач, где уже копошились на огородах хозяева, он начал сожалеть о поездке и уныло себя ругать, что поперся в такую даль. Кто он такой, этот безвестный Акимыч? Завяжется ли с ним разговор? О чем? Хотелось прочитать записку Кунина, однако Рубин себя одернул; подышу воздухом, в конце концов, на воздухе курить еще приятней, а уйти, если будет неинтересно, смогу в любой момент. Тем более уже четыре, все равно не посижусь. И ощущение возможности в любой момент вернуться успокоило и развеселило его. Глазеть вокруг было невыразимо приятно. Когда ехал, всюду вдоль пути мертво стелилась по земле прошлогодняя бурая растительность, напоминая сваленную шкуру, проснувшегося весной медведя, а здесь на всех участках ее сожгли еще осенью, и черная обнаженная земля, уже вскопанная местами, так жадно и явно ждала посева, что вспоминались смутно какие-то языческие мифы о земле-женщине, жаждущей осеменения. По пути Рубин подумал, что присмотрит для описания какой-нибудь пейзаж, но одернул себя, понимая, что Тургенев и Пришвин, не считая сотен остальных разных калибров и мастей, уже задолго до него все описали точно и любовно, лучше в этот ряд ему не соваться. Все чувства моей связи с природой напрочь укатаны асфальтом, подумал он. И никакая травка сквозь него не пробьется. А причем здесь травка? Улица Добролюбова мне нужна. И сюда приклеили бедолагу, в городе такое имя улице годилось, но здесь этот чахоточный петербуржец жить не стал бы. Кто дает имена улицам? Чиновники какие-нибудь, конечно. Лепят по привычному набору. Или предписывает кто-нибудь сверху, сколько должно быть улиц Ленина, переулков Тимирязева и тупиков Белинского. Раньше были для освежения лассали всякие, люксембурги и клары цеткин, после появились лумумбы, морис торезы и другие, кто умер вовремя, не опорочив знамя социализма, что, впрочем, случалось все реже. Ренегатов похеривали, возникали новые, пока что неопороченные имена. Как это Ирке в автобусе один мужик сказал с величавой меланхолией: знаете, сударыня, как у нас улицу называли? Имени Сальвадора Альенде. Так поверите: выпьешь — домой не хочется идти. Ирка смеялась, как сумасшедшая — и что сударыня откуда-то возникла, и что идти не хочется. А как их называть? Стритами

или линиями? Сухота. А вот и товарища Добролюбова. Некий хозяйственный человек тут жил на первом же участке: штук восемь самодельных парников занимали все пространство между домом и забором. Уже проклюнулась в них ранняя зелень, явно предназначенная на продажу. Частное предпринимательство на улице Добролюбова. Луч света в темном царстве. Уж не мой ли Акимыч тут живет? Дом номер два. Акимыч. Что нашел музыкант и книжник Кунин в предприимчивом пригородном садовом?

Рубин еще шел по дорожке, аккуратно посыпанной сырым темно-желтым песком, когда на крыльце вышел сухощавый, очень подтянутый — тонкая серая фуфайка плотно облегла могучий торс — мужчина лет шестидесяти с густым ежиком коротких седых волос, загорелым лицом в густой сетке морщин, с большими льдистосиними глазами. Он остановился на крыльце и ожидал, рассматривая подходившего Рубина. Похож он был на породистого генерала в отставке, на благородного старого охотника из ковбойских фильмов, только мятые брезентовые брюки грязно-зеленого цвета снижали образ до уровня этих огородных парников, крытых полиэтиленовой пленкой.

— Акима Акимовича Варыгина могу я видеть? — спросил Рубин, остановившись.

— Я буду, — неприветливо сказал мужчина.

Рубин молча достал записку. Варыгин так же молча протянул за ней огромную загорелую кисть. Прочитал, далеко отставив бумажку в сторону и еще голову слегка назад откинув, мельком глянул на Рубина, прочитал еще раз и резко повернулся к дверям.

— Пошли, — бросил он из-за плеча.

В доме тоже везде стояли ящики с помидорной и еще какой-то рассадой, пахло свежей землей и рыбным супом из консервов, этот запах был давно известен Рубину по обедам в месяцы летнего одиночества, когда Ира с детьми жила за городом и он кашеварил сам.

Хозяин молча прошел в комнату, где стояли стол, железная кровать и телевизор, жестом показал на табурет, повернулся и исчез. Рубин увидел на столе пепельницу, пачку сигарет «Дымок», понял, что может закурить, и подумал, что с полчаса он посидит, а вечером позвонит Кунину и скажет, что так шутить нехорошо.

Через десять минут Варыгин вернулся. С тем же не-

проницаемым лицом генерала, дипломата или охотника он осторожно и ловко внес огромный поднос и молча стал перегружать содержимое на стол. Графин с какой-то выпивкой светло-зеленого оттенка, миску пупырчатых соленых огурцов вперемежку с мятыми красными помидорами — оглушительно запахло чесноком и черносмородиновым листом, — такую же точно синюю миску с солеными груздями, колбасу, нарезанную на блюде толстыми ломтями, шмат лоснящегося копченого сала.

— Капусту, кочанами засоленную, едите? — хмуро спросил хозяин.

— Еще как, — ответил Рубин, проглатывая слюну.

Только тут Варыгин широко улыбнулся, отчего длинные морщины на его щеках собрались гармошкой, и спросил:

— Небось, надрались вчера со стариком?

— Нет, — ответил Рубин. — Он почти не пьет сейчас, у него очень плохо с сердцем.

— Знаю, — кивнул Варыгин. — Только это никогда нам не мешало. Или серьезно в этот раз? Ну подождите, сядем сперва.

Появились куски капустного кочана, толсто настроганная луковица в блюдечке для варенья, два небольших стограммовых стакана и хлеб. Варыгин молча разлил выпивку, понюхав почему-то свой стакан и улыбнулся Рубину.

— Со знакомством, — сказал он.

— Со свиданьем, — ответил Рубин. Опрокидывая в рот стакан, он заметил мгновенный взгляд Варыгина и подумал, как хорошо, что он умеет пить и делает это с удовольствием — взгляд был явно оценивающим, а такой проверки Рубин не боялся.

Он поставил стакан, закусил помидором, посидел секунду, ощущая необыкновенный вкус и аромат водки, настоянной на чем-то неизвестном, и сказал Варыгину, смакующему закуску:

— Потрясающе это у вас. На чем настаиваете?

— Разные здесь травы, — хозяин принял его вопрос как должное и был обстоятельно серьезен. — Собираю сам, в аптеке покупаю, сын привозит. Рецепт не дам, да вы таких и не найдете. Притом ведь это не казенка.

— Самогон? — искренне изумился Рубин. — Совершенно сивуха не ощутима. Первый раз такой пью.

— Умею, — серьезно сказал Варыгин. — Что умею, то умею. Покурим или по второй?

— Я бы повторил, — засмеялся Рубин. — Уж извините, если невпопад.

— Наоборот, — поощрительно сказал Варыгин, и улыбка опять собрала его морщины. — Вам полный или половину?

— Половину, — сказал Рубин. — Потому что я поговорить еще хочу.

— Это разговору не помеха. Остановитесь сами, когда хватит. За Кунина теперь давайте. Штучный он человек, редкостного разлива, сейчас уже таких не выпускают.

— Он то же самое про вас сказал, Аким Акимыч, — Рубин закусил теперь огурцом, а затем кусочком сала. И сразу жадно закурил.

— Мы как-то и не познакомились толком, — сказал хозяин. — В записке написано, что вы свой и чтоб я вам на вопросы ответил, как самому Кунину. А зовут вас?..

— Илья меня зовут. Просто Илья.

— По батюшке не надо, значит? Или отчество свое не любите?

— Очень люблю. — Рубин пристально посмотрел на Варыгина. — Илья Аронович меня зовут. Илья Аронович Рубин. Москвич. Еврей. Беспартийный и несочувствующий.

— По всем пунктам замечательно, — одобрил хозяин. — А я питерский коренной и русак такой же. О чем будете спрашивать?

Он тоже закурил. Сигарета в его руке казалась маленькой и хрупкой. Он опять сейчас похож был на генерала в отставке из какого-то героического фильма. Глаза смотрели на Рубина спокойно и выжидающе.

— Сколько вам лет, Аким Акимыч? — спросил Рубин.

— Семьдесят с довеском, — ответил Варыгин.

Рубин присвистнул.

— Я был уверен, что под шестьдесят, не более того, — сказал он.

— Бог не засчитывает время в лагере и тюрьме, — скупно пояснил Варыгин.

— Просидели много? — спросил Рубин таким тоном, будто шла речь о затянувшемся летнем отдыхе. Привычными уже были чудовищные сроки, с Кампа-

пеллой и Монте-Кристо он точно так же говорил бы сейчас — буднично и спокойно.

— Пятнадцать лет, — так же легко ответил Варыгин. Оба секунду помолчали, и старик добавил:

— Не стесняйтесь, Илья Аронович, спрашивайте, я человек словоохотливый, а по одинокой жизни даже рад поговорить. Вы от Кунина тем более, все козыри ваши. Что именно вас интересует, Илья Аронович?

— Просто Илья, — сказал Рубин. — Ладно? Так и мне удобней.

Варыгин кивнул головой согласно и снова налил — себе полную, Рубину половину. Они молча сдвинули стаканы, и в глазах хозяина Рубин увидел доброжелательный интерес, сразу почувствовав себя раскованно и уютно. Закусил хрустящим луком и кружком колбасы.

— Честно вам сказать, Аким Акимыч, я плохо представляю себе, о чем и как расспрашивать вас. Я литератор по профессии. Наткнулся на судьбу одного художника и музыканта, расстрелянного в Ухте в тридцать восьмом году. Решил книгу о нем писать. А свидетелей живых почти что нет. Многих людей уже обошел, и книга совсем другой становится. Столько услышал, что теперь не написать не могу. Вот и хожу, расспрашиваю.

— Хорошее дело, — медленно сказал Варыгин. — Святое дело. Не бойтесь?

— Нет, — пожал плечами Рубин. — А почему — не объясню. Просто не знаю.

— А я тоже чуть было интеллигентом не стал, — задумчиво сказал старик. — Уже учиться пошел. Давай тогда, Илья, я по российской нашей привычке вагонной о себе немного расскажу. Глядишь, и наткнемся на существенное что-нибудь.

— Идеальный вариант, — сказал Рубин, чувствуя себя таким же прочным, неторопливым и обстоятельным. И невольно посмотрел на графин. Варыгин засмеялся негромко и одобрительно; впервые Рубин услышал звук его смеха — сочного, хриповатого, мужицкого. Выпили, не закусывая, и закурили.

— На Путиловском заводе я работал. Вся семья у нас — потомственные стеклодувы. Могли и по слесарной части, всяко могли. У отца заводик был когда-то небольшой, мастерская скорее. Огневая выделка стекла и металлов братьев Варыгиных. Ты не слыхал наверняка. После революции отец пришипился, конечно,

затаился, то есть, и слесарил помаленьку. Руки имел он золотые. Умер недавно, железный был мужик. А меня он на завод послал. И все время гнал учиться на инженера. А я на Путиловском встретил человека удивительного, о нем ты слыхал, возможно. Цильберг такой был. Больше я нигде таких не встречал. Даже в лагере, хотя лучшие люди только там в те годы и попадались. Он был химик и историк. Неужели, правда, не знаешь? Он еврейской культуры был историк. Тебе грех не знать такого.

— Теперь почитаю, — сказал Рубин.

— По-еврейски он писал, — предупредил Варыгин. — Читаешь?

Рубин покачал головой сожалеюще.

— То-то и оно. Сорок лет он проработал на Путиловском заводе начальником химической лаборатории. И несчетно книг о вашей культуре написал. А по химии тоже много изобрел, и тоже книги были. Согласись, достойный человек?

Варыгин, не дожидаясь ответа, снова налил стопки.

— Как это советская власть ухитрилась самых лучших под корень вывести? — спросил он сам себя и покачал головой — то ли недоуменно, то ли одобряя размах. — В тридцать восьмом его забрали. Так и пропал. Знаешь, как его любили на заводе? Полгода его стол не занимали, надеялись, что вернется старик. Только волчья пасть обратно не выпускает.

Старик с силой вдавил окурок в пепельницу из консервной банки.

— Пока сам не сел, ничего вокруг не видел, — сказал он. — Сажают и сажают, значит есть за что, если сажают. Отец мне говорил, как сейчас помню: Аким, держись аккуратно, это не просто волки между собой грызутся, это они народ изводят, чтобы дармовых рабочих иметь, на долгие годы такое зверство. На извод нации дело идет.

— А сегодняшние вожди? — спросил Рубин.

Старик пренебрежительно сморщился.

— Ебля слепых в крапиве, — сказал он, как о давно понятном. — Слушай лучше, как я интеллигентом чуть не стал. Такая меня без Цильберга тоска взяла, что я за книги сел. Чего я только не читал! И Ключевского, и Соловьева, и полемику всехнюю со всеми, и мемуары все подряд, что попадались, и про Римскую империю — такая каша в голове образовалась, что све-

та белого не видел. Между прочим, отцу об этой каше рассказал. Вот, он говорит мне, Аким, теперь ты близко к основному корню наших бедствий подошел: пока умные и образованные люди спорят между собой и от этого глухи и слепы, как тетерева весной на току, всегда находится кто-то умом послабже и душой темнее, но который знает, чего хочет, и он их ебет поодиночке, а они ему при этом подмахивают. Учись, говорит, дальше, но не лезь ни в какие споры. Не твое это дело, не лезь. На чужой каравай брюк не раздевай. Давай-ка еще по маленькой.

Посмотрев, как Рубин лениво ткнул вилку в гриб, старик заботливо и негромко сказал:

— Ты только закусывай, Илья, напиток бархатный, но спиртовым огнем горит. Враз ослабнешь.

— Вроде ничего, — благодарно улыбнулся Рубин. Ему казалось, что он сидит здесь уже много лет, счастливый полным отсутствием забот, звонков, суеты, обязанностей и дел. Купить бы себе где-нибудь домик, подумал он.

— А меня через полгода взяли, — продолжал Варыгин, — им группа нужна была. Они в нее инженеров сперва набрали, а потом решили добавить простого работника, чтобы покрасивше вышло, что рабочий класс они, мол, тоже склоняют во вредительство. А я очень заметным тогда был: по всему начальству бегал, умолял за Цильберга вступиться; от меня как от безумного шарахались. Дурак был дураком. А между прочим, уцелел. Хоть молотили меня там, как отбивную. Здоровый был и не признался. А сопливые интеллигенты эти — все подписали. И приводят нас на суд. Они встают и говорят — все шестеро: мол, отказываемся от своих показаний, они добыты побоями, мы не выдержали, вот и подписали. А я и так в несознанке. И что ты думаешь? Им — по десятке, а меня оправдывают. За отсутствием состава преступления и малейших улик. Я под собой ног не чую, то ли от радости, то ли потому, что меня по голени все время били сапогом. Неделю дома живу. Отец мне говорит: смывайся, Аким, случайность это, что вышел. А я живу. Между прочим, как раз в эту неделю жене ребенка заделал. Сына. До чего Господь шутить над нами любит — не поверишь: сын вырос и в чекисты подался.

Старик почувствовал, как напрягся Рубин, и сказал спокойно, продолжая разливать самогон:

— Ты не бойсь, Илья, он точно такой же, как мы с тобой. Запесла судьба, вот и работает в конторе. Сам он физик по образованию. Инженер-физик. Тоже с идеями, бедняга, это в роду у нас такое.

Пока что идей не было, подумал Илья, из нирваны вдруг извергнутый, хорошо хоть с самого начала эту семейную историю услышал.

— А через неделю забирают снова. И от Особой тройки — те же десять лет. Как с куста. И тут поехал я учиться дальше. В Каргопольские лагеря попал, они еще тогда Онеглагом были. Огляделся я кругом себя: вот же она вся история партии со мной здесь в лагере сидит.

Рубин засмеялся, нирвана снова мягко обволакивала его.

— Давай помянем их, Илья, — сказал старик. — Чистые это люди были. Всех, как есть, приняло их тамошнее болото. Не было на их душах подлой крови. Слепота была. А за нее не судят.

Рубин хотел возразить, но, опрокинув стопку, закурил и возражать не стал.

— Я ведь не о деятелях говорю, — пояснил Варыгин, подбирая крошки колбасы. — На тех вина безусловная. Я о тех, кто в эту мельницу сослепу попал. Фрица Платтена возьми, к примеру. Который с лысым аферистом из Швейцарии за компанию увязался. И за это до самой смерти у нас в тайге щепал дранку для штукатурных работ в инвалидной команде. Долгие годы в холоде и впроголодь. Это что же, справедливо?

— Не знаю, — сказал Рубин угрюмо. — Нету во мне сочувствия к этим энтузиастам. Двадцать лет ваш Платтен до ареста прожил — уж мог понять, куда идем и что творится.

— Жесткие вы, нынешние, — неодобрительно сказал Варыгин, глядя на Рубина, и вдруг тон его резко изменился: — Илья, да ты, никак, поплыл? Хватит тебе, наверно.

— Нет, — упрямо ответил Рубин и почувствовал, что совершенно пьян. Старик, сидевший перед ним, странно расплывался. Его бледноватая копия, отслаиваясь от него, медленно плыла вправо, потом резко возвращалась назад, на миг сливаясь с основным четким контуром, после чего медленно уплывала влево. Усилием воли напрягшись, Рубин собрал собеседника воедино и схватился за авторучку, твердо сжав ее, хоть

ничего не записывал. Старик продолжал что-то говорить, и Рубин включился с крохотным запозданием, было еще понятно, о чем речь.

— С двумя детьми она осталась, отец мой еще работал, она бы выжила. Я, видишь, сам ее убил.

Рубин так резко отрезвел, что в голове у него что-то щелкнуло, как ему показалось, и во рту появился вкус похмелья. Старик помолчал, сделав несколько глубоких затяжек. Смотрел он мимо Рубина куда-то, и лицо его было совершенно темным, почти черным от загара, хмельной багровости и сумерек в зашторенной комнате.

— Я быстро понял, что из лагеря не выйду. Или пришьют, я с уголовниками не ладил, или от голода помру. В сорок первом я ей письмо написал, перед самой войной. Чтобы оно дошло, я его так написал, что она только понять могла. Или отец. Мол, живу здесь я очень хорошо. Кормят нас отлично — как наш Тимофей кормился, так и нас, жду с нетерпением встречи с тещей Марией Николаевной. Поскорей бы. Вот и все. Тимофей — это нищий у нас был когда-то во дворе, полоумный старик, он только из помоек ел, из рук не брал. А теща уже десять лет, как померла, так что они поняли, что я прощаюсь. А собой, я написал, распоряжайся, жена, по вольной воле. Все честь-честью. Тут она вроде как тихо тронулась. Плакала, звала меня по ночам. И в блокаду померла сразу. Сына нашего уже отец сохранил, отправил его к родне за Волгу при okazji, и выжил он там. А проститься меня с ней старик Лучин надоумил, он так же сделал. Не слыхал о Лучине? Знаменитый был когда-то человек. В Москве на Павелецком вокзале паровоз видел? Музейный?

Рубин сейчас мучительно колебался, стоит ли ему записывать или он этим спугнет и спутает воспоминания старика. Поэтому налитую стопку он принял без колебаний за помин души неведомого Лучина и, машинально чем-то закусив, решил, что будет запоминать. Только курить не надо, подумал он и закурил.

— Этот паровоз деповские работяги собрали из частей на свалке. Лучин был там старший машинист. И решили они Ленина к себе в бригаду зачислить. Расчетную книжку ему сделали, разряд присвоили. Лучин ему книжку эту и отвозил. Уже Ленин в Горках жил, одной ногой в могиле, плакал, когда книжку брал, расстрогался. А когда умер, то кому, как не им, его везти.

Вот Лучин и повез. Вдоль пути народ тысячами стоял, а недалеко от Москвы уже — толпа на рельсах сомкнулась. Лучин вышел на передок паровозный и закричал: товарищи, меня Дзержинский лично просил приехать без опоздания, расступитесь, Бога ради, сделайте последнее уважение. И расступились. Лучин это мне раз десять рассказывал, самый был момент в его жизни. После новые паровозы пошли, имени усатого, ты их уже, наверно, не застал. А Лучин все с этого слазить не хотел. И посадили его за саботаж. Так он у нас и умер. Распух весь, еле ходил, уже на работу не гоняли. Вот таких слепых и невинных мне жалко больше всех.

— Тут я согласен с тобой, Акимыч, — пробормотал Рубин. Комната опять всюю плыла и качалась. Колесования контура Варыгина с этими качаниями не совпадали, и от этого было очень трудно сосредоточиться — непонятно было, что останавливать сначала, — комнату или собеседника. Рубин громко и очень убедительно говорил что-то, старик молча слушал его и даже кивал головой, после чего встал и отошел куда-то.

— Пойдем, Илья, — сказал он, вернувшись, — пойдем. Приляг. Ты готов уже. Поторопились мы. Гнали быстро. Отдохни.

— Сварился я, — виновато согласился Рубин. — Я часок полежу и оклемаюсь.

Варыгин громко захохотал в ответ и крепко поддержал Рубина во время особенно сильного смещения комнаты, когда Рубин вставал. Снова запах свежей земли ударил ему в нос в коридоре, временно придав силы, после чего мир растворился в темноте, заблестел мелкими звездочками и стал плавать перед глазами, пока вдруг разом не потух. Не было ни проблеска, ни звука. Сновидений тоже не было.

Рубин проснулся от запаха сигаретного дыма, шороха передвигаемых ящиков, хриплого кашля и негромкого одинокого бормотания в коридоре за дверью. Сквозь щели оконных ставень били по комнате насквозь, расплываясь по стене, плоские лучи солнечного света. Рубин лежал одетый на латаном-перелатаном ватном одеяле, ботинки были сняты с него, и свитер лежал в ногах. Сбоку на табурете краснел на блюде огромный соленый помидор, готовый мгновенно лопнуть и выбрызнуть в спекшееся горло свою живительную мякоть. Рубин жадно воспользовался предложенным и

от блаженства полностью пришел в себя. Голова болела вполне терпимо. Оставались, правда, муки морального свойства, но с ними Рубин, истый сын своего времени, справлялся быстро и умело. Ерунда, подумал он. Подумаешь, пришел и вмиг напился. Не дрался ведь и посуду не бил. Наверняка Акимыча ничем не обидел. Жалко, что не записывал, но все помнится, что было до отключки. Тут же на табурете стояла чашка с еще теплым, очень терпким чаем без сахара. Рубин выпил залпом всю чашку, только вслед сообразив, что крепковато. Встал, подвигал ногами. Жив.

— С прибытием, — радушно сказал из-за двери голос Акимыча, — вылезай, коли жив остался. Уже утро. Восьмой час. Крепко ты прикемарил.

Рубин вышел в освещенный такими же лучами коридор — до чего дом щелястый, подумал он с радостью вернувшегося к жизни человека, — и сразу ухватился; помогая, за большой ящик с рассадой, который Акимыч передвигал к другой стене. Они переглянулись и молча улыбнулись друг другу. Рубину показалось, что он жил здесь всю жизнь.

В комнате на столе уже стояла свежеприготовленная закуска.

— Ты чифирнул? — деловито спросил Акимыч. — Я тебе по-лагерному заварил, на всю катушку.

— То-то у меня сердчишко заколотило, — сообразил Рубин. — Я и думаю: с чего бы? Вроде выпил вчера мало. Вы уж простите, Аким Акимыч.

— За что же прощать? — искренне удивился старик. — Мне, наоборот, приятно было, что ты ослаб. Значит, без задней мысли пил, от души. Не таил ничего — без умысла.

Рубин не сразу ухватил эту логику, а сообразив, рассмеялся.

— Это уж точно, — подтвердил он. — Умысел, правда, был, но безобидный и не шкурный: выслушать и запомнить побольше.

— Еще поговорим, — сказал старик. Они уже сидели за столом и неторопливо курили. — Похмеляться будешь?

— Что вы, — испугался Рубин. — И подумать не могу.

— А зря, — старик, не тратя времени на уговоры, налил себе стопку и с таким вкусом выпил ее, что Рубин заколебался. Варыгин искоса глянул на него, лов-

ко высасывая помидор, и свободной рукой налил себе и гостю. Рубин выпил и почти незамедлительно ощутил покой и волю.

— Сколько ты мне херни вчера наплел, — добродушно сказал Варыгин. — Интересно вы, сегодняшние, о свободе наловчились говорить, ничего по сути в ней не смысла.

Рубин молча смотрел на него, ожидая пояснений. Что-нибудь, наверно, усредненно-либеральное вчера болтал, а для чего — уже не помнилось.

— Вы все талдычите, что человеку дано право на свободу. А ему кто это право дал? — сурово спросил Варыгин и снова стал похож на генерала в отставке. — Что ли, Бог? Или от природы? Почему тогда не считать, что свобода — это обязанность человека? Тоже от Бога или от природы. То-то и оно. Свобода — это знаешь, на самом деле, что такое? Это обыкновенная способность человеческая. Такая же, как способность ходить, жевать, смотреть и слышать, бабу любить. У одних способности этой больше, у других меньше. Как таланта. Я с ходьбой эту способность хоть и сравнил, но она повыше будет, конечно, посерьезней. Теперь смотри. Вот у тебя способность есть, а ее ущемили и не можешь ты ее проявить. Как ходить не можешь, если к стенке привязан. Вот тут ты и начинаешь брыкаться: дайте мне эту способность проявить. Право, дескать, я имею проявлять любую данную мне способность. Между прочим, рядом с тобой преступник тоже своей свободы требует, прирожденный убийца. И ему давать? А я тоже рядом с вами, но молчу, потому что нет у меня этой способности, от рождения нет, у дедов моих ее отбили, а может, я сам такой. Только свобода твоя мне на хер не нужна, мне с ней делать нечего, я от свободы кисну и дурею, мне порядок нужен, и узда жесткая, и чтобы кому-нибудь подчиняться непременно, а если нету сверху никого, мне страшно становится, зябко и неудобно. Теперь опять смотри: у людей российских в большинстве сейчас нету способности к свободе, потому и потребности в ней нету никакой, вывела ее история на корню. Для кого же вы свободы требуете, о ком хлопчете? Народ российский — он наоборот, он о вожжах тоскует и дисциплине, только чтоб кормили за это вдосталь, а не как сейчас. Потому он так и Сталина вспоминает. И вы такие же, если свободы сверху ждете. А власть — не Бог, она способностью не наградит,

она только цыкнуть может или подвинуться, промолчав, если кто свою способность объявляет. Оно, конечно, здесь и до тюрьги недалеко, однако выбирать человек всегда свободен, которую из способностей утолять поскорее: делать что по душе или жить в сытной неволе, самим собой быть и загибаться от холода или в рабах возле огня придуриваться, выбирай свободно. А чтоб и рыбку съесть, и на хуй не сесть — не коммунизм покуда, и не будет никогда, слава Богу.

— Ну и кашу ты наварил, Акимыч, — восхищенно сказал Рубин.

— Не кашу! — упрямо и твердо возразил Варыгин. — Не кашу! Знаешь, я сейчас камеру вспомнил свою в Крестах, где сидел. Народу было битком, на полу вповалку — теснотища. И вот урке одному не понравились слова какие-то, с полу сказанные, сам урка с кентами на нарах в карты играл. Вот он сапог с себя снимает и как запустит в этого профессора на полу. В голову метил, а сапог с подковками, между прочим. В спину попал. Так ведь он почему его кидал так спокойно? Потому что знал: и перетерпит боль этот хилый интеллигентшишка, и еще сам сапог обратно примет. Аж перевернулось во мне все тогда от этого понимания.

— А ты вступился? — быстро и хищно спросил Рубин.

— А на хера мне? — пожал плечами Варыгин. — Если бы тот хилый бросился на урку, я тогда бы, может, и вступился. А уж если бы в меня кто кинул, горло бы успел перегрызть, пока бы убивали. Вот они меня и не трогали. Ведь у страха — у него запах есть, Илья, ты мне поверь, человек всегда знает, кого можно прижать, кого нельзя. Вот когда запахнет от нас всех, что нельзя в нас сапогами кидать, тогда и воздух в нашей камере переменится. Понял ты, о чем говорю?

— Думаю, что да, — протянул Рубин. В это время он примерял такую ситуацию на себя и не был уверен, что кинулся бы перегрызть горло, заведомо зная, что будет изувечен навалившейся кодлой.

— Так они ж нас оттого и держат мертвой хваткой! — словно угадав его мысли, сказал Варыгин. — Когда все мужики или хотя бы многие ощутят в себе способность быть свободными, тогда сразу наша тюрьма развалится, нечего будет и о правах талдычить. А на-

чальная тяга эта к свободе — знаешь, она с чего начинается? Идем, покажу.

И встал, властно кивнув Рубину на дверь.

Они вышли на крыльцо, и свежий воздух миглом наполнил их прокуренные легкие, вынудив обоих помолчать и подышать.

— Вот отсюда свобода начинается, — торжественно сказал Варыгин и показал рукой на парники с проклюнувшейся зеленью.

Рубин смотрел на него молча и недоуменно.

— С вольного труда есть путь к свободе, чтобы человеком стать, — негромко сказал Варыгин, теперь уже подыскивая слова, чтобы объяснить поточней. — С вольного труда на самого себя с полной отдачей. Способность к труду, она тайными нитями какими-то, по нервам что ли, по клеткам в мозге, она с чувством свободы связана. От независимости, что ли, не знаю точно. Пока труд принудительный у нас, пока к нему отвращение — рабы мы все, и никакие права нам не помогут.

— Зек у нас был на зоне, — добавил он, помолчав. — Татуировка у него была на ногах: пограничный столб и надпись со стрелкой — Турция. А ниже — буквы наколоты: иду туда, где нет труда. Это вот и есть настоящий раб, настоящий современный товарищ, хоть сейчас его в начальники сажай. А как только человек работать может и хочет — он уже чувствует и способность к свободе. У нас в России это семя на корню истребили. Я о кулаках говорю и прочих хороших людях. Неужели опять не понял?

— Нет, я немного понял, что-то в этом есть, прав ты и неправ, Акимыч, а по полочкам не могу так сразу разложить, — промямлил Рубин.

— Ну как же ты, — огорчился Варыгин, и лицо его страдальчески сморщилось. — Ведь варит у тебя котелок, ты напрягись. Если есть у тебя способность к чему-то, то и потребность есть эту способность утолить. Это же как с бабой точно: зачем баба тебе, если не по силам, понял?

Рубин кивнул головой, чтоб отвязаться и подумать.

— Теперь дальше, — настаивал старик. — Потому и нэп отменил усатый, что свободных людей боялся, потому и кулаков извел, и всех, от кого самостоятельностью пахло. Это сейчас постепенно мы в себя приходим. Уже нас меньше раздражает, ежели инициатива у кого, если хочет он жить хорошо и потому крутится.

Постепенная это история, пока рабы в человеческое сознание восходят. Кто через труд на самого себя, кто через торговлю, кто через веру, кто как. Тут и честность появляется, первый признак свободного человека. И стыд, и совесть, и честь — а то ведь начисто извели в людях эти свойства. Не заметил?

— Вспомнил, — сказал Рубин, — мне один старик рассказывал: его с работы выгнали с формулировкой — за избыток инициативы.

— Вот-вот, оно самое, — обрадовался Варыгин. Он стоял возле крыльца на дорожке, прислонясь к перилам и наслаждаясь то ли воздухом, то ли видом своего хозяйства. — А у нас на зоне такой Коля Потапкин был, повар на том самом парходике, что Сталина с Кировым по Беломорканалу возил. Так он в меню лишнее блюдо одно сделал, от желания потрафить вождю. Скажем, по расписанию восемь блюд полагалось в день изготовить, а он какое-то девятое сочинил. Попытка теракта. Десять лет.

— Кто у вас только не сидел на зоне, — сказал Рубин с крыльца. Только-только начинала яснеть голова. Старик поднял к нему улыбающееся лицо.

— Что ты! — сказал он. — Даже генерал Андерс сидел, поляк этот. Увезли его вместе с остальными поляками. Как мы им завидовали, когда остались! А один из нашей зоны даже к Сталину на свидание ездил. Возили, конечно. Правда-правда, век свободы не видать.

— Закурим? — предложил Рубин. — А то воздух слишком свежий.

— Верно, — засмеялся Варыгин и ловко зажег спичку, охраняя пламя от ветра в огромных своих ладонях. — Левинер его была фамилия. Он когда-то с уса-тым в одной ссылке был. В Сольвычегодске, кажется. Там у них привольно было, царь-дурак ведь пособие платил ссылкой, им жилось чуть ли не лучше, чем работягам тамошним. Рассказывал еще этот Левинер: они там каток организовали для населения, брали немного за вход — деньги эти шли тем, кто нуждался, зато музыка играла — сплошь из революционеров оркестр. Левинер на трубе дудел, а Коба — на кларнете.

— Слушай, Акимыч, я это записать должен, я не знал, что он играл еще. Про стихи — знаю, а про кларнет — впервые. Позволь, тетрадку притащу, — заторопился Рубин.

По лицу Варыгина пробежала легкая тень, и лицо его окаменело, застыв.

— Пиши, — надменно сказал он. — Варыгин моя фамилия. Аким Акимович. Я ничего не боюсь.

— Да ты что! — Рубин остолбенело смотрел на старика. — Я не собираюсь на тебя ссылаться. Мне сам факт интересен, вот и все. Экий ты чудак. Что в этом криминального?

— Чудак, по-моему, ты, а не я, — старик помягчел и задумчиво смотрел на Рубина. — Неужели правда ты думаешь о лагерях писать и чтоб это кто-нибудь напечатал?

— Акимыч, дорогой, неважно мне, напечатают или нет, мне самому это нужно, для себя, — взмолился Рубин. — Не могу я больше ни о чем, поверь мне. Как судьба это. Понимаешь?

— Бери тетрадь свою, бутылку прихвати, мы на крыльчке сядем, — приказал Акимыч. — Давай.

Они уселись поудобней, выпили, молча чокнувшись, и Акимыч, ставя рюмку, сказал:

— Я за то пил, чтоб не попался ты, пока не напишешь. Болтаешь много, небось?

— Не очень, — засмеялся Рубин. — Но болтаю. Расскажи дальше, я пометку в тетради сделал, не забуду теперь.

— В Сольвычегодске, значит, если правильно помню. Этот Левинер посылки там из дома получал и Кобу регулярно подкармливал. По-лагерному это называется — подогревал. Такое забывать негоже. Тому, кого подогревали. Вот мужики и говорят этому Левинеру: пиши, мол, Сталину, не будь дурак, должен помнить, как ты его грел. А Левинер смущается — мол, неудобно. У вас ведь у евреев, две крайности: или вы паглые, как танки, или застенчивые, как хер на морозе. Уговорили, однако, написал он. И дошло, представь! Вдруг из Москвы спецконвой, и дергают Левинера на этап, а он от страха и надежды полумертвый. Как только такие революцию делали?

Варыгин опять налил по стопке, но Рубин молча отодвинул свою, и старик не настаивал.

— Привозят его, представь, не на Лубянку, а в самую вашу лучшую гостиницу для начальской шатни.

— В «Москву», наверно, — уточнил Рубин.

— В нее, должно быть, — старик помедлил на интересном месте и неторопливо закурил. — Лагерное шуму-

тье с него сдирают, дают отличную одежду, в номере жратва и книги, на стене — кнопка, чтобы обслугу вызывать. Главное, говорят, никуда не выходите ни на минуту. Что потребуется — вызывайте, принесут. Ждите телефонного звонка. И ждал он так, уж я боюсь соврать, но чуть ли не две недели. Кантовался, как хотел. Спал, читал, курил. Только ожиданием мучился. Очень долго. Даже удовольствие от сытости, безделья и тепла уже притупилось. Вдруг ночью — звонок. Сталин. Гражданин Левинер, говорит он, это вы? Я. Гражданин Левинер, говорит эта рябая сука, я получил ваше письмо, вы очень плохой человек. Если бы вы были хорошим человеком, то вы бы мне в письме не стали напоминать, как вы мне когда-то помогли. Но вы это мне напомнили, значит, — вы плохой человек, значит, — вас посадили правильно. И отбой. Левинер стоит, ноги у него трясутся. И тут же — подслушивали, видать, врываются вертухаи, кидают ему лагерные шмотки, везут к вагону и на этап. Всего месяц он отсутствовали снова к нам на зону. Очень быстро доходягой стал. Будто перегорело что внутри. Или надорвалось от ожидания.

— Потрясающая история, — выдохнул Рубин.

— Слушай, — сказал старик, — я тогда сразу подумал вот что: эта злобная рябая гнида не случайно Левинера столько дней на гостиничных харчах держала. Это не потому, что усатый забыл о нем. Тут издевательство было тонкое, ему свойственное. Вот, мол, я тоже тебе дал передохнуть и подогрел. Теперь мы квиты. А на выручку с моей стороны — не хуя было рассчитывать, разошлись наши дорожки. Ехай и подыхай... Как ты думаешь, похоже?

— Похоже, — согласился Рубин. — Он наслаждался, если мог унижить. Дай-ка теперь я тебе расскажу, очень сходное тут что-то есть. Старый мне писатель один рассказывал. Поссорились за что-то Фадеев с кем-то еще, не помню точно, но из таких же, из тогдашней своры. Дело было на даче у кого-то из холуев. Сталин говорит: помиритесь, я вас очень прошу, негоже вам в ссоре быть, нехорошо. Они ни в какую. Он настаивает. Мягко просит, но убедительно. Наконец, Фадеев не выдержал и хмуро руку протягивает. Тот второй тоже. Пожали руки. Сталин говорит: обнимитесь, я прошу вас от всего сердца, нам нельзя в душе злость хранить к своим, нам злость для врагов оставить нужно. Обними-

тесь. Опять Фадеев уступил и этого второго обнял. Тогда Сталин его по плечу похлопал и говорит: слабый ты человек, Фадеев.

— Тот же почерк, — Варыгин сперва кивнул, потом мотнул головой, как норовистый жеребец. — И ведь такая тварь у нас за Бога сидела тридцать лет. Это убитых за такое время сосчитать можно хоть приблизительно, а душевные порухи наши, духом искалеченных кто за все годы сочтет? Ну, правда, он и сдох от этого.

— От чего? — не понял Рубин.

— От ненависти общей, — объяснил старик. — Да ты не пялься на меня, как жених на тещу среди ночи. Столько народа ненавидело его, что он от общего излучения и подох. А еще о науке пишешь. Не знаешь, что ли, что от человека излучение идет? Вот они и слились тогда, общие у миллионов зеков к нему чувства. Вроде как бы радиация получается. И от лагерей шла тоже радиация на всю страну. Страха, всякой мерзости душевной, что в человеке от такой жизни развивается, до сих пор мы из-за этого в говне живем, никак не можем оклематься. Никогда не думал? Это лагерь всех нас облучил. И детям передаем. Это долго выветриваться будет.

— Да, с твоими образами не поспоришь, — засмеялся Рубин. — Очень ты самостоятельный мыслитель, Акимыч.

— Время есть, размышляю помаленьку, — согласился старик.

— Акимыч, — вдруг сообразил Рубин, — а тебе ведь десять давали, отчего же ты пятнадцать просидел?

— Мне за побег накинули восьмерик, — охотно объяснил Варыгин, с явным удовольствием предаваясь воспоминаниям молодости. — За год до конца срока вдруг такая меня тоска прихватила, и я бежать попытался. В вагоне с лесом. Кто-то стукнул, видать, не нашли б они меня без доноса. Ну, поколотили, как водится, сапогами потоптали, в карцер сунули, срок добавили. Хорошо, что на другую зону не перевели, тяжело к новой привыкать.

— Знаешь, — сказал Рубин, — а я что-то начинаю понимать в том, что ты мне говорил сегодня. Голова, должно быть, прояснилась. Ведь потребность в свободе, она и вправду только у тех возникает, кто что-то может, и хочет, и умеет. Кто способен к вольному су-

ществованию. И труду такому же. От души, а не под палкой. По призванию и доброй воле.

— Видишь, — спокойно отозвался Варыгин, — вот и сходиться начинаем. Даже Кунин меня не сразу понял, тоже о пустой свободе талдычить любил. А это чувство, оно не всем дано. До него расти надо и расти. Или в себе с рождения иметь, тогда на все пойдешь ради свободы. У нас один зек ради свободы знаешь, что натуптил? Из «Евгения Онегина» главу написал вместо Пушкина.

Рубин уже встал, чтоб уходить, ему надо было в город позарез, но услышав такое, молча опустил на крыльцо.

— Правда, — старик засмеялся, довольный произведенным впечатлением. — Спроси у Кунина, если не веришь.

— Прямо сейчас поеду, — Рубин поднялся снова. — Я эту историю слышал, только не знал, где именно она произошла.

— У нас, у нас, — кивал старик. — Давай на пошок.

Он налил две полные стопки, выпрямился и постарел.

— Славное дело ты, Илья Ароньч, затеял, — негромко сказал он. — Только не отступись. Давай за твою удачу.

— Ваше здоровье, Аким Акимович, очень благодарен вам я. — Рубин почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Похмельная слабость, зло подумал он, чтоб их унять. И у старика нескрываяемо проступили слезы в углах покрасневших век.

— Давай, — сухо сказал Варыгин, опрокидывая стопку. Вытер рот тыльной стороной кисти, подняв руку, чтобы по глазам пройтись ненароком, после чего мокрой ладонью сжал руку Рубина, как клещами, сразу резко пальцы разомкнув.

— Приезжай, — бормотнул он. — И Кунину с Натальей поклон. Я навещу их вскорости. Бывай.

И, не оглядываясь, ушел в дом. Рубин закурил, огляделся, чтобы все получше запомнить, и пошел на станцию, убыстрив шаг, когда бросил сигарету.

* * *

Они сидели на скамейке возле подворотни, куда Кунин каждый день выходил из дома подышать, как он

говорил, бензином большого города. Даже здесь, в неяркости улицы между высоких домов была видна желто-зеленая бледность на лице Кунина, не пытающегося шутить и хорохориться. Дряхлый, смертельно больной старик сидел, нахохлившись и опершись на палку, искоса поглядывая на Рубина.

— Как мой бригадир? — сразу спросил Кунин.

— Спасибо. Это было прекрасно. Настоящий. Очень сильный мужик, — Рубин задышался после быстрой ходьбы. Курить бы бросить, привычно подумал он.

— Сильный — не то слово, — хвастливо сказал Кунин, словно силой друга лично гордился. — Он при мне однажды мужика во мгновение ока задушил. Я ахнуть не успел.

— За что? — Рубин обычно мало верил в такие богатырские байки.

— Сапоги с него урка снять хотел, — буднично пояснил Кунин. — Мы в бараке двое были. Тот вошел так по-хозяйски, Ухо у него была кличка, а на Акимыче сапоги новые. Ухо говорит: снимай колеса, давай махнемся. Акимыч ему вежливо отвечает, как положено: этап идет на Колыму, и шмотки нужны самому. Ухо ему в глаза пальцами полез, Акимыч его за горло двумя руками. И так и поднял. Ухо только ногами дрыгнуть успел. Акимыч руки разжал, а тот готов.

— И обошлось? — у Рубина холодок прошел по спине от простоты и тона рассказанного. — Жаль, что я не Брет-Гарт, — добавил он.

— Ты самим собой хоть бы стань, — ворчливо заметил ему старик и сердито насупился.

— Вернемся, а? — мягко попросил Рубин. — Неужели обошлось?

Кунин кивнул.

— Начальству вообще плевать было, а урки в это время друг друга убивали вовсю, у них суки с ворами воевали. Ухо сукой был, а суки друг за друга меньше стояли. Да и не знал никто. Мы ушли из барака, а дневальный тоже где-то ошивался. Обошлось. Только Акимыч дня три ходил, как убитый. Он ведь добрый очень, это вид один, что генерал, — спокойно и медленно рассказывал Кунин, пристроив подбородок на руки, лежавшие на резной рукояти старинной палки для прогулок. — Давай про Пушкина расскажу, а то ко мне сюда один клиент может подойти.

И он хитро посмотрел на Рубина: видишь, мол, еще живу и существую. Рубин улыбнулся его взгляду и достал сигарету, выказывая полную готовность.

— Очень это был талантливый мужик, — сказал задумчиво Кунин. — И сейчас он жив еще, мы только не общаемся совсем, давно разошлись. Хотя живет он в Питере. Историк по образованию, что важно. А наглый! Но талантлив был тогда — безмерно. Ему, по-моему, все равно было, что написать — утраченную главу «Евгения Онегина» или сожженную книгу «Мертвых душ».

Рубин расхохотался.

— Хорошо ржешь, — сказал Кунин одобрительно. — Я же тебе рассказывал, тогда просто поветрие всех охватило, когда параша разнеслась, что за важные для родины открытия срок будут срезать и даже отпустить. Уверен, что с умыслом эту парашу распустило начальство. Словом, привезла ему жена Пушкина — но не обычное издание, а Брокгауза и Ефрона — знаешь такое? И еще много всяких книг. И написал! Он нам читал — там ведь филологи в достатке были, а просто гуманитариев — вообще тьма, космополиты валом уже шли. Очень всем понравилось. А что не Пушкин, по запаху было очевидно, только мы ведь происхождение знали, а на свежую голову, если не знаешь — один к одному. Те подлинные куски, кстати, из десятой главы, что были давно найдены, он аккуратно вмонтировал, неразлично они сливались. Даже интересно, что он сделал, хитрован: крохотные разночтения с тем текстом, что был известен. Мол, переделывал Пушкина, дело творческое. Дальше он сел и накатал властям парашу: что работал в библиотеке Салтыкова-Щедрина, разобрал чей-то архив, наткнулся в старом молитвеннике на листочки с текстом, в котором опознал десятую главу. И мол, так был потрясен, что выучил ее наизусть в результате бесконечного перечитывания. И предложил найти эту рукопись, поскольку после его ареста папки с книгами и бумагами сдали, естественно, обратно в хранилище.

— А ему никто не ответил? — утвердительно спросил Рубин.

— Нет, никто, — лаконично откликнулся старик, целиком сейчас где-то в лагерях находясь. — Нет, по-моему никто не ответил. Вдова напрасно подмывалась. Но пушкинисты это все-таки прочли.

— Кто? — нетерпеливо перебил Рубин. Кунин снисходительно покосился на такую пошлую торопливость.

— Лучшие, — ответил он. — Томашевский, кажется, прочел, Бонди, еще кто-то, уже не помню сейчас. Цявлевский, вроде бы. Я это потом уже узнал, на воле. Ну, они все сказали сразу, что не Пушкин... А однако же была и неуверенность в их тоне. После он, кстати, на воле эту игру продолжил. Уперся рогом и утверждает: было, мол, держал в руках и выучил, а не сам писал. Мы-то молчим, нам наплевать, а доверчивых и до сих пор полно. Даже статья была недавно: а вдруг и вправду подлинник? Специалисты хуевы. Знаешь, всюду настолько слабые профессионалы, что при таком раскладе мне бы надо искусствоведом быть: цвет я не чувствую и слабо вообще цвета различаю, рисунка и его законов не знаю, фамилии художников через полминуты забываю, а руку опознать ничью не могу — типичный был бы искусствовед.

— Да, богатая страна Россия, — задумчиво сказал Рубин. — Постоянно где-нибудь таланты возникают.

— Оттого она и режет их без жалости, — подтвердил Кунин. — Доволен историей? Тогда беги, куда хотел, а я еще посижу.

— Может быть, помочь наверх подняться? — спросил Рубин, вставая.

— Ни за что, — надменно сказал старик. — Во-первых, я человека жду, во-вторых, взберусь тебя не хуже. Скажи лучше стишок и иди. О старости что-нибудь.

О старости Рубин много писал — с тем большим удовольствием, чем лучше и бодрей себя чувствовал. Ира говорила, что слюнявыми жалобами на старость он свою грядущую дряхлость заклинает таким образом по-временить.

— Сколько угодно, — сказал Рубин и встал в позу декламатора. Кунин исподлобья смотрел, опершись подбородком о палочную рукоять. Рубин прочел торжественно и печально. «Не грусти, что мы сохнем, старик, мир останется сочным и дерзким, всюду слышится девичий крик, через миг становящийся женским».

— Ну, счастливо, — сказал Кунин. — Возникай, когда появишься. Я еще тоже поживу. Неохота умирать, Илья. Знаешь, очень хочется досмотреть, чем закончится это блядство. — И снова остро и мгновенно

у Рубина заволокло глаза. Низко наклонившись, он неловко поцеловал старика куда-то возле уха, резко выпрямился и почти побежал. Почувствовав, что влага высохла, обернулся и помахал рукой. Кунин кивнул ему, слегка приподняв голову над резной рукоятью палки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наступила пора ввести в повествование человека, с которым Рубин давным-давно мог познакомиться, но не пришлось. А понаслышке они знали друг о друге от весьма пожилых дяди и тети Рубина. Вернее, дяди и его жены — оба, впрочем, одинаково любили племянника. Это были удивительные старики: чистые, доброжелательные, неназойливые. Мирно и счастливо прожили они вместе более полувека, тихо и трогательно отпраздновав несколько лет назад свою золотую свадьбу. Каждому было чуть за восемьдесят сейчас, но тетя Ида все-таки настаивала, что ей семьдесят пять, и дядя Сема горячо подтверждал это. Гибельные смерчи тридцатых и сороковых совершенно не коснулись их, по счастью, словно незаметность служила охранительной стеной, — казалось, что на таких просто не поднималась рука доносчика, следователя-стахановца или павликов морозовых, росших у многочисленных соседей. Дядя Сема всю свою жизнь провел в каком-то управлении, ведающем текстильной промышленностью, — то ли экономистом он служил (что, как известно, является профессией национальной), то ли технологом.

Рубин довольно редко навещал стариков, ощущая всегда в их доме смутный стыд за суетливость своего существования. А они очень гордились, что племянник пишет и печатает статьи и книжки, считали его участником распущенной и богемной, но невыразимо привлекательной жизни, и расспрашивали всякий раз с тактичным, но настойчивым любопытством, кто с кем живет, кто сейчас разошелся и кто что сочиняет — из тех, кого они читали, слышали или видели по телевизору. Собираясь к ним, Рубин старался припасти какую-нибудь лакомую новость, и она долго обсуждалась ими — доброжелательно и с обилием гипотез.

Многие из узловых, болезненных российских тем рассматривались стариками столь просто, что Рубин терялся от бессилия им что-нибудь возразить. Например,

о Сталине говорилось прямо и с полной определенностью: да, погибли миллионы людей, но, во-первых, он многого не знал, во-вторых, он хотел добра и при нем часто снижались цены, в-третьих же, что главное, — он выиграл войну и был великим человеком, и не надо все сваливать только на него одного. Обсуждались лень, апатия и общее измельчание сегодняшней молодежи, но причины отыскивались в общем улучшении жизни и выросшей отсюда беззаботности, так что даже неудобно было возражать. А квартиры какие стали строить — помнишь, Ида, как мы ютились в коммуналках? — говорил дядя Сема, неуклонно переходя на тяжкие перипетии, пережитые текстильной промышленностью, а тетя Ида, выждав удобный момент, принималась вспоминать свою молодость, покойную сестру, с которой очень дружила, и страшное военное время.

Вовсе не были, однако, дядя с тетей просто недалекими и близорукими людьми. Несмотря на годы свои, здраво и зорко они судили, например, о разных людях, неизменно прощая или великодушно смягчая, но пронизательно замечая в каждом, в ком это было, — черствость, хитрость, жадность, карьеризм или стяжательство. Но гораздо более они наслаждались и подробничали, когда хвалили людей или отыскивали в них светлые черты. Рубин постепенно пришел к убеждению, что это отсвет их любви друг к другу покрывал таким осветляющим флером все окружающее их пространство и само мироздание, и уже давно не спорил с ними ни о чем.

Чтобы погреться в их душевном тепле, заходил к старикам довольно часто их ровесник и земляк, тоже очень сохранившийся старик, Матвей Зиновьевич. Впрочем, его и Рубин просто Матвеем называл, повелось это издавна, и обращаться к нему по имени-отчеству было уже неудобно. Жизнь его, полная и деяний зловещих и воздаяния наотмашь, издавна интересовала Рубина, однако Матвей не склонен был о ней распространяться. То, что Рубин выудил о нем у тети с дядей, очень тесно с духом времени соотносилось.

Году в двадцатом или двадцать первом начиналась бурная часть биографии Матвея. Вынесенный из захудалого местечка ветрами гражданской войны, лихой конник какого-то забубенного полка, Матвей рубился, не жалея сил, с черной гидрой белой контрреволюции. Где-то в Молдавии, в местечке столь же захудалом, как

его родное на Украине, он то ли украл, то ли хитростью увез, то ли от погрома спас (и крылась тут загадка отношений его полка с регулярными частями Красной Армии) ослепительно красивую еврейскую девчушку. С огромными глазами, красоты библейской и с библейским именем Рахиль, живой прелестью и сметливостью наполненную, как говаривал Матвей, «до мозга и костей». Ухитрился этот конный жених как-то переправить невесту своей родне, а спустя какое-то время вернулся и с ней вместе уехал в Харьков. Так они блаженно и дружно зажили, и Рахиль очень скоро родила ему сына. Со счастьем этим связан первый (и последний, кажется) в их семье крупный скандал. Молодой отец, обезумевший от радости, но не настолько, чтобы забыть свои воззрения, прислал жене в роддом записку, требуя назвать сына любым из нескольких предложенных им имен. Варианты этих имен Рубин знал, не спрашивая: тут был, должно быть, Вилорик (что означает — Владимир Ильич Ленин — Организатор Рабочих и Крестьян), тут был, без сомнения, Коминтерн, мог быть Эскадрон или, на худой конец, — Побиск (то есть Передовой Отряд Борцов и Строителей Коммунизма). Любящая жена Рахиль отвечала ему с библейской непреклонностью, что из роддома не выйдет вообще, оставшись в нем санитаркой-нянечкой, если сын не будет назван (тоже на выбор, что свидетельствовало о склонности к примирению) — Моисеем, Соломоном или Исааком. Спорили они, впрочем, недолго — и не только в силу взаимной любви, но и по обоюдной неприязни к непривычному им эпистолярному жанру, и сошлись на имени Борис. Рахиль уступила потому, что в имени этом содержалась возможность называть сына Борухом и не стыдно было, таким образом, приехать с ним в родное местечко, а Матвей согласился ради тактического маневра, который он предпринял немедленно: оформляя свидетельство о рождении сына, сделал ему имя — Борис! — настояв даже на восклицательном знаке. Тут они опять немного поругались, но Рахиль уже была дома, так что быстро и помирились. Восклицательный знак в устном обращении исчез сам собой, а мягкий знак — при получении паспорта, сохранилась только память о когдатошнем смешном происшествии.

Дальше было не смешно. Принимая рьяное и восторженное участие в устройении сияющей новой жизни, Матвей Зиновьевич Сахнин, ввязываясь во все коллизии

партийных свар и усмирения счастливого населения, оказался в конце двадцатых следователем в Наркомате внутренних дел. Он служил здесь так же преданно, озабоченно и размахисто, как рубил когда-то кошного и пешего врага. Его рассказы о делах на службе стали постепенно тягостны и ошеломительны для семьи земляков, так что однажды он их полностью и разом прекратил. А поводом тому были резкие слова дяди Семена. Тетя Ида этот разговор датировала осенью тридцать третьего года, ссылаясь на неопровержимую зарубку в памяти: трудный дифтерит у единственного сына. Дядя Сема был уверен, что это было в тридцать первом, летом, опираясь на столь же памятную веху: реконструкцию красильных машин на текстильных фабриках Ивановской области.

Матвей в тот день рассказывал, что ему попался крепкий орешек: некий крупный инженер-вредитель. Подследственный упорно не желал свое вредительство признать и покаяться, что мешало вскрыть и обезвредить компанию старых специалистов, целеустремленно и давно тормозивших развитие какой-то слабо процветающей отрасли. Никакие уговоры и доказательства не могли его сломить. Меры воздействия, применявшиеся к нему, были разнообразны и, с точки зрения следователей, предельно гуманны (побоев еще не было тогда) — типа запрещения спать, яркого света в глаза и попеременного потока обещаний и оскорблений. Тут Матвею внезапно явилась мысль, которой он, будучи профессионалом, весьма гордился. Он узнал, что у того инженера есть единственная дочь, свет очей его и средоточие заботы; ради обожаемой дочери инженер готов был все на свете совершить, и ради нее, скорей всего, упорствовал, чтобы остаться на свободе.

Нет, с самой дочерью ничего не сделал Матвей, он и в пределах дозволенного оставался мастером своего дела, в справедливости и даже святости которого был совершенно убежден. Просто он поручил фотографам своего учреждения сделать несколько фотографий-монтажей, где в разных ракурсах (для убедительности) была снята дочь вредителя, лежащая среди цветов в гробу. Естественно, он нашел способ предоставить им возможность сфотографировать, явно или тайком, эту живую и невредимую девушку.

— Знаю, почему вы упорствуете, — гневно бросил Матвей инженеру-вредителю на очередном допросе. —

Вам перед дочкой стыдно. А она вот от стыда за вас бросилась под машину, — и он кинул на стол веером замечательно изготовленные фотографии.

Инженер-вредитель даже звука не произнес, зубами не скрипнул, в лице не переменялся, рассказывал Матвей, искренне воздавая должное душевной стойкости скрытого врага. Разве что голос немного выдал состояние вредителя, когда он попросил протоколы признания и все их до одного подписал. А ночью в камере попытался вскрыть себе вены оказавшимся у него осколком бритвы. Но его спасли. Он легкой смерти не заслужил, сказал Матвей, пусть теперь искупит трудом в тяжелых северных условиях свою вину перед родиной и народом.

Этот эпизод старики помнили совершенно отчетливо, потому что именно тогда молчаливый и сплошное добродушие излучавший дядя Семен сказал приятелю резко и угрюмо:

— Бог покарает тебя, Матвей, он тебе этого не простит.

После этого Матвей Зиновьевич и прекратил рассказывать служебные истории в семье друзей. Но возмездие, обещанное дядей Семеном, явно запаздывало. Даже, пожалуй, наоборот: в тридцать седьмом у Рахили родилась замечательная девочка. Она, естественно, была названа Исталиной, и Рахиль ни словом не возразила.

К тому времени оба приятеля чуть ли не одновременно перебрались в Москву, что еще более их семьи сблизило. Матвей Зиновьевич работал до поздней ночи, и Рахиль много времени проводила у земляков.

Вообще они все недооценивали эту веселую, женственную и открытую Рахиль. То есть, они ее очень любили, с радостью принимали у себя и ходили к ней, но потом только поняли, что вовсе не такой простушкой и покорной женой она была, просто таила до поры все, что накапливалось и зрело в ней. А пока что они только наслаждались ее оптимизмом и умением разных людей весьма похоже изображать. Вспоминая это, тетя Ида часто пыталась воспроизвести, как Рахиль изображала в лицах приятелей и знакомых того времени, но даже дядя Семен, за всю жизнь тете Иде слова поперек не сказавший, пояснил сдержанно, что такой талант никому не дано повторить.

Особенно, по словам стариков, удавалось Рахили пе-

редразнивать задушевную свою подругу Серафиму Фомину, жену какого-то очень-очень ответственного работника Наркомата внешней торговли. Эта смазливая и разбитная бабешка из-под Тамбова совершенно сошла в Москве с ума от столичной возможности одеваться. И о чем бы она ни говорила, эта Серафима Фомина, — сбивалась непременно на то, как была в этот момент одета. Так однажды Серафима рассказала, что на Новодевичьем кладбище, куда ходила она с мужем гулять (он могилы знаменитых писателей любил рассматривать на отдыхе), вдруг увидели они самого товарища Сталина, приехавшего на могилу к жене.

— Ну, какой он вблизи? — спросила любопытная Рахиль.

И Серафима быстро интерес ее утолила:

— Ничего особенного. Стоит. А я — в метрах в двадцати. На мне костюм тайер (английский, вставлял всегда дядя Семен), жакет в талию, шляпка тирольская с пером, а туфли — стыдно сказать, но я же не знала, — на низком каблучке.

Более того: когда ее мужа Фомина, ответственного работника и перспективного выдвиженца, — арестовали, Серафима, прибежав к Рахили плакать, вскоре отерла слезы и сказала:

— Представляешь себе: они приходят, а мы только что с прогулки. На мне платье блуруаяль (французское, пояснял дядя Семен) с большими перламутровыми пуговицами, белые перчатки, шляпка белая и сиреневые чулки со стрелками, а туфли серебряные с голубым отливом на носке.

Обыск был у них тогда же, но пришли еще через неделю — забрать какие-то бумаги, названные Фоминым, — и сразу стали потрошить его стол. И про этот обыск Серафима тотчас же пришла рассказать:

— Приходят утром, я лежу в кровати и реву. А на мне пижама цвета фрез (давленная земляника, пояснял дядя Семен), в рукавах отделана черным шелком и прошита тонкой золотой ниткой. Так я и предежала весь обыск, они только косились.

Серафиму Фомину забрали месяца через четыре, и во что она была одета в тот день, знали только ее сонамерницы.

Какие-то еще истории вспоминали старики про Рахиль, любившую посмеяться, но минут через десять

умолкали. Это шло уже другое воспоминание, и его Рубин тоже слышал неоднократно.

Матвей Зиновьевич приходил теперь домой каждый день только под утро, мрачный и утомленный. Тень не то чтобы задумчивости (даже дядя Семен, сам отнюдь не Сократ, считал Матвея человеком недалеким), а какой-то отключенности, нездешности на него легла, и жене он тоже ничего теперь о работе не рассказывал.

Арестовали его в тридцать восьмом. Передачи брали у Рахили всего дней пять, после чего сказали, что адресат выбыл. В тот же вечер Рахиль пришла к друзьям с детьми, грудной Исталиной и подростком по имени Борись. Она коротко им сказала, что ей сейчас на время необходимо уехать, девочку она с собой возьмет, а парня очень просит поддержать покуда у них. Кроме чемодана со своей одежкой, сын тащил какой-то узелок и в передней его бросил. Узелок этот обнаружили только утром. Рахиль принесла подруге Иде несколько своих кофт и платьев.

А саму Рахиль нашли спустя месяца три, и то случайно, потому что уехала она, как оказалось, на дачу, недавно ими полученную. Исталину пристегнула она ремнем к спине и с ней вместе бросилась в колодец. Сына через полгода забрали родственники Рахили — они давно получили, как выяснилось, ее письмо, но по смертную просьбу медлили исполнить, и понять их можно было, и тетя с дядей их нисколько не осуждали. Написала им Рахиль, что винит во всем только себя, ибо она давно поняла, что делает Матвей Зиновьевич, и хотела, еще в Харькове живя, заставить его переменить профессию, но не смогла, потому что не старалась. И вот теперь карает себя сама.

Время шло; война дядю Семена пощадила: за два года, что он провоевал, был только однажды легко ранен. После его отозвали что-то восстанавливать, и здоровья он при этом, как часто говорил племяннику, потерял гораздо больше, потому что на войне идиотов не было у него среди командиров, там был страх естественный у всех, к нему привыкнуть можно было, а обезумевшее от тылового страха начальство — куда хуже и тяжелей.

А Матвей Зиновьевич вдруг живой объявился в пятьдесят пятом — совсем облезлый, старый и насквозь больной. Он полгода прожил у них, приходя в себя и

квартиру (ту же самую ему вернули) пытаюсь помянуть, чтобы не мучиться в знакомых стенах.

Сына разыскал Матвей Зиновьевич не сразу, а только через месяц, когда поправился слегка и отошел; старики его одели как могли, и на зека-доходягу он уже не походил, как в первый день. Зубы ему вставили за счет организации, из которой он был забран. Встретившись с сыном, Матвей слегка обескуражен был — то ли от встречи, то ли от сыновней неожиданной судьбы: оказалось, что уже давно по комсомольской путевке призванный, его сын Борис работает в органах государственной безопасности. Очевидно, он отца довольно холодно приветил, потому что о его успехах и его семье Матвей не распространялся в дальнейшем. В курсе был — не более того.

И о лагерных своих годах очень мало повествовал Матвей, на одном только настаивая твердо: был он и остался пламенным коммунистом-ленинцем. И после войны, когда деньги у них в лагере были, он платил тайком партийные взносы в свою подпольную зековскую ячейку верных большевиков. Словом, был он из той распространенной породы, что прожили в тридцатых свою молодость и зрелость, обмирая от преданности и страха, утешая себя расхожей сказкой, что лес рубят — щепки летят, но до них этот слепой безжалостный топор не доберется. Превратились после в щепки сами, и по пятнадцать-двадцать лет их несло во всероссийском гибельном водовороте, иных засасывая в глину навсегда, иных низводя до мусора. Но выжили. Чудом уцелели. И немедленно обзавелись идеей, что лес рубили безусловно, только как бы и не вырубили вовсе, так что этот лес по-прежнему красуется в монолитном и роскошном цветении, озонируя собою воздух планеты и восхищая человечество, жаждущее такой же судьбы.

В силу этого спасительного мировоззрения Матвей Зиновьевич исключительно о международной политике любил разговаривать, разрубая наотмашь и легко самые запутанные узлы. Жизнь по-прежнему он видел сквозь какую-то нелепую призму, коя все события на свете преломляла так удобно, что система империализма выглядела наподобие Пизанской башни и склонялась со дня на день рухнуть. А все страны, втайне мечтавшие проситься к нам в республики, пока что загнивали, созревая для катаклизмов, которым мы должны были, конечно, помогать, отчего нам самим пока что

многого не хватало. Эти и подобные рассуждения дились из Матвея потоком нескончаемым и обильным. Рубин не любил с ним встречаться у стариков и никакой к нему не чувствовал жалости. Порою только думал, как забавно: сын пошел по той же дороге, а с отцом родным не смог найти общий язык.

* * *

Борис Матвеевич Сахнин был умен, сухощав и безупречен. И не от того он обошелся холодно с отцом, что воскрешения его испугался, у многих сотрудников в те годы возвращались из лагерей отцы и близкие, криминальным для послужного списка это не являлось. Но вновь обретенный отец оказался удручающе ограничен, и его докучливые разговоры с оттенком назидания раздражали Бориса Матвеевича до невероятия, до вспышек стыдной неприязни к старику. Отец ему казался мастодонтом, вопреки здравому смыслу продолжавшим свое реликтовое существование. Ради Бога, пусть бы жил себе на здоровье, но к сегодняшней жизни и ее проблемам никакого касательства не имел. Холодно и насмешливо выслушивал Борис Матвеевич разглагольствования старика о преданности партии, возражая ему порой так неожиданно и остро, что отец недоуменно интересовался, как сын может работать в органах с таким преступным и вредительским мировоззрением.

Между тем работал Борис Матвеевич превосходно, и хотя уже был сильно в возрасте, никто еще о пенсии ему не намекал. Руководил полковник Сахнин огромным оперативным подразделением в сотню человек, из которых половина была с высшим образованием. Все вовремя бывали на местах, безотказно работали записывающие и снимающие аппараты, и ни единой операции за много лет не сорвали подопечные полковника Сахнина.

Наверное, именно поэтому он мог позволить себе шутки, которые никому другому не простились бы. Это он много лет назад сказал с усмешкой на летних командирских учениях: как надену португею, так немедленно тупею, — и последний зачуханный постовой милиционер, по лимиту прописавшийся в Москве после армии, эту шутку вскоре знал, не говоря уж о сотрудниках Лубянки. И ничего. А в столовой однажды (для начальства, туда не каждый был вхож) говорил он за

столом такое, что, бывает, на суде только услышишь, когда судят кого-нибудь за клеветнические измышления:

— Интересно, я подумал сегодня, — громко и сочно говорил Сахнин трем своим высоким сотрапезникам, — что есть фразы, над которыми зря смеются сейчас всякие историки, тайно подмигивая читателю. Помните, конечно, Сергей Иванович (это он к своему прямому начальнику обращался, генералу Селезню), есть у знаменитого Бенкендорфа, начальника жандармов, личной номенклатуры царя, такая известная фраза: прошлое России удивительно, настоящее — белее чем великолепно, а уж будущее таково, что недоступно самому смелому воображению. Много раз борзые публицисты припоминали ее с насмешкой, а ведь она безусловно точна с профессиональной точки зрения: это же Бенкендорф в службе надзора и пресечения говорил.

Генерал Селезень, грузный и обстоятельный, ничего, кажется, в жизни кроме биографии Дзержинского не читавший, с одобрением кивнул красивой седой головой, а сотрудики, за соседним столом сидевшие, восхищенно переглянулись и разнесли эту мысль немедленно по длинным коридорам их многоэтажной конторы.

Именно полковнику Сахнину одна отменная психологическая формула принадлежала, все теперь ее употребляли как весьма полезный деловой ход. Вызвав на Лубянку для увещевания какого-нибудь зарвавшегося интеллигента — особенно из болтающих с иностранцами, — сотрудник, с ним беседу заканчивая, дружелюбно и вскользь говаривал:

— Ну что ж, я убедился, что вы доподлинно советский человек. Но вот досье на вас уже заведено теперь, смотрите, чтоб оно не пополнялось: папка ведь у нас лежит, а времена — они меняются, заметьте.

Очень многим бравым фрондерам это помогало радикально.

Кое-кто в конторе не любил Бориса Матвеевича — по разнообразным причинам: за постоянно подчеркиваемую начитанность, за суховатую любезность, за неуязвимость и отсутствие заметных слабостей, за разное. Но были люди, обожавшие его, даже подражатели и перевозчики были. Очень он однажды репутацию свою повысил и укрепил, когда находчиво и смело выступил на одном ~~семинаре~~, хотя к нему ~~непосредствен-~~

но тема обсуждения никак не относилась. Речь шла о крупном служебном проступке одного из старых чекистов. В западногерманском посольстве собрались как-то сотрудники под вечер в кабинете одного из дипломатов, чтоб какой-то праздник отметить. Хлопнуло шампанское, выпили коньяка, и хозяин кабинета сказал, смеясь:

— Жаль мне того русского Васю, который нас сейчас подслушивает, а сам не может выпить, бедолага.

Он это по-русски сказал, ибо по образованию был филолог-славист, своим знанием языка гордился и не прочь был при случае этим щегольнуть. Большинство работников посольства русский понимало тоже, так что дружный смех раздался. А минутой спустя внезапно зазвонил телефон. С недоумением на часы взглянув — уж очень поздно для служебного звонка, — дипломат взял трубку. Вдруг лицо его озарило чрезвычайное какое-то наслаждение, просто расплылось его обычно суховатое лицо, и он знаками подозвал сотрудников. Те столпились, каждый слушал по очереди, и у всех глаза и лица озарялись той же улыбкой счастья. Что-то от детства было в этих улыбках, от озорного, бесшабашного, давно забытого прекрасного детства. В трубке слышался плеск и бульканье, кто-то долго и нарочито громко лил какую-то жидкость из нескончаемой бутылки в бездонный стакан. Долго и громко для того, чтоб догадалась немчура проклятая, что это Вася, нагло осмеянный только что, тоже себе выпивку наливает.

Немцы, восхищенные горделивым русским духом, всюду растрезвонили о происшествии, и дежурный по подслушке лейтенант Михалев был немедля вызван на ковер к начальству, а после этого — на общее собрание отдела. Собрание было призвано и уполномочено в наказание за грубое служебное нарушение ходатайствовать перед руководством об увольнении провинившегося из органов, что кошмарно подрывало пенсионные надежды немолодого служаки. И уже заранее назначенные хулители выступили, требуя зловещей кары. Все было ясно и predetermined, и все молчали привычно, когда слова попросил полковник Сахнин. И был он вдохновенно краток:

— Безусловно, поступок лейтенанта Михалева наказания заслуживает. Только какого? Давно когда-то мы работали с ним вместе — он настоящий чекист, и ничего, кроме хорошего, не могу о нем вспомнить. А теперь? Безусловно, выговора он заслуживает, я согла-

сен. Но не более того. Разве все равно они не знают, что мы их подслушиваем? Знают. И они нас так же в своем Западном Берлине подслушивают. Я за выговор обеими руками голосовать буду. Дисциплина есть дисциплина. Только искренне хочу сознаться, что рукой за выговор голосуя, всей душой я понимаю Михалева. Это и проступок был, но и поступок тоже — поступок настоящего советского патриота, для которого гордость за свою страну — не пустые привычные слева, а состояние души.

И зал взорвался смехом и аплодисментами, хотя не принято на таких собраниях рукоплескать кому бы то ни было. И сорвалась дисциплинарная акция, большинство проголосовало за выговор, только лизоблюды за увольнение голосовали, да и то некоторые воздержались. И хоть пожурило начальство полковника Сахнина, однако же и оценило его находчивость, так что в самой интонации журення проскальзывало одобрительное согласие. Даже возможность продвижения вдруг для него открылась, так понравился его мужской поступок, но полковник Сахнин заманчивыми вакансиями пренебрег. Более того, самоуверенно и насмешливо сказал он (и, естественно, всем это известно стало), что его не прельщает перспектива выдвинуться: выше въедешь, тише будешь, сказал он, цинично улыбаясь. Это лишь упрочило его репутацию, ибо карьерное бескорыстие было в их среде редкостью уникальной.

Что же все-таки любил Борис Матвеевич, был ли у него вообще круг привязанностей, увлечений, пристрастий? Ибо не службистом был он темным и убогим — а личностью весьма заметной. Ну, во-первых, он семью свою любил. Жену притом — с оттенком благодарного удивления, ибо некогда завел с ней роман из расчета в Москве остаться после института, но потом привык и даже полюбил, очень в этом смысле редкий вытянув у судьбы билет. Обожал он книги и притом литературу именно русскую, особенно классическую, хоть и современной не брезговал, еще в журналах прочитывал новинки. Вообще он литературой и историей России настолько был увлечен, что даже свел своеобразную дружбу на работе с одним полным тупицей — хранителем кабинета, куда поступали антисоветские книги, изданные за рубежом и отечественный самиздат. Кабинет этот считался справочной библиотекой, но ходили туда очень немногие — в основном причастные к тяжелой борьбе на

этом фронте, — а многие, быть может, и ходили бы, но не желали проявить излишний, вызывающий подозрение интерес. Полковник Сахнин пропадал там каждую свободную минуту. Странное приятельство с угрюмым и дубоватым начальником этого кабинета окупалось для Бориса Матвеевича сполна и с лихвой: он единственный литературу эту брал домой — в будние дни до следующего утра, но зато в пятницу — до самого понедельника.

Что находил он там, никогда не всплывало в разговорах, а прочитанное в литературе дозволенной — всплывало часто, ибо секрета из требовательности своей и вкуса полковник Сахнин не делал и про большинство современных авторов отзывался с брезгливым пренебрежением. Притворяются слепыми и блаженными, говорил он, а им ужасно охота шавкать — сочным этим глаголом собственного изготовления он, кажется, очень гордился. Шавкали у него все: вражеская печать и западные радиостанции, клеветники-карьеристы друг на друга и по начальству, супруги в неблагополучных семьях, интеллигенты при общении с иностранцами. Свое кровное чувство привязанности к российской истории и судьбе российской не прокламировал Борис Матвеевич Сахнин, с разумной проницательностью остерегаясь насмешливых искорок в глазах собеседников, но приятелям (друзей у него не было) — склонен был высказать порою то прискорбие свое гражданское, то восхищение чем-нибудь почвенным и исконным, то просто удивляя их вдумчивым и с очевидностью пристрастным, сыновним каким-то анализом эпизодов былой истории. Не скрывал несколько двойственности в своем отношении к Сталину: перегнул палку, убийца, жажда власти. жалко миллионов крестьян и вообще всех погибших за это время; но было что-то безусловно величественное в его правлении, с царями его роднящее и народному созвучное духу.

В разговорах этих постепенно всплывала, обретала черты, и в конце концов ясной для доверенных лиц делалась — личная, заветная для Сахнина картина идеального российского устройства. И он сам ее высказал, придя однажды на службу в состоянии необычного возбуждения. Прочитал он вдруг о человеке, за сто лет до него пришедшего к идее, которая Российскую империю (независимо от строя и системы) устремила бы по маршруту благоденствия и чрезвычайного расцвета.

Это он о некоем Липранди прочитал, фигуре забытой ныне, а некогда — знаменитой и спорной. Снова и снова с увлечением возвращался Сахнин к разговорам о Липранди и обсуждению его идеи. А при случае он и судьбу Липранди излагал с очевидным удовольствием. Замысловатая это была романтическая история о непонятом, опозоренном и забытом настоящем российском патриоте (по отцу — из испанцев). Те же самые в нем бродили дрожжи, что и в лучшей части российского офицерства, вышедшей однажды на Сенатскую площадь. Не случайно Пушкин молодой некогда с Липранди подружился, — да так, что тосковал, когда не видел его долго. Чуть за сорок было генерал-майору Липранди, когда его, трех войн лихого участника и мастера военной разведки, перевели в Петербург в Министерство внутренних дел.

Все про Липранди знал теперь так хорошо и досконально полковник Сахнин, что по случаю разные эпизоды из его бурной жизни повествовал увлеченно, и сотрудники по-нескольку раз эти истории с удовольствием выслушивали. Но о главном, что потрясло Сахнина, он рассказывал с такой сжатостью и насыщенностью текста, что казалось — излагает нечто выученное наизусть и годное для немедленного занесения а какой-нибудь высокий учредительный устав. Ибо венцом творческой мысли Липранди был проект некоего специального органа: высшей тайной полиции.

Было и впрямь необыкновенно по новизне то, что придумал в середине прошлого века незаурядный мыслитель и поэт системы внутренних дел. Ибо ведь только осведомление и пресечение было извечно функцией сыска, но еще никогда в истории не создавались при полиции сеть людей, отыскивающих и выхаживающих таланты. Именно это выдвинул Липранди в качестве главной задачи тайного учреждения. Не просто расчищать от сорняков, но и культивировать государственную ниву, стать изощренными и вдумчивыми садовниками призывал Липранди тайных рыцарей высшего полицейского органа! Разыскивать, поощрять и взлелеивать, охранять и пестовать людей честных и способных, помогать им пробиваться сквозь извечную российскую толщу равнодушия, безразличия и вражды. Именно этим должен был заниматься замкнутый клан посвященных, рыцарский орден, монашеское единство, нечто вроде иезуитов, вездесущих и осведомленных людей. Их под-

держка любых талантов и активное пресечение зла должны вершиться тайно: агентам следовало специальной почтой сообщать наверх о каждой ситуации, требующей вмешательства, а власти должны были немедленно реагировать, помогать и способствовать. Замысел предполагал, чтобы они работали анонимно, даже не зная о существовании друг друга, бескорыстно и самоотверженно, одной-единственной идеей вдохновляемые: польза и возвышение Отечества. Тут бы и переменялся российский климат, ибо искоренялись всюду зло и лиходейство, а все доброе и способное — поощрялось и охранялось.

Так упоенно это рассказывал Сахнин и повторял, что однажды даже призван был к начальству, где состоялось нечто вроде импровизированного симпозиума, на котором — увы! — была разбита вдребезги и поднята насмех эта давняя заскорузлая мечта забытого всеми полицейского романтика. Ибо люди, собравшиеся в высоком кабинете, не в силах были отказаться от ханжества и лицедейства даже при интимных беседах. Так что сразу сникло и увяло обсуждение, едва лишь кто-то догадался вслух, что ведь райкомы партии и отдельные коммунисты — вроде бы к тому и призваны, а что в реальности выходит — тут и замолчали все, проявив согласное понимание. Сахнин пытался объяснить, что неправильно такое уподобление, что речь бы шла о небольшом контингенте настоящих подвижников с настоящим образованием и подлинным призванием к такому делу, но осекся, вдруг сообразив с тоской, что ведь и все присутствующие себя считают таковыми, а он им истинную цену знает. Уж какое там бескорыстие и подвижничество... Говорят, в двадцатые годы были такие люди вокруг Феликса Эдмундовича Дзержинского, но уже и в этом сильно сомневался теперь полковник Сахнин, всяческой литературы начитавшись. После того симпозиума он о Липранди больше не разглагольствовал, а вскоре и другие забыли. Только один молодой генерал из контрразведки, как-то встретив в коридоре Сахнина, подозвал его и доверительно объяснил, что население российское — скоты и рабы. Так что работать сотрудникам, если б возник такой орган попечения, — среди столь беспросветного быдла пришлось, что они бы спились немедленно, взятки начав брать за содействие и сокрытие, а скорей всего — очерствели незамедлительно и в таких же аппаратных крыс превра-

тились. Так что не мечите бисер, занимайтесь своим прямым делом, а прожекты и мечты оставьте для бесед за рюмкой коньяка с друзьями. И притом с проверенными, мой вам совет. И генерал пошел дальше, улыбнувшись приветливо, а Сахнин из этого упреждения сделал правильный вывод, больше он публично просветительством не увлекался. Тем более, что работы ежедневной было невпроворот: живой, динамичной, оперативной, требующей сообразительности, выдумки и того пластичного разнообразия способов, за которое его ценило начальство.

Но читал он по-прежнему запоем.

* * *

— А я всегда думал, Толя, что ты совершенно благополучный служака. Бодрый, подтянутый, душа коллектива. Когда с тобой такое началось? Давно?

Спрашивая это, Борис Матвеевич Сахнин искоса глянул на своего спутника и коллегу, тоже полковника государственной безопасности, Анатолия Акимовича Варыгина. Коренной ленинградец, на полтора десятка лет моложе Сахнина, давний его знакомый, Варыгин приятелем Сахнину не был, но встречаясь изредка на совещаниях, они с симпатией относились друг к другу, а вот теперь заговорили вдруг впервые распахнуто и раскованно. Варыгин приехал в Москву в командировку и утром в воскресенье пригласил Сахнина побродить по городу и поболтать, как бывало в студенческие годы. Не без удивления выслушал его Сахнин и без охоты согласился. На предложение посидеть лучше дома за коньяком и шахматами ответил Варыгин, что не пьет, потому что куража не чувствует от выпивки, а в шахматы ему, психологу, играть — все равно, что почтальону совершать прогулки для моциона. Вы инженер, а не психолог, возразил Сахнин. Все мы психологи, ответил Варыгин. Встретились они у памятника Пушкину и шли теперь по Петровскому бульвару. Без обиняков заговорил Варыгин, как тяжело стал чувствовать себя последние годы, как ненавидит свою работу, тяготится службой, задыхается, не знает, что ему делать дальше. Уходить в отставку или менять место, осторожно посоветовал Сахнин. Годы еще не вышли, еще семь лет надо отбыть до полной пенсии, честно объяснил Варыгин, а уходить на маленькую не хочется. А душа не терпит

более, и очень тяжкими стали отношения со старшим сыном. Тот запоем читает антисоветские книжки, добывая их у каких-то приятелей, — Варыгин даже знает, у каких именно, — и отца открытым текстом стыдит за причастность к карательно-сыскной системе. Оправданий, что это чисто инженерная работа, парень не принимает. Да, он знает, что отец работает со всяческой следящей аппаратурой, не скрывал это Варыгин никогда, но никак не думал, что его служба может стать причиной их разлада. Сын — филолог, занимается поэзией начала века — Брюсовым, Бальмонтом, декадентами. Смотрите, как забавно, вдруг сказал Варыгин, остановившись, так поразила его внезапная мысль. Смотрите-ка, Борис Матвеевич, повторил он, декаданс — ведь это упадок, а декадентами называли всех поэтов того времени, которое сейчас именуется русским Ренессансом, то-есть Возрождением. А когда в нашу пору возродилась русская свободная мысль после своего многолетнего обморока, то вольнодумцев стали называть шизофрениками и сажать в психушки, чтоб этот якобы упадок разума лечить. Правда же, забавное совпадение? И мы с вами к этому причастны, Борис Матвеевич, глухо добавил он. Почему я именно к вам пристал с этим разговором? Ну не пристал, хорошо, не придирайтесь к слову. Просто мне больше не к кому. В конторе нашей ленинградской все повально друг на друга стучат. Из разных соображений, по разным мотивам и причинам. Не с кем поговорить открыто. Я вас давно уже заметил и выделил. Знаю, кстати, что вы запоем читаете книги, которые наши же сотрудники изымают. И вообще вы мне внушаете доверие. Нет, я не надеюсь, что вы думаете так же, как я, просто был уверен, что могу с вами побеседовать по душам. Уж извините, если не в резонанс попал.

Тут Сахнин и выразил свое удивление и спросил, давно ли это с полковником Варыгиным случилось.

— Давно, — признался Варыгин с невеселым смешком. В отлично сшитом сером костюме, с промельками серебра в густых каштановых волосах, стройный, хотя с намечающимся уже брюшком, он упруго вышагивал рядом с сухощавым теннисистом Сахниным, и со стороны, должно быть, очень выигрышно смотрелись эти немолодые, но отлично сохранившиеся мужики.

— Давно, — повторил Варыгин. — Я ведь блокадник, хотя блокаду не помню, маленьким был. Но рас-

сказывали мне о ней достаточно. И вот однажды узнаю, представьте, что из голодного блокадного Питера шли в тыл продуктовые посылки. Да, да, продуктовые. Это порученцы Жданова своим семьям посылали. Хватало, значит.

— Так ведь он сам в это время в теннис играл, от ожирения спасаясь, — подтвердил Сахнин. — Это я от одного тренера знаю. Ты не обижаешься, что я к тебе без отчества?

— Нормально, — сказал Варыгин. — Я после тоже на имя перейду. Я вас уж очень старшим воспринимаю. Меня тогда вот это про блокаду просто потрясло. Потом еще. Вы вряд ли помните, конечно, — был у настайкой мэра города в начале шестидесятых — Смирнов. Председатель городского совета депутатов трудящихся.

Последние слова Варыгин выговорил с таким презрением, что Сахнин недоуменно глянул на него.

— Сейчас объясню. — Варыгин вытащил сигареты, приглашающе протянул пачку, Сахнин отрицательно покачал головой, и Варыгин закурил, не замедлив шага. — Я тогда только начинал работать после института. Я институт связи кончал. Соблазнился романтикой, если признаться честно. И сразу попал в оперативную группу. Это у вас сейчас в группе человек сто, а нас тогда всего-то было человек пятнадцать, нарасхват нас требовали, ночей не спал. И нравилось очень. Сами знаете, наверняка, прошли через это.

Сахнин кивнул головой. Охота за людьми, он давно это заметил, побуждала к рьяному азарту даже самых отъявленных лентяев. В старых служаках это было вообще острым стимулом — особенно, если их достаточно вводили в курс дела. Оттого, кстати, так безупречно работали все у Сахнина: он знал, что отдача будет полной, когда сотрудник настолько посвящен в детали операции, что чувствует себя полноправным участником всего действия, а не исполнителем третьестепенной роли в эпизоде.

— Мы отслеживали связи товарищей из городского треста, — продолжал Варыгин. — Они воду в вино подмешивали, меняли сорта вин, регулировали автоматы на недолив — обычные хищения среди ихней братии. И каждый, естественно, отстегивал часть добычи своему руководству, а те — своему. И начальство треста получало свою долю, и ревизоры, и милиция, все чин по чину. А самое их высшее торговое начальство — те не-

сли деньги в горсовет и в обком партии. Но мы до этого не сразу докрутились. И тут вы знаете, меня что поразило? Сидит, к примеру у следователя по этому делу заместитель мэра города, чуть не второе в Питере лицо, всеильный человек; после чего, угадайте, — куда идет? К вшивому магазину шампанских вин, и там в задней комнате отчитывается, как мальчишка, перед директором этого шалмана. И тот еще кричит на него: мол, я вас выдвинул, я вас кормлю, я вас и обратно задвину, если не умеете держать язык за зубами! Это, знаете ли, я много позже понял, что вся наша система плодит подкуп и воровство так же естественно, как печень выделяет желчь, а желудок — дерьмо. Тогда и удивляться перестал.

— А что же Смирнов? — нетерпеливо спросил Сахнин.

— Редкостный был здоровяк, — уважительно сказал Варыгин. — Человек-гора. Выпивал две бутылки коньяка. Когда выяснилось, что деньги именно к нему стекались, разрешено было его допросить. На понедельник разговор назначили. Только Бог нас уберег. Он в родительскую субботу поехал к своей матери на кладбище. Не знаю, ездил ли всегда, но в таких ситуациях просыпаются религиозные чувства. Вроде как люди защиты у мертвых просят. Или у Бога скидки. Словом, выпил он там бутылку коньяка, пересадил шофера своего назад и на скорости в сто пятьдесят километров не вписал свою «Чайку» в поворот. Почти напололам его рулем передавило.

— А шофер? — спросил Сахнин.

— Шофер ему руль не хотел отдавать. А Смирнов ему по морде врезал. Мол, соображай, кто ты, а кто я. Шофера наши ребята забрали после аварии. Дней десять продержали. Был еще с ними в машине брат Смирнова, комиссар какого-то районного военкомата. Так вот, после аварии он, едва очухался, велел шоферу взять вину на себя. Пригрозил, что хуже будет, парень испугался. Наши сразу разобрались, но до команды сверху все-таки шофера не отпускали. А прикажи — и упекли бы. Словом, не в этом дело. Ушел Смирнов, по счастью, от допроса. И для него, и для нас — по счастью. А теперь в Питере проспект его имени. Святой труженик. Сгорел на работе.

Варыгин искоса посмотрел на Сахнина.

— Почему для нас это счастье — понимаете? — спросил он.

— Конечно, — просто ответил Сахнин. — При его связях сожрал бы вас Смирнов за полчаса со всеми потрохами.

— Да, — подтвердил Варыгин. — Мы как-то ехали в Москву с одним старым чекистом, он мне вдруг и говорит: в хорошее время служим, Анатолий Акимыч, в былые годы прямо дома пулю вшили бы. У Смирнова в сейфе камни нашли драгоценные, деньги наши и финские, золотых монет коробку, а главное, — меня как коренного питерца это особенно взбесило, — знаете, что?

— Знаю, — сказал Сахнин. — Ордера на квартиры, уже утвержденные горсоветом, осталось только фамилии вставить и можно подарить или продать.

— Верно, — Варыгин явно удивился такой пронцательности. Или осведомленности? — Вы это знали? — спросил он.

— Нет, — ответил Сахнин, — просто очень скуден набор всего, что извлекают из своих должностей слуги народа. Сгнила напрочь наша империя, до омерзения протухла, это я тебя понимаю. Только не в этом дело, Толя. Мы ведь все равно — несокрушимая система. И как раз, мой милый Толя, по причине нашей гнилости и рабства полного. Преданности. Патриотизма. Как хочешь, так и называй.

— Слово это не люблю теперь, — поморщился Варыгин. — Только что же из того, что сгнила, но несокрушима наша империя, Борис Матвеевич? Вроде вы в этом оправдание себе и мне находите? Или утешение?

— И то, и другое, — подтвердил Сахнин, одобрительно глянув на понятливого младшего коллегу. — Такой путь у России выдался, судьба такая.

— Вот и батя мой так считает, только в своей системе координат, — перебил Варыгин.

— Что же считает твой батя? — Сахнин с явным облегчением дал себя перебить.

— Что Россия распята, как Христос, чтобы своими муками вразумить человечество, — ответил Варыгин.

— Так, да не так, — Сахнин чуть покривился. — Я о другом. Однако глубоко твой батя свои идеи оформляет.

— У него про все на свете своя концепция есть, — сказал Варыгин.

— Ладно, поедем дальше, — Сахнин запнулся, по-

дыскивая точные слова. — И вот мы с тобой, Толя, хотим мы или не хотим, а живем в этом времени. Я твои терзания понимаю, только верю, что это болезнь и что она пройдет. А с теми, кто хочет ее снова хирургией лечить, я с ними не согласен. Тяжело больного надо постепенно исцелять. А ну как мы отпустим повода? Столько гнева накопилось, Толя, злобы столько, обид всяких, счетов и расчетов — снова Россия кровью залыется. Я за постепенность, кривая к лучшему ползет, время само перемены вносит.

— Вы или боитесь меня и не доверяете, Борис Матвеевич, — холодно сказал Варыгин, — или сами себя уговорили.

Сахнин засмеялся и хотел что-то возразить, но Варыгин перебить себя не дал.

— А всего правдоподобней, — жестко сказал он, — что вы, уж извините меня, если угадал, хотели мне сказать, что таков народ сейчас, запуганное и слепое быдло, но вам неудобно, потому что тихо подумаю, что вы еврей, дескать, вот на русский народ и сваливаете. Если вы полагаете, что в этом все дело, то я с вами согласен, Россия действительно свою лучшую породу извела под корень. Тоже моего отца главная мысль. Клячу можно сделать из любой лошади. Значит, так теперь и жить, как животные? А мы же все для Нюрнбергского трибунала годимся. Ведь фашизм у нас, Борис Матвеевич. Только...

— Только тлеющий, — спокойно подсказал Сахнин. — И всегда готовый вспыхнуть.

— Да, я именно об этом, — согласился Варыгин.

Сахнин остановился и резко повернулся к нему.

— Знаешь, Толя, — сказал он холодно и без улыбки, — ты сейчас со мной кривляешься и ханжишь. Если все это тебя действительно волнует, начни с себя. Плюнь на свое жалование уютное, не пекись о максимальной пенсии, ступай в истопники или лифтеры, как это делают разные кандидаты наук, чтоб очистить свою совесть и быть непричастными. Настоящие интеллигенты, они не других обвиняют, а собственным очищением занимаются. А с жалобами своими ты скоро знаешь, до чего дойдешь? Как это в пятидесятых годах шутили — мы, мол, не те хитрованы-пройдохи, что отсиделись в лагерях, пока остальные мучились под культом личности. Ведь сейчас террора нет, торжествует первый закон биологии, слышал о нем? Очень простой: всякая

тварь жить хочет. Вот и живут. И большинство, между прочим, счастливо. Кто по глупости, кто по темноте, кто от иллюзий, а кто благодаря собственной изворотливости. Все крутиться научились, чтобы выжить в лагере нашем. А отдельные, кто ноет, их на зонах раньше знаешь, как звали? Жопа. Ждущий освобождения по амнистии. Лагерь есть лагерь, ждать чудес тут нечего. Я про империю не хуже тебя понимаю, но на крест иди. Не за кого. За что боролись, на то и напоролись. Сверху ты, что ли, реформ хочешь? Чисто рабская мечта. Им ведь только власть нужна, и чтобы все мы вкалывали на полный износ. А весь народ им отвечает молчаливым саботажем: каждый увиливает как может от настоящего труда или туфтит. И замечательное выходит всеобщее равновесие. А когда это всем — всем, Толя! — станет неважно, противно и тошно, тогда жизнь начнет меняться потихоньку. А пока надо сидеть и посапывать в две дырочки, да из чисто мужской гордости не канючить. Или собственную судьбу решать, а не глобально о стране тревожиться, пустые слова слюнявя. Не обижайся. Я не хуже тебя все вижу. Но на прямую подлость или мерзость не пойду, и работа моя мне не постыдна.

— А заставят если? Времена вдруг станут круче? — спросил Варыгин, хмуро выслушав Сахнина.

— Не заставят, — сказал Сахнин. — Откажусь, уйду в отставку, скажусь больным, вариантов много.

— Не будет вариантов, — уныло протянул Варыгин.

— Тебя что, уже впрягли во что-нибудь? — участливо и быстро спросил Сахнин.

— Нет, не впрягли. Честное слово, нет. Молчать очень тяжело. Такие факты узнаешь и молчишь в тряпочку. Хоть прямо на вражеское радио тайком пиши. Честное слово, хочется.

Сахнин вдруг широко улыбнулся и положил руку на плечо Варыгина.

— Толя, — сказал он, продолжая улыбаться, — поверь мне: что написано пером, то горохом об стенку. Свои какие-то законы есть у истории, и ничего нам изменить в ней не дано. Только голову легко расшибить. Все мы в одинаковом живем рабстве, в одной тюрьме. И одной порукой связаны. И все вместе виноваты во всем. Ленин чисто уголовную систему создал. Оттого в ней Сталин так и расцвел со своей бандой. Так что пра-

вят паханы, а мы при них. Именно мы тут инженеры человеческих душ, Толя, а писатели в шестерках у нас ходят, в порученцах. Только ты вот прозрел и мучаешься, чувствуешь себя среди коллег как политический среди уголовников. Ведь правда же?

— Правда, конечно, — пробурчал Варыгин, приятно чувствуя на плече руку уважаемого им человека. — Я столько знаю о борьбе наших мафий, моей питерской и вашей московской, — страшно сказать, Борис Матвеевич. А ведь другие едят...

— Про наше время на блатной фене писать надо, — задумчиво произнес Сахнин. — Как это, чья-то шутка была? По Нидерландам пронеслась параша, что герцога Альбу дернули в Мадрид с вещами.

— Когда же это все повернулось? — уныло спросил сам себя Варыгин, шутке даже из вежливости не улыбнувшись. — Где свихнулось? На Сталине или еще раньше?

— Ты еще до Карла Маркса дойди, — хмыкнул Сахнин пренебрежительно. — И до его жены Фриды Энгельс, она же Роза Люксембург, в девичестве Клара Цеткин.

— Нет, серьезно, Борис Матвеевич? Как это все случилось? Ведь все хотели как лучше.

— Конечно, хотели. Вполне искренне. — Сахнин убрал руку с плеча Варыгина. — Только это проще пареной репы, Толя. Случился обычный колониальный вариант развития. Неужели это тебе самому в голову не приходило?

Варыгин так вывернул шею, слушая Сахнина, что опять шел чуть боком.

— Россия много веков колонией была. Типичнейшая колония, захваченная верхушкой населения. Они ее родной ощущали — и то не все, кстати, — а грабили, как колонию. Неслучайно ведь и управляющих сплошь и рядом из немцев набирали. Посмотри под этим углом, и все тебе ясно станет. Выжимали, выдавливали, высасывали. А когда действительно патриоты России за дело взялись — типа Столыпина, то уже поздно было. Восстало туземное население. А что делают туземцы прежде всего? Вырезают чуждую прослойку. Вот они всех и вырезали. Под корень. Железной метлой вымели. Аристократов, дворян, интеллигенцию, специалистов всех мастей, духовенство...

— Но уж священники — люди чисто русского духа были, — неуверенно сказал Варыгин.

— Ничего подобного! — Сахнину изменила его всегдашняя выдержка, он увлекся, и теперь оба они почти бежали, потому что именно такой шаг соответствовал разгоряченности обоих. — Ничего подобного! Ты танцуй от психологии, Толя, от чувства. Это ведь все брехня, что российский народ искони православным был и к Богу привержен. Он обряды соблюдал, вот и все, что он делал. Кстати, я у Чаадаева, кажется, нашел мысль замечательную: соблюдение обрядов — это просто упражнение в покорности.

— Здорово, — откликнулся Варыгин.

— А по духу — все чужое насадили в России. Оттого и крушили потом с таким остервенением. Оттого и клич ленинский «грабь награбленное» на такую благодатную почву упал, что взошел разбоем повальным. А это ведь лавина в горах, цепная реакция — когда разбой в политику возведен. Вот и получилось то, что получилось. Так что слишком ты на Ленина или на Сталина не спихивай. Они оба хороши. Сталин идеи Ленина только до предела довел. А туземцы были счастливы разрушить все, что их раздражало. Обидную я модель тебе, Толя, представил, но обрати внимание, что она во всех освободившихся странах работает. Словно безумеют люди и слепнут. Ярость, азарт, надрыв. А когда опоминаются, то поздно. Новая нечисть захватила уже власть, и еще страшнее старой, потому что темная и невежественная. И хищная до невероятия. И такие же наверх тянутся. Система такая получается — с лифтом для мерзавцев и бездарей.

Варыгин вдруг усмехнулся невесело.

— Что мы с тобой несем, Борис Матвеевич! — сказал он.

— Ты сам об этом просил, — остывшим голосом ответил Сахнин, остро глянув на собеседника и сразу отведя глаза.

— Ты опаслив, как ежик, — сказал Варыгин. — Я о другом вовсе. Я о том, что два здоровых и неглупых мужика все понимают — ну, ты ясней, конечно, — и ничего не могут сделать.

— А кто что может? — протянул Сахнин. — Всегдашние два русских вопроса: кто виноват и что делать. Никто, выходит, не виноват, потому что все виноваты, и ничего, выходит, не поделаешь. Время вытянет.

— А если нет? — быстро спросил Варыгин.

— А если нет, то будет гнить болото, — холодно сказал Сахнин. — Только не бывает такое до бесконечности. Если мы уже сегодня с тобой так разговариваем, то лет через десять все подряд того же мнения будут. А там, глядишь, и самый воздух переменится. Тогда и просветлеет немного. Только очень-очень постепенно это будет. Мы с тобой не доживем, и дети вряд ли.

Варыгин тяжело молчал, обдумывая что-то.

— Знаешь, Толя, я где-то притчу прочитал, — вспомнил Сахнин. — В клетке сидят вместе люди и обезьяны. Люди хотят, естественно, вырваться, но ключ от клетки находится у обезьян. Люди хитрее, находчивее, умнее, они добыли бы тот ключ, нашли бы способ отнять, но одна загвоздка есть волшебная в этой задаче: каждый, кто прикоснется к ключу, сам становится обезьяной. Вот и реши проблему.

— Ах ты, здорово, — по-мальчишески восхитился Варыгин. — Здорово! Значит, надежда только на то, что какая-нибудь из обезьян сама это сделает, прозрев или по наущению. Правда же?

— Как Никита Хрущев... — то ли согласился, то ли начал и оборвал себя Сахнин.

— Скинули бедолагу раньше времени, — подтвердил Варыгин. — А если вдруг опять появится такой же? Ведь не исключено, что прорастет и прорвется?

— Толя! — Сахнин скривился так, что Варыгин присмирел, как ляпнувший глупость школьник. — Ну, прорастет — и что? Это будет ведь такой же чиновник. Он же не изменит систему, а контора наша — разве что окрепнет и вырастет. Он же устройство страны не переменит. Не осмелится: сожрут с потрохами моментально. Миллионы людей в этой системе кормятся, они глотку за нее перегрызут.

Оба секунду помолчали.

— Ну, придет, — тускло сказал Сахнин, — новый хозяин. Что он прежде всего власти хочет, это мы за скобки вынесем. Пусть он еще хочет и добра. А только на осине апельсины не рождаются. Он ведь только такие перемены осилит, чтобы хозяйствовать сподручней было. Вот и весь тебе чиновный Ренессанс.

Варыгин хотел возразить, но Сахнин перебил его.

— Извини, еще одно забыл. Это ведь и работягам не нужно. Им, похоже, ничего уже не надо. Вкалывать по-западному им наверняка не хочется. Вроде как у же

и не по силам. Хочется, чтоб их не трогали и цены не росли. Устало очень население, Толя, очень все устали от этой жизни. Парень только вкалывать начал, а уже вроде надорвался. В воздухе уже гниение, в самом воздухе. Протухла система. Вот и держится она на нас. Мы как обручи сейчас на этой бочке. И без нас она взорвется с грохотом. А вони будет!..

— Что-то ты себе противоречишь, Борис Матвеевич, — хмуро возразил Варыгин. — То ты только об усталости всеобщей и апатии, а то — взорвется...

— Злобы очень много накопилось, — терпеливо пояснил Сахнин. — Ты про распри национальные не забудь. Все ведь без идей сейчас живут, а пустоты душа не терпит, ей национальная идея — лучшая начинка, чтобы вспыхнуть. И какая кровавая свалка пойдет! Одни русские, Толя, чего стоят, ведь они-то хуже всех живут и убоже, а гордыней тешатся, что кормят всех. А как их ненавидят в республиках! Ты не обижайся, сам ведь знаешь.

Варыгин пожал плечами.

— А на евреев сколько злобы накопилось, — добавил Сахнин. И усмехнулся: — Так что, в случае чего, мы рядышком с тобой пойдем.

— Мне отец рассказывал, — медленно протянул Варыгин, словно вслушиваясь, годится ли история к их разговору. — В лагере он как-то в карцере с Мехтевым неким сидел, азербайджанцем, того проездом в карцере держали, везли куда-то.

— И твой сидел? — живо спросил Сахнин.

Они переглянулись и оба одновременно подумали, что с этого, возможно, им и следовало начать разговор.

— Тоже, кстати, полковник был этот Мехтеев. Герой Советского Союза, молодой совсем, воевал здорово, — Варыгин заговорил быстрее — годилась история. — И не помню, за что он сел, вроде что-то неодобрительное сказал о ком-то повыше. Не суть важно. Попал на северную стройку. Далеко за Воркутой дорогу клали в тундре, всем — гибель очевидная. Вот он и собрал своих дружков, кто воевал. Давайте, говорит, все равно ведь помирать, так хоть поляжем как мужчины и солдаты. Согласились. Там охрана ихняя в субботу в баню приходила, прямо в зону. Человек по десять, вроде так. Вот они их голыми и взяли. Повязали, кляпы в рот, переделались. Пошли на вахту. Там Мехтеев начальника смены то ли на нож взял, то ли

под дуло, пошли они по вышкам, сняли часовых и на своих сменили. Построили весь лагерь на плацу, созвали всех как на поверку. Тысяч пять там было, небольшой по тем временам лагерь.

— Как-то мне на Колыме один большой партийный начальник сказал в обкоме, — Сахнин то ли улыбался, то ли кривил губы, — что, мол, были времена большие и настоящие: в Магадане ежедневно четыре миллиона зеков на работу выходили в рудники.

— Тосковал, небось? — ощерился Варыгин.

— Черт его поймет, прости, что перебил.

— Словом, построил он их и выступил. Я, говорит, полковник Мехтеев, Герой Советского Союза. Мы с друзьями повязали всю охрану. Вы свободны. Только всюду тундра и зима. Кто уйдет, погибнет все равно. А в соседних лагерях — наши братья. Там же мы добудем и оружие. Как дойдем до Воркуты, захватим город, будем требовать кого-нибудь из правительства. Обещать вам ничего не могу. Кто согласен погибнуть как мужчина — шаг вперед. И как ты думаешь, Борис Матвеевич, сколько вышло? Зная, что здесь подохнут через месяц? В строю пять тысяч стояло. Сколько вышло?

— Человек сто, — не задумываясь ответил Сахнин.

Варыгин с уважением посмотрел на него.

— Как же тебе трудно жить, людей так понимая, — сказал он. — Сто двадцать. Остальные аж под нары забивались, их оттуда сапогами выковыривали, чтоб устыдить.

— Чем кончилось? — без интереса спросил Сахнин.

Варыгин сморщился, как от внезапной боли:

— Кончилось, как и должно было. Они успели лагерь по соседству освободить, а потом их с воздуха вертолетами достали. Кого скосили пулями там же, большинство опять по лагерям рассовали. Я ведь не об этом, я о числе вышедших, как ты догадался. А ты говоришь — взорвется.

— Я понял, — оживленно сказал Сахнин. — Только времена другие теперь, Толя. Станный парадокс в нас Богом заложен: чем меньше человека гнешь и давишь, тем он больше хочет распрямиться. Во всех смыслах. А сейчас давление не то и страх не тот, сейчас на все пойдут. Только к фашизму побыстрее, чем к свободе.

— Батя мой и тут концепцию имеет, — сказал Варыгин. — В войну, говорит, мы немцев раздолбали, по-

сле усатый сдох и его мы тоже прокляли, а в душах наших и в умах — победили Гитлер и Сталин. Вроде как бы радиацией своей они нас облучили, а это надолго и по наследству передается. Интересно, правда?

— И похоже, — угрюмо отозвался Сахнин. — Мудрец твой батя.

Оба замолчали ненадолго.

— А есть все же люди, надежду не потерявшие, — задумчиво сказал Варыгин. — Или просто из упрямства. Мне отец рассказывал с месяц назад, что к нему один ваш москвич приезжал, Рубин вроде по фамилии, пишет книгу о лагерях, ездит по выжившим из ума старикам. Странно было для меня, седого полковника, — зависть я к нему почувствовал. Настоящей жизнью человек живет, не раздвоенной, ты меня понимаешь.

— К нам попадет рано или поздно, — отозвался Сахнин. — Да и зачем старые раны беречь? Никому это уже не интересно. Надо о завтрашнем думать, вперед смотреть. Рубин, говоришь? У моих знакомых есть племянник с такой фамилией. Вялый литератор какой-то. Хотя вряд ли это он. Знаешь, чем наши писатели отличаются от Льва Толстого?

Сахнин подождал секунду и заторопился, сообразив, что коллега его вряд ли читал Толстого «Не могу молчать». И удивился, когда Варыгин полувопросительно ответил:

— Уж не тем ли, что они молчать — могут?

— А ты не так прост, как кажешься, — одобрил Сахнин.

— Отец у меня Толстого непрерывно читает, — объяснил Варыгин, словно оправдываясь. — Этого Рубина по нашим бы старикам поводить, кто уже на пенсии.

— Из наших много не выжмешь, — хмыкнул Сахнин. — Научились держать язык за зубами. Как и вся страна, впрочем. Я поэтому и думаю, что такие книги ни к чему. Если бы люди помнить хотели, то не умер бы самиздат о лагерях тех лет. А он своей смертью умер, естественной, наши мало к нему руку приложили.

— На меня не вышли, жалко, — вдруг твердо сказал Варыгин.

— Кто? — не понял Сахнин.

— Да вот эти, кто о лагерях писал и о нашей славной конторе. Я бы счастлив был помочь им при случае, — буднично, как о давно обдуманном, пояснил Варыгин и по-мальчишески застенчиво улыбнулся.

— Увольняться тебе надо, Толя, ты докатишься с такими настроениями, — заботливо посоветовал Сахнин. — Неразумно ты заговорил, не по возрасту. Если не о себе, то о семье подумай.

— Я о сыне как раз и думаю, — мрачно ответил Варыгин. — Я хочу, чтоб он мне другом был, а не стыдился за отца.

И они заговорили о детях — сбивчиво, с обидой и недоумением. Тут беседа их стала напоминать все на свете разговоры отцов о детях, ибо расхождение это извечно и повсеместно, а следовательно, — Богом предусмотрено.

— Так что слишком ты не угрызайся, Толя, — сказал Сахнин при расставании, — на самом деле нужна России наша служба. Любой взрыв опять ее назад сбросит, а России взрывы не на пользу, как ты легко заметишь. Оберегать ее нам надо от крупной смуты, а там сама оправится с годами.

— А пока что призовут и... — договаривать Варыгин не стал, и они молча улыбнулись друг другу, обмениваясь рукопожатием у входа в метро.

* * *

Рубин сидел в гостях, досадуя, что соблазнился и пришел: два часа дня — самое время торчать в библиотеке или дома за столом. Давняя приятельница Марина позвонила, что придут к ней двое стариков — ты как раз таких разыскиваешь, Илья. И Рубин нехотя поплелся. Появилось у него недавно ощущение, что ничего нового он уже не услышит, а конкретно о Бруни — наверняка.

Разговор шел за столом — первоначальный и несвязный.

— Юлия Сергеевна, — попросила хозяйка, — расскажите, пожалуйста, Илье про ваш подвиг со вдовой Грина, такое счастье — слушать, как справедливость побеждает.

— Пожалуйста, — пожилая женщина с короткой седой стрижкой вежливо повернула к Рубину свое мягкое лицо с неожиданно твердым и решительным подбородком. Педагог, подумал Рубин. Учительница. И, как всегда, ошибся. Сухая, собранная и жестковатая старушка оказалась ботаником, физиологом растений. А как читатель — обожала Александра Грина. Это и сблизило

ее некогда со вдовой писателя, жившей в Старом Крыму, где умер этот странный романтик. Рубин вспомнил его предсмертные слова, которые где-то довелось прочитать. Когда за три дня до смерти — для последней исповеди и причастия — к Грину пришел священник, он в конце спросил умирающего: всем ли тот простил, не питает ли к кому-нибудь вражды? И Грин его немедля поняв, легко ответил.

— Батюшка, вы имеете в виду большевиков? Поверьте, я к ним совершенно равнодушен.

Его вдова после войны попала в лагерь, ибо при немцах пошла работать в типографию — надо было прокормить больную мать, находившуюся в тихом старческом безумии. А когда вернулась, пережив псчорский холод и астраханский зной, то обнаружила, что ветхий домик их — теперь сарай для дров первого секретаря горкома партии. И беззащитная женщина принялась за этот домик воевать. В основном, из-за любви к покойному мужу. А всесильный секретарь, чтобы не отдавать сарай, сообщил суду и населению города (секретарша распечатала материал на машинке) такие факты: Нина Николаевна Грин женой писателя вовсе не является, она бросила умирающего мужа еще за два года до его смерти. А в войну переливала кровь русских младенцев раненым немецким офицерам. Гарцевала всю войну в черной атласной амазонке на лошади, ей за это подаренной.

А сарая добивается сейчас — для организации шпионской явки, одновременно центра антисоветской агитации.

Самое, пожалуй, страшное в этой бредовой лжи, что приняли ее как юридический документ (первый секретарь горкома партии), и домик свой вдова Грина отвоевывала несколько лет. Но победила! И устроила музей. Открытый всем, кто любит Грина.

— И вот, когда она умерла, — продолжала Юлия Сергеевна, — то нам ее не разрешили похоронить в могиле мужа. Всплыла старая клевета. Мы три дня мотались по разному начальству. Представляете себе — три дня в крымской жаре непохороненный покойник? И ничего не добились. Закопали мы ее отдельно от Грина, уныло разъехались. Осенью я думаю: что же это такое? Почему мы это допустили? Поделилась своей идеей с тремя молодыми приятелями, которые тоже к Нине Николаевне часто ездили, — они сразу

согласились. Позвали знакомого юриста, он говорит: большой срок могут вам дать за осквернение могилы, если застнут, когда вы раскапывать будете. А нас уже поздно останавливать. Приехали ночью. Пошли на кладбище. Дождик легкий. Часа два ребята раскапывали могилу. И вот здесь — вы знаете, Илья, непременно сам Александр Степанович взялся нам режиссировать: луна взошла, сухо, потеплело, настоящая южная благодать. Отнесли гроб к могиле Грина, там его теща уже давно была похоронена; ребята копать стали, а я домой ушла, устала очень. Они счастливые пришли, у них лица светились, не передать такое, и не высказать, это у Гомера победители так выглядели. Но и тут еще не все. Главная мистика впереди.

Старушка светилась от удовольствия, все это вспоминая. Она отхлебнула чай, вздохнула глубоко и намурилась.

— Один из ребят это все в дневник записал, как-никак событие, я его понимаю и не сужу. Мы-то, остальные, ликовали втихомолку. А у парня — обыск спустя год, он самиздатом очень усердно занимался. И, конечно, дневник его следователи прочли. Слушайте, что сделали эти подонки, уж не знаю, кто там распоряжался. Оцепили кладбище солдатами и раскопали обе могилы снова. Им осквернять могилы можно. Ну, в могиле Нины Николаевны — ясно, что гроба нет. Однако нет его и в могиле Грина! Каково?

Старушка так победно, гордо и заносчиво сверкнула на Рубина глазами, словно в эти часы лично прятала гроб подруги от поругания. Рубин хмыкнул, чтобы поддержать рассказ.

— Там лежали они так: справа — Александр Степанович, слева — ее мать, а в середине место оставалось, туда я мальчишек и попросила гроб зарыть. А они будто предвидели, что даже в могиле у Грина обыск будет — вырыли яму поглубже, и гроб Нины Николаевны поместили под гробом Грина. Вот потому эти скоты и не нашли. Даже после смерти, как видите, эта семья творит легенды. Такие по Крыму слухи поползли, вы себе представить не можете!

— Но это и вправду подвиг, — сказал Рубин. — Знаете, так затаскали фразу, что всегда есть в жизни место подвигам, что ее повторять неудобно. А ведь есть.

— Только чем оборачивается, — хмуро возразил

молчавший до сих пор длиннолицый лысый старик, с наслаждением пивший водку и непрерывно куривший. Он улыбался всем, кто взглядывал на него, и Рубин, зная, что хозяйка дома не случайно позвала его сегодня, ждал с нетерпением, чтобы старик заговорил.

— Вы о чем? — спросил Рубин.

— О подвиге, — ответил старик. — Я, знаете ли, как-то с Бусыгиным общался, знаменитым кузнецом-стахановцем из Горького. Вот он мне и рассказал. Бусыгин на съезде передовиков отказался произносить речь, которую на бумажке ему подсунули. Не буду, говорит, пустую трескотню разводить, у нас в городе рабочим жрать нечего, живут в тесноте и грязи, и никто слова пикнуть не смеет, а кто осмелится — исчезает. Устроители съезда так перепугались, что самого Орджоникидзе к нему привели, и Бусыгин лично это наркомун выложил. Тот говорит: знаете что, товарищ Бусыгин, пойдете-ка вместе к Иосифу Виссарионовичу, там они уже собрались все за сценой. И пошли. Сталин там сидит, Каганович, вся их шайка. Сталин трубочкой пыхнул, улыбнулся в усы — излагайте, говорит, товарищ Бусыгин, мы слушаем, нам всего нужнее правда. А Бусыгин возьми и выскажи ему про свой родной Нижний Новгород, как живет хозяин страны, победивший пролетарий, — как последняя собака при плохом хозяине. Сталин слушает, у всей шайки лица грозные и хмурые, но молчат, сигнала ждут, чтоб растерзать. А усатый улыбнулся так лучезарно и говорит: огромное вам спасибо, товарищ Бусыгин, это вы и расскажите с трибуны. Тот и рассказал. Возвращается в свой Нижний, а там уже в тюрьму посажена вся верхушка города и завода. Разве того он хотел? Новые на их местах сидят — от страха и усердия давят еще пуще, — никаких перемен. Главное же — косятся все на кузнеца: столько людей посадил, большинство и ни при чем были. Представляете себе, как ему жилось? Вот и совершил человек подвиг.

Все за столом молчали — словно дохнуло на них воздухом той канувшей эпохи.

— Уже мифические это какие-то люди, — сказала Марина — просто, чтобы что-нибудь сказать.

— Э, от этих мифов до сих пор сюда дыхание тянется, — откликнулся старик.

Юлия Сергеевна оживилась:

— Миф о вине евреев во всем этом, — горячо ска-

зала она, — среди интеллигенции стал широко распространяться.

— Интеллигент не может быть антисемитом, — впервые вмешался в разговор коллега Марины, человек не очень симпатичный. На лице его было ясно написано, что знаем обо всем, а понимаем еще больше. — Интеллигент — это прежде всего нравственное чувство и нравственные поиски, — надменно добавил он.

Старушка коротко взглянула на него, и что-то еле уловимо мелькнуло в ее глазах. Не хотел бы я, чтобы она так глянула когда-нибудь на меня, подумал Рубин.

— Архитекторы, врачи, музыканты, литераторы, ученые, все там были, — жестко сказала Юлия Сергеевна сослуживцу Марины, не обращаясь лично к нему, просто перечисляя профессии.

— Где «там»? — не понял Рубин.

А где именно, старушка не знала. Она слышала только от приятельницы пересказ выступлений: где-то собирались ревнители памятников старины, все разрушения двадцатых и тридцатых дружно сваливая на разговор евреев.

— Жалко, что меня туда не пригласили, — вдруг сказал лысый старик, опять куривший. (Прослушал, как его зовут, досадливо ругнул себя Рубин). — Я бы им такую историю рассказал о еврейской сплоченности — пальчики оближешь.

— Расскажите нам, Борис Наумович, — Марина погладила длинную костлявую кисть старика. — Я ведь предупреждала вас, что попрошу рассказывать, Илье это и вправду очень нужно. Вы про лагерь?

— Что-то я ничего кроме лагеря вроде и не знаю, — засмеялся Борис Наумович. — Все мои истории — про него. И все мысли оттуда. Что ни услышу — ассоциация с лагерем. Или с поселением. Хотя сидел-то, в сущности, немного.

— Сколько? — буднично спросил Рубин.

— Четырнадцать в итоге, другие много больше тянули, — добродушно ответил ему старик. — Только вы меня, боюсь, напрасно станете допытывать, я круг ваших вопросов знаю от Марины, я вам как бы даже вреден буду, уж извините.

— Такое впервые слышу, — Рубин уже весь был обращен к собеседнику, даже чуть перегибался через стол. — Вреден?

— Видите ли, — старик повел глазами по столу,

словно отыскивая там ответ. — Знаете, есть люди, для которых коньяк пахнет клопами. А для меня — клопы напоминают о коньяке. У меня от лагеря остались воспоминания — не скажу, что радужные, но благодарные, что ли. Это было совсем не пустое время. Человеком я стал именно там. Хотя именно там легче всего перестать им быть, извините за неловкость фразы, я не литератор.

— А кто вы по профессии, Борис Наумович? — спросила Марина. — Я ведь уже сколько лет вас люблю, а так и не знаю, кто вы были до пенсии.

Старик засмеялся так хрипло и громко, что Рубин ощутил радость охотника, вышедшего на долгожданный след.

— Я, Мариночка, всю жизнь вождей рисовал, так что художником меня назвать нельзя. И афиши для кино. А в лагере — там я чего только не писал! Картину «Последний день Помпеи» знаете, конечно?

Рубин, к которому был обращен вопрос, кивнул головой.

— Моя работа! — гордо заявил старик.

— Извините, Борис Наумович, я в живописи не силен, только автор «Помпеи» — Брюллов, вроде бы, — сказал Рубин.

— Да! — воскликнул старик. — Да! В музее которая висит — Брюллов, а в лагерьной столовой на Воркуте — я!

За столом все дружно рассмеялись.

— И моя в полтора раза больше, — горделиво добавил Борис Наумович. — Потому что я под нее четыре месяца себе выторговал. Пока осматривался в лагере.

— Вы все годы на Воркуте провели? — спросил Рубин, колеблясь, не спугнет ли рассказчика, если достанет записную книжку.

— Нет, я прилично покочевал, — у старика исчезли в глазах насмешливые искры. — Я даже в Марфине был, в шарашке под Москвой. Там тоже много всякого рисовал.

— А для чего в шарашке художник? — спросил Маринин сослуживец. — Там ведь делом занимались?

— Откуда она его взяла? — подумал Рубин. — Ведь насквозь же виден человек. Или уже привыкла и не слышит?

— О, там я очень большие работы делал, — старик

снова оживился. — Заказы у меня были крупные. Например, приносят холсты — уже натянутые на подрамник. А с ними список: Левитана — три копии, Поленова — три, Куинджи — четыре. И — названия картин. С репродукций я их писал. Исполнение требовалось мастерское. Меня оттого и дернули из лагеря, что я к тому времени себя как отличный копиист зарекомендовал.

— Не подделок от вас требовали? Холсты не старые были? — быстро спросил Рубин.

— Нет! — ответил старик, — откровенные копии. Только хорошего качества. Я сам спрашивал, для чего, а мне говорят: делай и не лезь не в свое дело. Я объясняю: давайте я и рамы тогда сделаю, у меня же больше вкуса. Мне холсты штатский привозил, но сдается, что он чин имел. А образование техническое, это он как-то сам сказал. Потом уже, когда привык. Чай приносил, сахар, даже как-то письмо для жены взял, только очень боялся. А про картины объяснил: это мы дарим иностранным гостям столицы. В посольствах они вешают, в домах своих, в гостиницах эти картины висеть будут, так что не посрамите Россию, Борис Наумович, вашу как-никак родину. А уж рамы подберем мы сами, не беспокойтесь, есть у нас сотрудники со вкусом. Что, не догадались еще?

— Нет, — растерянно ответила за всех Юлия Сергеевна и беспомощно посмотрела на остальных.

— Эти мои точные копии для отвода глаз были, — снисходительно пояснил старик. — А в рамы они микрофоны засобачивали, свою аппаратуру, чтобы подслушивать. Я бы тоже не догадался, это мне потом уже наш куратор шепнул. А второй художник со мной там был — Кирилл Зданевич, из Грузии.

— Тот, который собирал картины Пиросманишвили в двадцатых? — изумленно спросил Рубин. Уже год, как он ходил по старикам, но заново каждый раз искренне удивлялся, когда всплывала в лагерях знакомая, чем-нибудь известная фамилия. А происходило это так часто, словно в истории России вечно присутствовала эта мясорубка, и вся страна раньше или позже, но протиснулась сквозь ее стальное сито.

— Он самый, — Борис Наумович закивал головой так радостно и удовлетворенно, словно мимолетное прикосновение к имени Пиросманишвили и ему делало честь и всем присутствующим. Теперь уж Рубин просто

не мог не вытащить записную книжку. За несколько минут он украдкой — одно-два слова — внес туда все, что услышал сегодня, и приятное испытал чувство уверенности: ничего не пропадет, и не надо будет мучиться утром, вспоминая. Даже выпить теперь можно спокойно. И налил себе, выпил, закурил и продолжал слушать. Старик повествовал со вкусом и удовольствием.

— Умирал я, собственно говоря, два раза в лагере. Сперва в сорок втором, тогда я, в сущности, уже умер.

Старик поймал изумленный взгляд Марины и молодецки расправил пушистые седые усы, делавшие его похожим на кота из кукольного театра.

— Да, правда-правда. Доходил-доходил и умер. Ноги у меня распухли тогда, две колоды неподъемные стали, еле волочил их. Уже с работ меня общих сняли и перевели в барак для доходяг. Огромный такой сарай, нар на всех не хватало, мы где попало валялись. Прямо посреди сарая — костер небольшой, возле него сидели доходяги из уголовных — и такие тогда были — в карты резались днем и ночью. В основном игра шла на одежду тех, кто уже умер. Интересные, между прочим, уголовники были. С политическими статьяями. Да-да. Когда Берия сменил Ежова, то сперва на послабление пошло. Отпустили кое-кого, брали меньше, это старики хорошо помнят. А из лагерей, видать, начальство рабочую силу запросило: работать некому. И загребли тогда массу ворья всякого. Не на кражах их ловили, а брали уже известных, кто раньше сидел, кто на учете был, и лепили им статьи политические: социально-опасный элемент и социально-вредный элемент. Чтобы лагерь пополнить. Урки, между прочим, так обиделись, что эти аресты так и называли: бессовестный набор.

Рубин засмеялся, и старик замолчал, с одобрением глядя на него. Рубин разлил вино и водку, все молча подняли свои рюмки в сторону Бориса Наумовича. Тот поигрывал по столу пальцами, ожидая возможности продолжать.

— А в конце барака была стенка хилая, скорей перегородка, но с дверью. Туда оттаскивали умерших. Каждый день нас пересчитывали очень тщательно, потому что все мы норовили за умершего соседа его пайку получить; иногда удавалось. Там уже замерзшие лежали трупы, туда тепло не доходило. А в бараке можно было выжить, хоть наша рвань бушлатная к доскам нар и примерзала по утрам, но ничего. Вот тут я и

умер. Перетащили меня за перегородку, а я возьми и приди в себя. От холода, во-первых, а во-вторых, от запаха хлорки, там ее как раз насыпала какая-то падла из санчасти. То есть, мой благодетель, сказать точнее. Возвратился я к жизни, а лежу голый уже — наверняка, думаю, ребята у костра мои тряпки в карты разыгрывают. Так и есть. Они мне даже не очень удивились, только спор поднялся шумный: имею я право взять карту и попытаться что-нибудь отыграть, или нет. Потому что, с одной стороны, игра уже идет, а с другой — мои же шмутки разыгрывают. Победила справедливость, дали мне карту. А тут и фарт пошел: отыграл я свой бушлат обратно, а штаны мой друг мне отыграл. Тут начал я в себя вдруг приходить — от хлорки или от форта, но только через две недели ушел своим ходом из барака доходяг; взяли меня в санчасть временно, а там за три месяца совсем оклемался. Тут вернулся со штрафной командировки мужик, которого я в санчасти подменял, меня погнажи, и стал я снова доходить.

— Борис Наумович, вы ведь обещали что-то про еврейскую сплоченность рассказать, — Марине, кажется, стало плохо от ровного и веселого тона старика. Борис Наумович бодро шевельнул седыми усами.

— К ней подхожу, слушайте внимательно, ребята. Плетусь я по зоне, еле ноги переставляю. Встречаю Полякова Эмиля Яковлевича, он бытовик был, проворовался где-то, в лагере человек влиятельный, начальник хлебопекарни. Доходишь, говорит, Борис? Дохожу, отвечаю, Эмиль Яковлевич. Ты, спрашивает он, еврей или полукровка? Что это вы мне расистские вопросы задаете, отвечаю я ему, еврей я чистой воды. Как бриллиант. Все, говорю, мои родственники сорвались из местечка как ошалелые и сделали в России революцию. А я, как видите, расхлебываю ихнюю кашу. Вы, Эмиль Яковлевич, я его спрашиваю, не из общества помощи жертвам революции? А то вот я перед вами — в чистом виде экземпляр. Так красиво я тогда, конечно, не говорил, еле-еле языком ворочал. Повернись-ка, говорит он, Борис, ко мне спиной. Поворачиваюсь. Что-то он на спине моей пишет, подложив фанерку, и дает мне клочок газеты. Неси, говорит, в хлеборезку прямо самому Полещуку, и желаю тебе счастья в цветущей жизни. Я плетусь к Полещуку. Сытая такая харя. С Западной Украины перед войной сюда попал. В хоре пел. Вы меня извините, друзья, я отвлекусь. Это я не от склероза, а

попутно одну историю вспомнил, не пожалеете, что отвлекся. Вы знаете, за что власть не любит интеллигенцию? Не знаете. Или начнете объяснять подробно и длинно. А я знаю точно: за то, что интеллигенция не поет в хоре.

— Прекрасный образ! — похвалил Рубин, не выдержав.

— Это вам образ, а я буквально мыслю, — возразил Борис Наумович, негодуяще сузив зрачки. — В те времена на избирательных участках в день выборов обязательно выступала самодеятельность. И вот помню, как сейчас: война уже кончилась, выборы в какой-то орган идут, а в поселке у вертухаев нет самодеятельности. Начальство к нам: у нас ведь и профессоров навалом, и музыкантов. Оркестр прекрасный был: А хора нет как нет.

— Действительно были хорошие музыканты? — чинно осведомилась Юлия Сергеевна тоном завзятой меломанки.

— Первая труба из оркестра Цфасмана был у нас третьим саксофоном, — надменно ответил Борис Наумович.

— А хор? — нетерпеливо спросил Рубин.

— А в хор интеллигенты не шли, — обрадовался Борис Наумович. — Их и так, и сяк уламывали, карцером грозили, сулили кашу после выступления, а они не шли. И поехал к вертухаям хор из полицаев и проституток. Я там был в этот день, потому что в оркестре играл, так со смеху играть не мог. Полицаи поют: приезжай, товарищ Сталин, посмотри как мы живем, а проститутки подхватывают: примем прямо как родного и погреться поведем. Ладно, я отвлекся, извините, вы подумаете, что это склероз, а я на Полещуке оставился.

Борис Наумович шумно передохнул, отпил глоток водки и продолжил:

— Берет он этот клочок, читает, кидает его в печь и молча отрезает мне полбуханки хлеба вдоль. Это больше, чем три дневные пайки. Прячь, говорит, под бушлат, а завтра приходи в это же время. Выхожу я из хлеборезки, богатство у меня под бушлатом. Жизнь. Я, наверно, целый час стоял, с собой боролся, делиться мне с другом или самому съесть?

Борис Наумович замолчал, и нетактичного вопроса.

ему никто не задал. Он ответил сам, сощурившись от воспоминания.

— В первый день не поделился, не хватило духу. А со следующего дня делил поровну. И так меня кормили ровно месяц. А потом Полещук мне говорит: все, мол, Поляков сказал, что ты и сам теперь выкарабкаешься, завтра не приходи. И правда, выкарабкался. И проходит, представьте себе, некоторое время. Я уже года два как работаю фельдшером, сам кому-нибудь помочь могу, если надо, и вызывают меня к начальнику учетно-распределительной части. Сам-то начальник вольный был, он пил без просыпу, всем за него управлял наш зек Нозман Яков Матвеевич, бывший профессор физики, не помню где. Вот он меня и дернул к себе. Борис, говорит, пришел новый этап, завтра сними с него тридцать человек, вот тебе список, освободи их сразу дня на три, я за это время их раскидаю кого куда, а то если сразу на общие, потом тяжело их вытягивать будет. Смотрю список: одни евреи. Что кавказцы друг другу помогали как могли, я уже знал, нормальным это у нас считалось, привыкли. Прибалты тоже гужевались вместе, как умели. Только русские вразной жили, да еще и доносили друг на друга нещадно. Хуже, чем украинцы, они себя на зоне вели, а уж хуже и придумать трудно. Знаете, как узбеки о казахах говорят? Казахи — люди грязные, грубые, дикие, они даже до революции плохо жили.

— Не отвлекайтесь, — попросил Рубин.

— Не буду, — согласился старик. — Ладно, говорю, Яков Матвеевич, я человекам десяти температуру подниму: мелкой солью им подмышки разотру, никакой контроль туфты не обнаружит. Двоим-троим чернила в глаз капну, распухнут у них глаза, тоже никто не дернется. Пятерым-шестерым компресс из цветов сделаю, опухоль появится, флегмона целая.

— Из каких цветов? — перебил Рубин.

— Из лютиков, — объяснил старик. — От них такие нарывы получают — красота просто. Кислота в них есть какая-то. А еще можно в подушечку большого пальца сделать укол из слюны, разнесет к утру руку — тоже сниму с работы. Но, заявляю ему, на тридцать человек не хватит у меня мастырок, Яков Матвеевич, не смогу так сделать, чтоб не заподозрили, а мне ведь жить надо... Нозман этот весельчак был такой обычно, а тут вдруг...

Старик сузил глаза, и легкий рысый проблеск быстро мелькнул в них.

— Вот так он на меня посмотрел! Лицо каменное, в глазах горит по искре бешеной, просто лампочки Ильича в них зажглись, и говорит: а ты, Борис, четыре года назад от Полякова помощь получал? Теперь отдай. И замолчал. Взял я этот список и все сделал. Вот в какие игры мы играли в Богословлаге.

— Да, история как раз ко времени, — сказала Марина. — Неужели вы осмелитесь опубликовать это, Илья?

— Непременно, — отозвался Рубин, лихорадочно черкая в блокноте. — Знай наших, этим гордиться надо.

— А я в разное время по-разному это вспоминал, — угасшим голосом сказал Борис Наумович. — Вроде бы и разумно, всем ведь не поможешь, всех не спасешь, а кого выбирать... Всяко выбирали, — он замолк.

— Настоящий интеллигент должен помогать всем без разбора, — твердо заявил сослуживец Марины. Она беспомощно и длинно посмотрела на него и отвела взгляд.

— Вот сама пошла голова вспоминать, а еще говорят, что в водке пользы нету. — Борис Наумович постучал себя пальцем по лбу. — Я знаю уникальный случай доноса, нас по нему восемь человек сидело. Помните, я вам рассказывал, Мариночка? И вам, кажется? — обратился он к ее сослуживцу.

Тот ответил за обоих:

— Это очень уж Достоевским пахнет. Все было проще в те годы и объяснялось проще.

Рубин вмешался, боясь, что не услышит историю:

— Кто-то из мудрых людей сказал, что действительность не делится на разум без остатка.

— Неглупо замечено, — похвалил Борис Наумович тоном местечкового гурмана мировой мудрости. — Я вот тоже много в лагере думал: зачем человек, который с нами всеми дружил, взял и написал на нас донос? Бескорыстно совершенно, вот что важно. Это был такой поэт-переводчик, уж не буду называть фамилию, на том свете он теперь. Очень был талантливый, между прочим, человек. Шизофреник немного. Только мы ведь все с приветом. И я подумал: знаете, зачем он это сделал? Из неудержимого интереса. Проверить — это страшно или нет?

— Переступить хотел черту, за которую совесть инстинктивно не пускала, да? Я так вас понял? — спросил Рубин.

Борис Наумович молча кивнул.

— Как Раскольников через кровь хотел переступить, так этот — через предательство, — подхватила Юлия Сергеевна, и все одновременно глянули на сослуживца Марины: это он ведь подсказал ассоциацию. Тот неуловимо приосанился и значительно покачал головой.

— С таким я еще не сталкивался, — благодарно сказал Рубин. — Интересно. И очень правдоподобно. А вот переступив — он еще продолжал или ему хватало?

Что-то вертелось сейчас у Рубина на языке, отчего он говорил медленно, словно понукая и боясь спугнуть всплывающие в памяти слова.

— Стишок я знаю, — сказал он. — Вдруг вспомнил. Как раз об этом. «Иуда припомнил вчерашнее, подумал, нахмутив чело, и понял вдруг самое страшное: что страшного нет ничего».

— Это вы сами написали? — Борис Наумович как-то странно смотрел на Рубина, и взгляд его был недобрый и встревоженным.

— Сам, конечно, — Рубин искренне удивился и тоже посерьезнел. — А что вас так задело вдруг? Я сам свои стишки пишу.

— Правда, сами? — теперь в глазах старика мелькнул тот тонкий рысий огонек, который он только что изображал, и Рубин ясно видел матерого лагерного обитателя.

— Разумеется, — Рубин пожал плечами.

— А вы говорите — разум, — Борис Наумович обращался почему-то к сослуживцу Марины, и глаза его помягчели, снова за столом сидел добродушный старик с блестящей от легкого пота лысиной. — Вот ведь в чистом виде мистика, батенька. Дело в том, что точно такое же стихотворение, подлиннее, правда, и чуть пожиже, но о том же самом — что Иуда понял, что ничего страшного нет, — я услышал от того поэта за неделю до своего ареста. Он уже донос, очевидно, написал, и свои переживания оформлял поэтически.

— Было бы еще интереснее, — не удержался Рубин, — если б я тоже перед этим стихком на кого-нибудь написал, правда же?

— Типун тебе на язык, Илья, — сказала Марина. — Ничего для вас, мужики, святого нет.

— Удивили вы меня, признаться, Илья Аронович, — медленно сказал старик, внимательно, но уже с прежней мягкой усмешкой всматриваясь в Рубина. — Много есть таких психологических загадок... — и замолчал.

— Расскажите, — негромко попросил Рубин: по лицу старика было видно, когда он вспоминал что-то или пытался вспомнить, напрягаясь.

— Вот, пожалуйста, развяжите этот узел, если вы можете и склонны, — Борис Наумович движением — то ли изящным, то ли ревматическим — выгнул кисть руки, словно держа сюжет на ладони и приглашая всех им полакомиться.

— У нас на зоне был один бывший вор. — Борис Наумович запнулся и посветлел, припоминая. — Пропаж часов всех систем с гарантией. Кажется, это у них щипач называлось. А еще он как-то в марте пятьдесят третьего мне сказал: Боря, в Москве сейчас народу видимо-невидимо, большевики своего главного пахана хоронят, вот где для меня полно клиентов — видишь, Боря, душа моя болит о работе. Я отвлекся, извините. Изумительный оказался механик, чинил он бензопилы для лесоповала. Вообще любые механизмы до ума доводил. Из ничего запчасти делал, такие золотые руки. И поспорил с другом своим, что совершит побег небывалым способом, никто еще такого не знал. Кстати, татуировка у него была замечательная — на животе, пусть меня дамы извинят: «Дедушка Калинин, в рот меня мотать, выпусти на волю, брошу воровать». Словом, выточил он винт из кедрового обрубка и превратил бензопилу в вертолет. И на нем перелетел через проволоку. Гибрид Кулибина с Икаром. И судьба такая же. Только стихия была другая, не солнечная. Теперь вот вам психологическая загадка. Понимаете, Сережка всех вертухаев предупредил: мол, не собираюсь я бежать, если увидите меня за зоной — не стреляйте, сам вернусь. Кстати, когда я в лагерь попал, он замечательно надо мной подшутил, до сих пор общий хохот помню. Возвращаемся мы с лесной делянки, уже октябрь был, колючий снег метет, ветер, а нас при входе в зону шмонают не торопясь. Я и спросил, дурак: а что, если найдут чего? А Сережка мне громко объясняет: если найдут чего, то в зону не пустят. На той неделе, мол, у одного нашли, так он три дня в зону просился,

по поселку вокруг лагеря шатался. Еле, дескать, умолил вертухаев. Серьезно так объяснил. Вокруг меня просто корчились от смеха, а Сережка даже не улыбнулся. После попритихли все, а он добавил так негромко: а нашли-то два десятка вшей всего... И опять хохот. Как его все любили за такие шутки! А в строю как-то раз!..

Старик замолчал, и глаза его подернулись тонкой поволокой то ли слез, то ли воспоминаний. Рубин хотел вернуть его к теме, но спохватился, что лучше бы дослушать все подряд.

— В строю однажды, — очнулся старик и улыбнулся тоскливо, — нам начальник лагеря проповедь читал, чтоб мы усердней вкалывали, потому как страна на нас надеется. А одна из шавок его, опер мелкий, все время руку за спину совал, гимнастерку что ли заправлял поаккуратней в складочку, не помню. А Сережка ему из строя громко говорит: гражданин начальник, не чеши жопу, плохая примета, мамаша в деревне болеть будет. Вертухай руку отдернул машинально. А Серега опять говорит громко: чеши, чеши, я пошутил. Пятнадцать суток карцера он тогда получил, но с выводом на работу, без него никак не обходились. А опер тот, он еще с год искал, как бы Сережке срок прибавить, у нас прямо на зоне дело пришивали новое, ну как везде. А после простил его, ему Сережка починил что-то.

Старик опять замолчал, глядя прямо на Рубина невидящими и уже откровенно прослезившимися глазами.

— Извините, — сказал он треснувшим голосом. — Сейчас доскажу.

Он вытащил платок и обстоятельно вытер оба глаза.

— Кончилось вот как: он обеими руками вцепился в рукоять, пила у него на невысокой стойке специально стояла, и винт на ней, и поднялся Сережка в воздух. И через проволоку перелетел. И метров через сто опустился, всем виден был — там голое место. И тут вертухан на него собак спустили. А ведь он их предупредил. Вот и все. Почему они все-таки собак спустили? Мы потом спрашивали у двоих, а они говорят: сами не знаем. От неожиданности, что ли. Вроде как машинально. Так-то обычно у нас кого пристрелят — дня три у вахты валяется, другим в назидание, а Сережку даже

не выставили. Вот скажите мне, Илья Аронович, отчего они собак спустили?

— Сами потому что звери, — потрясенно выдохнула Юлия Сергеевна.

— А по всей стране на все неожиданное собак спустили, — хмуро ответил Рубин. — Чтобы другим неповадно было. И еще такая лихость в зеке должна смертельно раздражать вертухая. Больше ничего придумать не могу. А Сerezку вашего ужасно жалко.

— Это он меня когда-то просвещал, что в лагере не маленькая пайка губит, а большая, — глухо сказал Борис Наумович. Глаза у него были сейчас тусклые и смотрели в какие-то иные пространства. Он тряхнул даже легко головой, чтобы вернуться, и смущенно улыбнулся Марине. — Я очень нескоро, признаться, понял, что это и к воле относится, и вообще к жизни. Потому что о душе это, а не только о теле. Извините за мои печальные истории. Только вот, чтобы закончить: мы это на нарах тоже обсуждали, про собак. И знаете, что один мужик сказал? Что это вертухан от страха так поступили. Они ужасно нас боятся, когда в нас вдруг человек просыпается, они, сами того не зная, людей боятся. Потому что несмотря на миф и парашу, что они правое дело творят, а чувствуют они, что высший какой-то, Божий, природный закон нарушают. И любой тогда человек — нежелательный свидетель получается. Этот мужик про подсознание нам толковал. Что мы, мол, по природе так же склонны к добру, как ко злодейству. Оттого чем злодейство в нас отъявленней, тем острее мы, хоть сами не сознаем, начинаем всего на свете бояться, потому что Божьего суда ждем, а возмездие это — неожиданно всегда, непредсказуемо и случайными руками творится, но неизбежно. Словом, я никак вам это не передам так же складно, как тот бывший профессор, Липский его фамилия. Он это тогда так ловко повернул, что и в стране всей кровь проливается — от страха за ту кровь, что еще раньше пролилась.

Рубин неожиданно для себя громко присвистнул. Все к нему обернулись, а у старика посветлели и повеселели глаза.

— Простите, — сказал Рубин, — просто уж очень созвучно словам художника Бруни, он еще в тридцать четвертом сказал, что они свой страх зальют чужой кровью.

— Думал, значит, похожее что-то, понимал наше устройство, — одобрительно кивнул Борис Наумович и широко улыбнулся Рубину. — Давайте я вам что-нибудь повеселее тисну, а то дернула меня сегодня нелегкая в душевной тьме у вертухаев копать!

— Про пленных немцев, — попросила Марина. — Про ихние бараки и мебель. Ладно, Борис Наумович? Пожалуйста.

— Запомнила, — благодарно сказал старик. — Это тоже, между прочим, русскую классику напоминает — кто это, не помню, описывал разговор русского мальчика с немецким?

— Достоевский, — подсказал сослуживец Марины. И так же уверенно добавил: — Или Салтыков-Щедрин.

— Лагерь пленных немцев у нас рядом был, — сказал Борис Наумович, улыбаясь воспоминанию. — Они так аккуратно жили, мерзавцы, — заглядение одно. Не лагерь, а санаторий. Бараки изнутри струганной доской обшили, а доску обожгли очень красиво, прямо панели получились. Ресторан, а не барак. Резные стулья и столы сделали в готическом стиле. Везде узоры из деревянной резьбы. По стенам разные надписи выжгли на немецком: о семье, о Боге, о Германии. Возле плаца бассейн вырыли, забетонировали его, воду налили, по краям — скамейки; деревьяв насажали. После их перевели куда-то или освободили, уж не помню, а в те бараки вселили нас. Начальник лагеря построил нас тогда и говорит: видите, можно жить красиво и чисто, давайте так и жить. А нам чего? Жить так жить. Сперва бассейн в помойку превратили. После рядом с немецкими надписями на стенах русские появились. Какие — сами понимаете. А готические стулья за двести драки друг об друга извели. Через месяц и духу немецкого там не осталось, натуральная российская зона. И вы знаете — лучше стало дышать. Привычней. Тут большой был у нас простор для философских дискуссий. Между прочим, все они сводились к тому, что немчуре до нас далеко, ей порядок нужен и комфорт; а через это она и гибнет, немчура.

В коридоре резко зазвонил телефон, Марина вышла и почти сейчас же вернулась.

— Это Ира по твою душу, Илья, — она улыбалась от короткого разговора, они дружили. — Тебя просят на киностудию приехать срочно. Что это они тебя так ищут? Или ты ударник экрана?

— Ударник я, ударник, — проворчал Рубин, поднимаясь: очень не хотелось уходить. — На доске почета вишу. На ночь меня вывешивают. И с обратной стороны. Извините. Очень рад был познакомиться. Можно я вас как-нибудь еще навещу, Борис Наумович? И вас, Юлия Сергеевна?

— Буду рада, — церемонно улыбнулась старушка.

— Приходите, про сегодняшние дни поговорим, — пригласил старик. — Сегодня пайка побольше, жить трудней.

И он молодо Рубину подмигнул.

До киностудии было минут тридцать на метро и в автобусе. Редакторша, просившая его приехать, сказала, чтоб он сразу шел в отдел кадров, зачем-то его разыскивали.

Начальник отдела кадров студии, высокий одутловатый мужчина с выправкой и походкой бывшего военного был ему знаком немного, они здоровались. Но сейчас, пожав как-то по-особому крепко и значительно руку Рубина, он кивнул на плечистого молодого мужчину, вольно раскинувшегося в кресле в углу кабинета.

— Вот, хотя с вами побеседовать, Илья Аронович, так что извините за беспокойство. Оставляю вас вдвоем, чтоб не мешать. После, когда уйдете, дверь мою прихлопните, а то я уезжаю сейчас, позже буду. Желаю здоровья.

И церемонно кивнул обоим, уходя.

— Старший лейтенант Комитета государственной безопасности Рыбников Сергей Сергеевич, — сказал мужчина, вставая и протягивая руку. — Очень рад познакомиться. Нам надо бы поговорить, для того и приехал.

Начинается, подумал Рубин. Кто-то из приятелей сболтнул лишнее.

— Слушаю вас, — ответил Рубин приветливо. — Как вы думаете, курить здесь можно?

— Можно, можно, — лейтенант улыбнулся по-мальчишески и очень дружелюбно.

Закурили оба. Затянулись и помолчали. Рубин был серьезен, лейтенант лучился доброжелательством. Лицо у него было донельзя стандартное: и для комсомольского вожака годилось, и для плаката, возвещающего, что накопил — и машину купил. Тонкая рубашка плот-

но облежала его могучие плечи. Только глазки подводили — слишком узко посаженные на большом мясистом лице, яркие и невероятно блудливые. Ходок по бабам, примирительно подумал Рубин. Старший лейтенант Рыбников удобно откинулся в кресле и неторопливо посматривал на него.

— Так я вас слушаю, — Рубин не выдержал молчания.

— Собственно, это я бы вас хотел послушать, — благодушно сказал лейтенант (лет ему чуть за двадцать, сопляк ведь, а уже хозяин жизни, таким себя и ощущает — Рубин подумал это без осуждения). Видите ли, Илья Аронович, я хотел бы узнать о ваших ближайших жизненных планах. Что вы пишете, о чем думаете, над чем собираетесь работать. И о личной жизни немного: переписываетесь ли с уехавшими друзьями, не подумываете ли сами покинуть родину. Словом, все о вас хотел бы услышать поподробней.

— А скажите мне, Сергей Сергеевич, — ощерился Рубин (остановись, дурак, успокойся, не заводись, подумал он), — вы не собираетесь бросать жену, сходиться с любовницей, менять квартиру, подсиживать начальника?

— Не понимаю вас, — выпрямившись в кресле, лейтенант во мгновение ока утратил свою приветливость, но спохватился и вернул на лицо улыбку, — почему вы меня спрашиваете об этом?

— По тому же самому, что вы меня, — ответил Рубин, радуясь, что снова держит себя в руках. На самом деле стало вдруг очень страшно — мелькнула мысль о рукописи, запросто лежавшей в столе. — Отчего я должен вам, постороннему человеку, в первый раз увиденному, все о себе рассказывать и исповедоваться? С какой стати?

— Ну, мы с вами еще можем и подружиться, — напористо сказал лейтенант. — Спрашиваю я по долгу службы, а от ваших ответов зависит дальнейшее, о чем я с вами и уполномочен разговаривать.

Уже потом, дома, с гадливостью вспоминая и анализируя этот разговор, убедил себя Рубин, что ничего страшного и опасного не было. Его просто наметили, чтобы стучал на ученых, которых знал действительно много. И прислали к нему кретина с набором штампов. Если вы настоящий советский человек, Илья Аронович, говорил он, вы должны нам помочь, потому что невиди-

мый враг повсюду, а мы должны знать всех, кто может соблазниться его неустанной и ловкой пропагандой западного образа жизни. Ничего конкретного о Рубине он тоже не знал, а служебные инструкции так и выпирали из его речи, как пружины из старого дивана: похвала способностям и успехам собеседника, туманные обещания помочь поддержать на работе, упор на лестное доверие органов, посулы свободных туристских поездок за границу, периодическое напоминание о патриотизме, из которого осведомительство вытекало само собой как почетный долг и святая обязанность.

Рубин юлил и уворачивался как мог, ибо извечный страх разозлить эту всесильную контору был ему свойствен, как и всем. Он говорил о краткости и узости журналистского общения, о своей нелюдимости и неумении переходить на скользкие темы, о скудости своих знакомств и безупречности всех, с кем доводилось общаться. Беседа была обоюдодвялой, ленивой и неинтересной.

— Вы увиливаете, отлыниваете, Илья Аронович, — без обиды и бодро сказал, наконец, старший лейтенант Рыбников Сергей Сергеевич, могуче напрягая в кресле свое засидевшееся мускулистое тело. — Не могу и не хочу вас принуждать, вы еще созреете сами и осознаете необходимость помогать органам.

— Тогда и приду, — вставил Рубин с облегчением.

— Надеюсь, — Рыбников явно склонен был завершить разговор миролюбиво (кстати, среди уговоров, лести и посулов ни одной угрозы не прозвучало; блаженные наступили времена, подумал Рубин). — Теперь давайте временно расстанемся, Илья Аронович, я еще буду вам звонить, а пока дайте мне подписочку о неразглашении.

— Что еще за подписочку? — изумился Рубин.

— Кратенькую, — пояснил лейтенант. — Что обзаетесь не разглашать факта и содержания сегодняшней беседы.

— Ни в коем случае, — впервые за это время Рубин говорил категорически и наотрез. — Не считаю нужным ничего ни от кого скрывать, не считаю секретным наш разговор, не собираюсь у вас в конторе никаких расписок оставлять, а самое главное — я болтун неисправимый, все равно сразу протрещлюсь — даже если дам расписку. Так что — ни в коем случае.

Говоря это, уже встав и закуривая последнюю сигарету, Рубин видел, как меняется лицо лейтенанта. Не-

сколько раз промелькнули на нем не только недоумение, растерянность и злость, но даже в какую-то секунду — и готовность взять Рубина за горло своей спортивной рукой. Потянулись нудные уговоры дать подписку о неразглашении. Препирались они стоя, крупное лицо Рыбникова вспотело, глазки сверкали, он улыбался уже так натянуто, что лучше бы не старался. Рубин ясно понял, что ругают этих ловцов душ не за то, что клиент сорвался с крючка, а именно за отказ молчать об этом. Успел даже сообразить, почему: завтра он похвалится друзьям своей выдержкой и упрямством, а послезавтра его примеру последуют другие, видя, что отказался человек — и ничего с ним не происходит. Нет-нет, стойко и тупо повторял Рубин. Вы горько пожалеете об этом, настаивал Рыбников. Ничего я противозаконного не делаю и жалеть не придется, отвечал Рубин, с ужасом думая о рукописи и дальнейших походах к бывшим зекам. Длилось это минут двадцать, если не больше, и измочалило обоих куда сильнее, чем предыдущий разговор. Наконец, Рубин догадался сослаться на неотложное дело и был немедленно отпущен — с рукопожатием, улыбкой, добрыми пожеланиями и просьбой тщательно подумать, ибо лейтенант скоро позвонит еще раз. Сколько угодно, буркнул Рубин, выскакивая.

И, на улице машинально закурив, с отвращением отбросил сигарету. Мерзко и перекурено было во рту, гнусно и пакостно внутри — не оставляло ощущение, что появилась где-то рядом гибкая и могучая ядовитая змея и следит за Рубиным, неторопливо раскачиваясь. Вроде и не нужен он ей, но самый факт ее присутствия, ее повсюдного и неотрывного взгляда — портит жизнь и отравляет все чувства.

Рукопись теперь надо прятать на всякий случай, думал Рубин по дороге домой. Вскоре от быстрой ходьбы улучшилось настроение и понемногу стал вязаться стишок. Придя домой, Рубин его тут же прочитал жене (каждый новый казался самым лучшим краткое время): «Во что я верю, жизнь любя? Ведь невозможно жить, не веря. Я верю в случай, и в себя, и в неизбежность стука в двери».

— Типун тебе на язык, — сказала Ирина. — Разве можно самому беду на себя накликать? Стихи же ведь сбываются всегда, не знаешь, что ли?

— Это у настоящих поэтов, — скромно ответил Рубин в смутной надежде быть немедленно возведенным

женой в этот ранг. Но не дождался. Садись обедать, сказала Ирина, расскажи, что было у Маринки. Про киностудию она даже не вспомнила: будничное дело — звонок редакторши. И Рубин решил ее не расстраивать — зачем в доме лишние страхи? Но с кем-нибудь это, конечно, следовало обсудить.

* * *

Больше месяца уже не был Рубин у Фалька. Даже не звонил ему, настолько к вечеру уставал. Он с утра сидел за столом дома, а вечерами торчал в библиотеке, делая выписки из бесчисленного количества газет и книг. Возвращаясь поздно вечером, он подолгу смотрел в метро на беззаботные молодые пары, пока не понял вдруг, что это просится на волю стишок, и немедленно сочинил его, записав в тетрадь, где были заготовки для книги: «Плетусь сутулый и несвежий, струю мораль и книжный дух, вокруг плечистые невежи влекут прелестных потаскух».

К телефону подошла дочь Фалька. Голос у Оли был странный, взъерошенный какой-то, — впрочем, Рубин ее редко слышал по телефону.

— Приезжайте, Илья Аронович, — сказала она. — Только папы нет.

— А когда будет? — весело спросил Рубин. — И будет ли вообще? Загулял?

Непонятный звук, будто всхлип, послышался в трубке, и Оля положила ее. Или случайно разъединилось? Рубин перезвонил.

— Приезжайте! — сказала Оля настойчиво и грубовато, даже не переспросив, он ли это.

Рубин поймал такси. Шофера явно распирало желание что-то рассказать. Рубин достал сигареты, парень предложил ему в ответ свои и заговорил:

— Я только что одного вез, чудной клиент попался! Весь такой сам из себя — в дубленке, шапка ондатровая, очки на цепочке и чемоданчик вроде «дипломата», но пошкарней. И молчит. Стали у светофора, на меня не смотрит, говорит будто стеклу лобовому: в Японии я недавно был — херово живут. Ну, я молчу. Херово — и херово. У следующего стали. Говорит: в Англии я тоже был — херово живут. Ну, тут я хмыкнул, но опять молчу. Как назло, у каждого светофора торчим, и он у каждого о какой-нибудь стране говорит, что бывал там

и что херово живут. Вернись, земляк, он весь глобус перебрал, пока доехали до Смоленки, — он, видать, в министерстве там работает. Расплатился, дал на чай пятьдесят две копейки, у меня мелочи не было, он рукой махнул. Дверью хлопнул, после снова открыл, всунулся и говорит: ты меня не видел, я на тебе не ехал, — но так херово, как у нас, нигде не живут. Во клиент попался!

Рубин захохотал, радуясь, что байки сами плывут ему в руки, а Фальк еще говорит, что нет фольклора. Вот расскажу сейчас — не поверит. Скажет, как всегда, что сам придумал.

Они доехали. Рубин заплатил, посуровел и сказал таксисту, вылезая:

— Вовсе, брат, не чудик это никакой, а похоже, что ты Штирлица вез.

И, захлопывая дверь, увидел распахнутый рот шофера.

На звонок ему открыла Оля, и немедленно из глаз ее потекли слезы.

— Папу две недели как убили, — сказала она.

Рубин ошеломленно молчал. Какой-то хриплый вопросительный звук выдавился из него, но в слово не воплотился. Из-за Олиного плеча Рубин увидел раскрытую дверь в комнату Фалька, где вместо привычных книг стояла модная стенка для белья, посуды и престижа.

— А? — снова попытался он спросить и опять замолк. Они уже сидели на кухне.

— Я хотела вам позвонить, — сказала Оля, — я ваш телефон нашла в папиной старой книжке, но он давно мне уже сказал, что если с ним что случится, чтобы я вас не беспокоила, он так странно сказал: не вовлекала. — У нее вытекли две слезы, она аккуратно промокнула их кухонным полотенцем, висевшим за ее спиной. И улыбнулась виновато. — Вы уж не обижайтесь, Илья Аронович. Папа так сказал. Он вас любил очень.

— Как это случилось? За что? — спросил Рубин бесцветным голосом.

— В подъезде, — сказала Оля буднично и затверженно как давно и много раз повторяемое. — Ему кастетом сзади голову проломили. Он умер сразу, сказал врач, мгновенно. Соседка неотложку вызвала, я-то в обморок упала. Вечером. Вот в это же примерно время, часов в десять. И не взяли ничего, только часы и записную книжку с паспортом, да у папы ведь и не было ничего. Ну, может, десятка, не знаю. Милиция к нам ездит-

ла всю ночь, собаку приводили, так ведь затоптано все. Подъезд он и есть подъезд.

— Зачем это? — пробормотал Рубин. У него кружилась голова, словно с сильного похмелья, но никак не мог он ничего сказать, сообразить, спросить. С его места на кухне была по-прежнему видна комната Фалька с наглой импортной стенкой, где уже поблескивал из-за стекла хрусталь и какие-то расписные вазы. Это все выглядело так основательно, будто не было никогда в той комнате живого Фалька, с этой мебелью просто несовместимого.

— Книги папины мы все продали, — бубнила Оля. — Такие книги дорогие оказались, вот купили сразу стенку, видите? Я хотела вам позвонить, Илья Аронович, вас папа так любил, но Борис, муж мой, говорит: с него неудобно брать деньги за книги, а ты давно о стенке мечтала, за ней два года в очереди стоят, а тут по случаю у него на работе продавал один, с женой развелся, ему досталась стенка, а ей вся мебель, они монету кидали, кому что достанется...

Оля тараторила еще что-то о продаже и покупке — ей, похоже, стыдно было, что такую верткую сноровку проявила; но ведь дело житейское, подумал Рубин вяло, это же для них, как если бы сосед умер. Или она все же любила отца, но уже привыкла к потере? Да и тесно было им в одной комнатенке с мужем и пятилетней дочерью — теперь вот есть еще одна комната. Странное какое-то убийство!..

Он, оказывается, это вслух сказал. Оля очень обрадовалась перемене темы.

— К нам приезжал его приятель, — сказала она. — Как раз завтра после похорон пришел — не вашего он возраста, помоложе. Он к отцу и раньше приходил, я его знала. Он расспрашивал меня подробно, просил папины бумаги посмотреть.

— А кто он такой? — спросил Рубин, настораживаясь.

— Аркадий Евсеевич, друг папин, фамилии не знаю, учитель школьный. Я его у папы много раз видела, только сразу в комнату он проходил и чай я им туда носила. А бывало — и водку.

Оля наклонилась через стол к Рубину и понизила голос:

— Что-то они писали вместе, я знаю. Много спорили, но при мне замолкали. Он смеется, как мальчишка,

Аркадий этот Евсеевич. А уже под сорок. Веселый такой. И странный.

— Что он, забрал бумаги? — спросил Рубин.

— Нет, ничего не взял, — ответила Оля. — Посмотрел, что на столе лежало, мы стол соседям тоже продали, — проговорившись, она запнулась на мгновение, но Рубин слушал, не шелохнувшись. И она продолжила тем же быстрым полупшепотом: — Странный он, так улыбнулся вдруг и говорит мне: это все сожгите, Оленька, ведь это никому теперь не нужно. И уходит стал. А по дороге и говорит, вроде как сам себе и улыбаясь: да, забавно придумали, быстро и дешево. Я переспрашивать не стала, неудобно, но Борису, мужу моему, рассказала. А он мне: Оля это не наши с тобой дела, забудь — и все. Он теперь начальник, мой Борис, заместитель начальника отдела. Ну, я и сожгла все папины бумаги. В тазу на кухне. Форточку открыла и все проветрила. Соня только постоянно спрашивает меня: где дедушка, где дедушка, а я реву. Мы ее на время похорон отвезли, чтобы она не видела. Детям вредно.

— Лучше б видела, — сказал Рубин. — Дольше бы дедушку помнила.

— Детям такие нервные стрессы вредят, — твердо и осуждающе сказала начитанная Оля.

Для души растущей это нужно, хотел сказать Рубин, но промолчал. Странное ощущение какой-то непристойной приятности вдруг мелькнуло в нем от непойманной возникшей мысли; тут же осозналась она, и Рубин ужаснулся своей похожести на торопливую Оленьку. Фальк ему сказал однажды: вы меня в свою книжку вставьте, Илья, в качестве старого ребе-резонера, пусть буду я мудрец, отвечающий на все вопросы. Не хотите? Законы жанра не позволяют или то, что я жив пока? То, что жив, хотел ответить Рубин и, естественно, не ответил. А промелькнувшая сейчас мысль как раз об этом и была: теперь Фалька и его слова свободно можно вставить в книгу. Сволочь, подумал Рубин. Нормальный естественный человек. Сволочь. А ведь теперь и вправду можно.

Рубин мешковато поднялся, ибо не о чем было больше говорить.

— Урну с прахом я через неделю получила, — сказала Оля, — мы уже захоронили ее. Такая даль! Знаете, где этот новый крематорий? Рассказать вам, как туда добираться?

— Я вам лучше после позвоню, если позволите, — бормотнул Рубин. — Когда поеду.

— Вы не думайте, Илья Аронович, — сказала Оля, — папу я любила очень. Только вот какие-то мы разные были. И Борис к нему всегда с уважением относился, Правда, приятелей его я не любила. Кстати, знаете, кто еще заходил? Этот бандит, с которым папа познакомился в Сибири. Представляет, без звонка пришел. Я ему все рассказала прямо в передней, в комнату побоялась пускать; он выслушал, повернулся и ушел. Кстати, он еще звонил потом и про вас меня спрашивал. Я сказала, что не знаю такого. Зачем вам бандюга этот, правда?

— Да, конечно, Оленька, до свидания, — рассеянно сказал Рубин и стал настойчиво толкать неподдающуюся дверь.

— Она у нас вовнутрь открывается, уже забыли? — приветливо и облегченно сказала Оленька. — Заходите к нам, Илья Аронович. Звоните.

Дверь захлопнулась. Сигареты остались в кухне на столе. Рубин вытащил их, но не закурил, потому что Оля как раз бормотала в это время, как накуривал в комнате у Фалька этот учитель. Как его? Аркадий Евсеевич? А фамилия? И где его искать? И зачем? Возвращаться не хотелось. Возле остановки троллебуйса Рубин стрельнул у какого-то мальчика сигарету жуткой крепости — кубинцы, что ли, делают такую гадость? — и успел ее докурить, пока пришел почти пустой троллейбус. Одиннадцать, уже некуда пойти и выпить, подумал Рубин, сколько раз они с Ирой договаривались что-нибудь спиртное держать дома на всякий случай про запас — а стоило купить бутылку — немедленно сами выпивали. А Фальку было выпить не с кем. Понять бы, что произошло. А что с этого толку? Вы об меня часто советуетесь, Илья, говорил ему как-то Фальк, только помните, что я живой, а потому пристрастный, на меня не стоит полагаться без раздумий, человек человеку в лучшем случае костыль, а ковылять непременно надо самому. Извините, что говорю красиво. Надо сейчас приехать и все, что помню, записать о нем, подумал Рубин. Интересно, черствость это или нормальный профессионализм?

Он почти наверняка знал, кто убил Фалька, но боялся это ясно осознать, ощущая обиду — и стыдясь этой мальчишеской обиды, что была у Фалька область жизни, куда он Рубина так и не впустил.

В состоянии смутном и опустошенном шел Рубин по двору своего дома, удивляясь каждой будничной мысли, внезапно всплывавшей в нем: куда надо позвонить, где добыть сейчас спиртное, не забыть бы завтра лампочку ввинтить над подъездом, опять какой-то экономный жлоб украл ее, чтоб не тратить тридцать копеек на покупку...

В тамбуре между дверями подъезда Рубин почти столкнулся с двумя выходящими мужчинами. Он посторонился, пропуская их, и мгновенно рот его был зажат потной теплой ладонью, а сам он — тесно прижат боком к простенку тамбура.

— Скажешь, падла, слово — замочу сей миг, — услышал он шепот прямо в ухо, и зловонное, с табачно-водочным перегаром, дыхание ощутил.

— На глушняк, — добавил медленно второй голос, ладонь убралась, Рубин открыл глаза и увидел спокойно стоявшего рядом улыбающегося Семеныча, о котором только что говорил с Олей.

— Семеныч! — сказал Рубин обрадованно и удивленно. — Зачем ты это?

— Психологицкий фактор, — важно сказал высокий и тощий парень с гладким безволосым лицом дебиловатого подростка. — Верно, Семеныч?

— Не серчай, Илья, — сказал Семеныч, — я что-то вовсе голову потерял. Или вас по отчеству надо? Как вас там? Аронович?

Высокий хихикнул. Семеныч косо глянул на него, тот стер улыбку и достал сигареты.

— Перебздел, земляк? — спросил он Рубина сочувственно. — Очко, конечно, не железное, оно играет. Аронович, — добавил он и снова хохотнул.

— Давай выйдем покурим, — сказал Семеныч. Ноги были ватные сейчас у Рубина — ему казалось, что они вот-вот прогнутся. Пальцы, когда он брал сигарету, чуть дрожали, но высокий этого, кажется, не заметил. Спичку зажигал высокий.

— Кто убил Фалька? — хмуро спросил Семеныч, оставаясь в тамбуре.

— Ясно, что менты, — сказал парень. — Гопники на глушняк не бьют.

— Всяко бывает, — сказал Семеныч, не отводя от Рубина сузившихся глаз.

Рубин жадно сделал вторую затяжку.

— Чекисты? — спросил Семеныч. Глаза его сдела-

лись еще острее. Рубин молча кивнул головой, но поправился:

— Думаю, что они. А только кто ж теперь узнает? А гопники — это что такое?

— Гоп-стоп. Бандиты, — сказал дебиловатый парень. Ему очень нравилась ситуация и его роль в ней.

— Я так сразу и подумал, — сказал Семеныч. — С ними в игры не играй. Значит, не сыщешь ту суку, что руку поднял.

— Ты же завязал с мокрухой, Семеныч! — сказал парень весело.

— Для такого дела развязал бы, — нехотя отозвался Семеныч, продолжая в упор смотреть на Рубина.

— Слушай, земляк, у тебя выпить дома не найдется? — дурашливо и дружелюбно спросил дебил.

— погоди, Пашка, — оборвал его Семеныч. — Не приставай. Лучше выйди и постой на воздухе минуток пять. Цинканешь нам, если что.

— А нас пасли разве? — бравада Пашки мигом улетучилась.

— Нет, — сказал Семеныч мягко. — Потолковать мне надо с человеком. Свали на воздух.

— Пожалста, — не обидевшись, сказал, Пашка и подмигнул Рубину. А понадобится, он так же без злости задушит меня, подумал Рубин.

— Слушай, ты в курсах, чем Юлий занимался? — спросил Семеныч.

— Только догадывался, — честно признался Рубин.

— Значит, он и тебе не говорил, — задумчиво протянул Семеныч. И, поколебавшись, продолжал: — Слушай, ведь теперь-то все равно уже. Ему не опасно, а мне и вовсе наплевать. Понимаешь, у меня в Казани в спецпсихушке кент есть, дружок мой давний. Меня Юлий попросил достать через него список тех, кто сидит в психушке. Многим, он сказал, помочь можно, если шум поднимется. Передать он этот список хотел. А куда — не мое собачье дело.

— А твой дружок — он сидит? — спросил Рубин.

— Они там с братом в надзирателях кантуются. Он, конечно, сука последняя, что согласился на такую работу, но сейчас это неважно. Он сидит и сам, конечно, срок у него большой, но там житуха льготная. Придуркам всегда полегче. Ну, я Фальку обещал и список мы вытянули. Там такое делается, даже мне стало муторно, как услышал. А теперь, выходит, список ни к чему. До-

стали они Фалька. Он им крепко, видать, в почки въелся, а по закону взять не на чем. Ах, какой мужик был!

— Знаю я, какой он был, — хмуро ответил Рубин.

— Ни хера ты о нем не знаешь и знать не можешь, — сказал Семеныч. — Извини, конечно, за грубость. Потому что человек только на зоне узнается.

— А ты думаешь, воля от лагеря сильно отличается? — спросил Рубин. — Здесь человек тоже узнается. Только чуть помедленней, конечно.

— Пожалуй так, — согласился Семеныч. — Значит, ни к чему мои старания. Сам ты этот списочек не пристроишь? Больно охота мне последнюю просьбу Юлия исполнить полностью.

— Не знаю я никого, — огорченно сознался Рубин. — По другим дорожкам бегаю, в другие игры играю... Впрочем, давай список, я попробую.

— Нет, одна пробовала и семерых родила, — сказал Семеныч вежливо. — Юлий просил, значит, верняк нужен. А попробовать я сам могу.

— Мне ведь легче, — слабо возразил Рубин. — Кто и где ты будешь искать?

В дверь всунулся Пашка и глумливо сказал:

— Гундите вы здесь, как голос Америки. Скоро кончите?

— Скоро только кошки кончают, закрой дверь, Паша, — властно сказал Семеныч.

— Ночевать нам ехать надо, — просительно сказал Паша. — Не лето на дворе.

И исчез.

— Давай так, Илья, — сказал Семеныч. — Надыбаешь если дыру, куда просунуть мою бумагу, чтобы без хипежа обошлось, черкани открыточку, что ты жив, мол, и здоров. Я приеду или пришло с кем. А не надыбаешь — желаю счастья в личной жизни.

— Погоди, Семеныч, — растерянно забормотал Рубин. — Может, ко мне зайдем? У меня и переночевать можно, и чайку.

— Да нет, ехать надо, у нас с Пашкой крыша есть на окраине, — усмехнулся Семеныч. — Приятель один ждет меня и беспокоиться зря будет. Неудобняк. Запиши-ка адресок мой, Илья.

— Постой! — воскликнул Рубин обрадованно. Вспомнил он внезапно, что есть знакомый француз-славист, с которым изредка встречались они на пьянках у одного художника. Как-то француз пришел туда сияющий, как

Архимед, и объявил громогласно, что наконец ему открылась непостижимая тайна русской души. В маленьком каком-то городишке под Москвой застрял он со своей машиной посреди огромной лужи, образовавшейся от прорыва теплоцентрали. Поначалу просто буксовали колеса, а потом отказало зажигание. Француз сидел в машине, не решаясь выйти в черную густую грязь, когда мимо с песнями прошла какая-то пьяная свадьба. Он на своем ломаном русском языке попросил о помощи, и парни в свадебных костюмах тут же запросто полезли в лужу, не раздумывая, а веселясь от ситуации с жалким иностранцем. Они мигом выкатили машину и ушли, стряхивая грязь отчаянным притопом. Француз быстро устранил неполадку, а поехав дальше, оказался у распахнутых ворот двора, где плясала и что-то пела компания его спасителей. Он, естественно, остановился, посигналил им благодарственно, крикнул свое спасибо и тронулся вперед, когда один из благодетелей схватил булыжник и могучим броском разбил в его машине заднее стекло.

— Вот она, русская душа! — восторженно делился француз своим замечательным открытием.

— Давай бумагу, Семеныч, — решительно сказал Рубин. — Вспомнил я. Прости, что не сразу. Очень давно не видел того человека.

— А не заложит он тебя? — хмуро спросил Семеныч. — А ты потом — меня. Подумай. Это Фальк умел играть в такие игры, да и то вот, видишь, доигрался.

— Давай, давай, — сказал Рубин. — А зря подзревать человека — это тебе не запахло? Я о себе говорю.

— Я, Илья, никому не верю, — просто сказал Семеныч. — Я и бабе своей не верю. Фальку верил. Теперь опять некому. Держи.

Он вытащил из-за пазухи записную книжку, достал из нее бритву и ловко взрезал обложку. Листок был из папиросной бумаги, исписанный мелко и густо.

— Ох, сколько там сидит! — изумился Рубин, подслеповато вглядываясь в листок.

— Это еще не все. Спецотделение есть. Но там десяток-полтора. И не дотянуться туда. Чтобы парашу не разводить, скажи — десяток. А узнаю точно, тебя сыщу. И если что случится, сыщу, — добавил Семеныч холодно. — Не обижайся.

— Суровый ты мужчина, — вяло сказал Рубин.

От усталости и переживаний дня ноги уже плохо держали его. Они обменялись быстрым рукопожатием, потом Семеныч глянул на Рубина, чуть отодвинувшись, и крепко обнял его. У Рубина вдруг брызнули слезы.

— Счастливо, чудик, — ласково сказал Семеныч. — Не будь лохом. Свидимся еще, Бог даст.

И быстро вышел.

Медленно-медленно поднимался Рубин на свой второй этаж. Ирина выскочила ему навстречу.

— Где ты был? — спросила она, целуя его и помогая снять пальто. — Я звонила к Фальку, я уже все знаю. Я чуть с ума не сошла от страха, что ты где-нибудь напьешься.

— Пойду-ка спать, — сказал Рубин. — Завтра поговорим.

Ему приснились за ночь несколько бурных снов, он просыпался после каждого, пытался его восстановить, но сюжет мгновенно улетучивался. Тут Рубин неожиданно вспомнил смешной сон, как-то рассказанный Фальком: будто Фальк неторопливо беседует, сидя на камне, с Иисусом Христом. Фальк спросил его, отчего христианство запрещает самоубийство, — ведь бывает порой в жизни, что это единственно достойный, спасительный или разумный выход. В ответ на это Иисус объяснил, что так действительно бывает, но это истина слишком глубокая, а далеко не каждому человеку нужно знать последнюю правду, есть различные ее уровни, которые нужны различным людям. Фальку эта мысль очень понравилась, и он спросил Христа, как ему сослаться на источник, если он эту мысль вставит в свою научную статью. Собеседник подумал и сказал: так и напишите — Иисус Христос, личное сообщение.

Рубин тихо засмеялся в темноте и снова задремал. Сон, явившийся ему под утро, был тревожным и напряженным — его Рубин, проснувшись, вспомнил сразу.

Он бежал по улицам от кого-то, а точнее — быстро шел, чтобы не привлекать внимание прохожих, но знал точно, что его преследуют, и очень хотел скрыться. Он поравнялся со старым зданием университета и свернул туда. Там в глубине двора было здание института психологии, где Рубин часто бывал у приятелей, туда он и вошел, сразу свернув налево, в зал для собраний, докладов и защиты диссертаций. В зале было полно знакомых и незнакомых людей — шла панихида. Прямо у кафедры стояли два гроба, усыпанные цветами; Рубин

подошел поближе и ничуть не удивился, он даже знал это, пришел не случайно, — в гробах лежали Бруни и Фальк. Кто-то произносил речь о неразрывной связи психологии с искусством, когда в зал гурьбой вошли преследователи. Только тут Рубин понял, от кого скрывался: во главе кучки мужчин шел рослый, бравый и могучий красавец в свитере — лейтенант Сергей Сергеевич Рыбников. Он был разгорячен погоней, возбужден удачей — куда ты теперь денешься, голубчик? — и, поймав взгляд Рубина, мерзко и нагло подмигнул ему: пойдём, мол. Вся компания остановилась у дверей, перекрывая выход. Рубин прекрасно понимал, что при всех они брать его не будут, и беспомощно осматривал собравшихся, ища, кого бы попросить о защите. Были знакомые ученые из институтов, вовсе далеких от психологии; стояли поодаль два старика-зека из тех, что Рубин разыскал и расспросил; среди молодых выскочил уголовник Пашка, тоже ничьего внимания не привлекавший. К нему-то Рубин и решил подойти с просьбой выйти вместе. Но проталкиваясь и перед кем-то шепотом извиняясь, он поймал Пашкин взгляд, направленный в сторону двери. Это был блудливый, пакостный, сообщнический взгляд. И еле уловимо Пашка подмигнул лейтенанту Рыбникову. Рубин остановился, как вкопанный, и стал оглядываться. Тут только он заметил, что все присутствующие время от времени тоже смотрят в сторону двери и разным образом показывают лейтенанту, что они с ним заодно. Рубину стало холодно, одиноко и безнадежно. Он перевел глаза на гробы: Бруни и Фальк смотрели на него. Потом прикрыли веки одновременно, снова открыли и посмотрели. Надо было идти к дверям. С этим Рубин и проснулся. Он встал, чтобы одеться, но вместо этого сел в кресло и закурил. Проснулась Ирина.

— Что это ты куришь натошак? — спросила она недоуменно. — И оделся, как Пятница, и куришь натошак.

Рубин рассказал ей свой сон. И про дикое чувство одиночества, которое от сна еще осталось.

— Иди сюда, — хрипло сказала Ирина. — Иди скорей ко мне, Илья.

После они лежали, чуть отодвинувшись друг от друга, и Рубин сказал негромко:

— Если вдруг получится сын, мы его назовем Юлием. А дочку — Юлей.

— Никогда! — ответила Ирина, блаженно потягиваясь и кладя ему ладонь на глаза. — Ни за что. В-первых, потому что я уже старая, а во-вторых, потому что ты дурачок.

А француз отыскался очень быстро и согласился с радостью. Еще бы, настоящее русское приключение! И сказал даже, что знает, куда надо передать эту бумагу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Вызывали, товарищ генерал?

— Вызывал, а как же, — генерал Селезень приветливо встал из-за стола и пошел навстречу полковнику Сахнину. Что это он так, подумал Борис Матвеевич, надо ему что-нибудь от меня, не иначе.

Генерал крепко пожал ему руку, хотя утром они виделись в коридоре, и, не отпуская, мягко усадил его на стул у стола для совещаний. Сам сел рядом, глядя с отеческой пристальностью.

— Ты что-то осунулся, Борис, не болен ли? — спросил он тоном, напомнившим Сахнину кинофильмы о старых чекистах — заботливых, проникательных и любящих своих сотрудников, как собственных детей.

— В полном порядке, товарищ генерал, — дружески-почтительно ответил Сахнин.

— Мне здесь говорил недавно кадровик наш, — продолжал Селезень добродушно, — мол, полковнику Сахнину на пенсию пора, срок он выслужил, дорогу молодым пусть дает...

Он помолчал.

— А я ему говорю: полковник Сахнин даст фору пятерым молодым, это бесценный сотрудник, гордость моего управления, и забудьте о его возрасте, у таких чекистов возраста нет. Все-таки дурацкая у нас кадровая политика: отслужил — и на помойку.

— На пенсию, товарищ генерал, — вежливо поправил Сахнин, уже ясно понявший, что нужен для чего-то непростого, иначе не было бы увертюры, в которой скрыта очевидная угроза — возраст в самом деле пенсионный, срок выслужен давно, уволить могли вот-вот.

Генерал Селезень тоскливо махнул рукой, отгоняя призрак собственной пенсии.

— Все одно — на помойку, — по-стариковски груст-

но сказал он. — Без живого дела — какая это жизнь? В домно, что ли, играть, как Каганович? Или в церковь ходить, как Маленков? Мы ведь с тобой не сможем без дела.

— А я пенсии не боюсь, — браво и беспечно ответил Борис Матвеевич, чтобы сразу обозначить свою независимость. — Сяду писать детективный роман. Столько сюжетов уже вертится в голове — было бы время.

— Да, ты начитанный, — медленно протянул Селезень. То ли посоветоваться ему надо было срочно, то ли о чем попросить. Но совета он просил без предисловий. Старый ты уже, Селезень, подумал Сахнин, мой почти ровесник, а старый какой. Не выйдет из тебя уже ни Фуше, ни Мюллера. И симпатию вдруг ощутил к генералу, очень по-домашнему они сидели сейчас, и сколько всякого позади, а подлости от Селезня никогда ему не было никакой. Зависел полностью от него, с потрохами — от его аттестаций и отношения зависел. Особенно, когда евреев увольняли из управления. Правда, и Борис Матвеевич отплачивал начальнику верностью и не только никогда не подводил, а даже дарил идеи или остерегал от ошибок. Хороший мужик Селезень, повезло с начальством.

— Дома все в порядке? — спросил генерал.

— В полном, — ответил полковник.

— А у меня совсем плохо, — сказал генерал. — Дочь почти все время плачет. Прямо как больная: ходит и ревет. И с утра уже зареванная встает. Внука ни за что колотит. Заступлюсь — огрызается, как волчиха. Аленушка, говорю, возьми себя в руки, образуется все со временем, пожалей Вовку, он ведь маленький у тебя совсем, а на мужика плюнь, твой Сергей сам образумится, дай ему свое мужицкое отгулять. Не дам, говорит, зачем тогда он женился на мне? Гулял бы и гулял. Елена Петровна тоже на ее стороне: хоть я, говорит, и мачеха Алене, и Сергею вообще никто, а прощать такое мужику нельзя, нельзя потакать. Стыдно это, мол, и унижительно — кобелю потакать. Зря ты его, Николай Антоныч, защищаешь и выгораживаешь. Дочку бы лучше пожалел. Вот такие пироги. А ведь кроме них у меня нет никого, сам знаешь, Борис. Нету. Ни единой родной кровинки.

Сахнин знал это. Отец и мать Николая Антоновича Селезня были заживо сожжены в Белоруссии за связь с партизанами. Пол-деревни тогда дымом в небо ушли.

Сахнин был там как-то проездом вместе с Селезнем, до сих пор помнил он сухие запавшие глаза генерала, когда они вылезли из машины и постояли на месте того массового сожжения.

— Курить будешь? — спросил Селезень.

— Бросил, не дразните, — ответил Сахнин.

— Железный ты какой-то, Борис, — неодобрительно сказал генерал и тяжело поднялся, идя к столу за сигаретами. — Американские, — по-мальчишески похвастался он. — Ароматизированные, специально от астмы. Не попробуешь?

— Ну, давайте, — согласился Сахнин.

— Вот вы все такие, бросатели, волевые люди, — ворчливо и довольно сказал Селезень. — Теперь будешь чужие переводить, а курить все равно не бросишь.

— За компанию, — благодушно ответил Сахнин, наслаждаясь дымом. — Ну и гадость вы, однако, курите, товарищ генерал.

— Если бы ты знал еще, сколько мне платить приходится за эту гадость! — радостно засмеялся Селезень, снова усаживаясь рядом.

— А как у вашего Сергея на работе? — спросил Сахнин. Он знал, что у старшего лейтенанта Сергея Рыбникова дела на самом деле вовсе плохи: уже дважды он выговор в приказе получал, а выволочек на ковре у начальства — не счесть. За выпивки на работе, за отлынивание от поручений, за приставание к каждой машинистке, секретарше, любой мало-мальски смазливой сотруднице. Глухо поговаривали о денежных вымогательствах у кого-то из торговых людей. Дни работы Рыбникова, похоже, были сочтены. И Селезень, конечно, знал это. Если б не его негласная опека и не защитная аура такой родственности, давно уже был бы вычищен из органов этот красивый и бездарный прощелыга.

— Сам знаешь. Хуже некуда, — буркнул Селезень, полуотвернувшись. И добавил мрачно:

— Если его вычистят, он Аленку сразу бросит. Это и ежу понятно, что его удерживает. А она без памяти от него, идиотка безмозглая.

— Может, я могу помочь? — спросил Сахнин и тут же испугался, что зря лезет в эти дрязги, ничем он помочь не может, никто здесь никому не помощник. Но добавил все же: — Поговорить с ним? Образумить как-то? Ко мне его перевести? — Вот бы кошмар был, подумал он.

Селезень не пошевелился, глядя на стол, словно что-то выглядывая на полированной поверхности. А ведь это он меня рассматривает, сообразил Сахнин. Отражение мое. Но глаз полковник Сахнин не опустил, чтобы проверить. Только подобрался весь внутри. Много раз он забывал за годы совместной службы, что совсем не так прост генерал Селезень, и не зря он так давно здесь сидит, когда вокруг такая частая смена начальников. Забывал, потому что сам подкармливал Селезню идеями, потому что помощи его ни в чем не просил, к заступничеству не прибегал, провинностей и упущений не совершал, и всегда был больше нужен Селезню, чем тот — ему. Вот и расслабился, подумал Сахнин, но ничего, все вовремя, теперь я к его дружбе снова готов.

— Разговором не поможешь и от баб его не отводишь, — сказал Селезень тускло. — А к тебе перевести нельзя, у тебя технари работают, грамотные ребята, ему только носить за ними что-нибудь потяжелее, да и тут уронит. Он такой ведь: ни украсть, ни покараулить. Морда у него кобеля, да хрен, видать, отменного качества, вот и все его достоинства. Разговаривать я с ним разговаривал. Много раз. По-партийному, по-мужски, по-офицерски. Пустое. Но у меня есть план, Борис. И без тебя, я прямо тебе скажу, мне этот план не выполнить. А он надежен.

Все это Селезень говорил медленно, тяжело глядя в стол и головы не поднимая. Но договорив, поднял, и лицо его сразу стало иным. Это было хорошо знакомое Сахнину лицо старого работника органов, безупречного чекиста генерала Селезню, принявшего решение и диктующего свою волю. Дряблая отечность немолодого человека, сидящего в четырех стенах сутками напролет, обернулась твердыми и почти скульптурными чертами. Глаза смотрели дерзко, насмешливо и уверенно. Он помолодел и похорошел. Сахнин подумал, что не хотел бы оказаться врагом генерала Селезню — а такие были у него в Комитете. Хорошо, что я ему не враг, подумал Сахнин. Хорошо, что он нуждается во мне и мной дорожит. Хорошо, что он мне так доверяет.

— Слушаю, — сказал полковник Сахнин.

— Карьера лейтенанта Рыбникова не просто висит на волоске, а даже волосок подрезан, — жестко сказал Селезень. — Несколько дней назад он вербовал в осведомители одного журналиста. Некого Рубина. Этот писатель, прости за выражение, ошивается среди ученых,

потому он и был нужен. Но он не только категорически отказался работать с нами — даже не дал, мерзавец, подписку о неразглашении, засмеялся и отказался. Сергея его дожать не сумел.

Селезень обмяк, положил руку на колено к Сахнину и наклонился, переходя на энергичный доверительный тон.

— Так что осталось этого засранца лейтенанта гнать в три шеи. Завтра он станет вербовать кого-нибудь еще, а тот подумает: вон писатель Рубин вчера в гостях болтал за водкой, что отказался напрочь и подписку даже не дал, а на хуй их послал, чем я хуже этого писателя? Большая воспитательная плешь получается в нашей работе по информации. Но давай посмотрим, как промашку этого кобеля можно повернуть на выигрыш. Очень просто. Сергей пишет рапорт, что по ходу разговора с достоверностью установил причастность журналиста Рубина, во-первых, к диссидентским кругам; а главное, — к той большой краже наркотиков со склада Четвертого управления, которой твои ребята недавно занимались тоже. Помнишь?

Сахнин кивнул головой. Он не понимал еще план генерала. Кстати, уж не тот ли это Рубин, любимый племянник двух смешных пасторальных стариков, к которым ходит его отец. Рубиных, вообще говоря, не мало, но этот — журналист. Или пишет сценарии для кино? И еще где-то мелькала эта фамилия. Впрочем, все это не важно пока.

Селезень продолжал негромко и наставительно:

— Невзятие подписки о неразглашении покрывается сразу же, упущение лейтенанта становится тонким замыслом. Пусть, мол, болтает, его болтовня теперь поможет выйти на след легче и быстрее. Что касается причастности к этим сопливым правдолюбцам, то она вполне очевидна, так как известно, с кем он дружит. Один из них, кстати, получил недавно по заслугам, все никак не получалось за руку его поймать и кислород перекрыть, да случай помог. И не исключено, кстати, что от потери этой Рубин замечется активней, а его метание нам только на руку. Теперь самое существенное. Рапорт лейтенанта срабатывает, об этом я лично позабочусь, и Рубин включается в списки на обыск по делу о краже наркотиков. Какую-нибудь литературу у таких интеллигентов найти можно всегда, они без нее жить не могут, она их души освежает и укрепляет амбиции, не говоря о воз-

возможности трепануться за столом. Проницательность лейтенанта Рыбникова оправдывается, репутация укрепляется. Логично?

Сахнин кивнул. Что будет сказано сейчас, он уже знал. Селезень выпрямился и снова отвердел.

— Теперь вторая и узловая часть. Гипотеза о наркотиках тоже должна полностью оправдаться. Об этом нам надо позаботиться самим. Я уже тут попросил у ребят, мне из вещественных доказательств отсыплют. Объяснение, зачем мне это надо, их устроило. Даже обрадовалось. Цветной телевизор старику Селезню понадобился, японский с приставкой для кино. А сосед — наркоман и может устроить. На крючке теперь будет у них старик Селезень с потрохами вместе.

— А Сергей уже рапорт написал, — полуутвердительно, полувопросительно сказал Сахнин.

— Конечно, — подтвердил генерал. — Он был счастлив и клялся в преданности нашей семье. Даже на кастрацию согласился бы, сукин сын, только нам его жертвы не нужны. А просить о таком деле не тебя, а кого-нибудь из молодых — совесть старого чекиста мне не позволяет: на каких примерах будет наша смена расти? Это же не приведи Господь, что из них тогда получится. А ты — мой старый друг, Борис. Ты знаешь, что я зла тебе не делал, а добро — всегда готов. Неужели ты мне не поможешь?

Сахнину вполне ясно уже было, что попал он в ловушку. Просить о таком скользком одолжении молодняк из оперативной группы захвата — значило рисковать головой. Молодец, старый убийца. Настоящий убийца, это ведь известно всем давно. Все продумал. И отвертеться нельзя. Кроме того, Селезень — железный мужик, он по-крестьянски упорно доведет дело до конца. Кто-то все равно исполнит его план, и безразлично, другой будет или Сахнин. Колебаний этот убийца тоже не простит. Страшнее, чем отказ, колебания при такой просьбе.

— Знаете, Николай Антонович, — глухо и медленно сказал полковник Сахнин, глядя в упор и с лицом непроницаемо серьезным, — я дослушал вас и мне стало стыдно. То ли за себя, то ли за вас — не разберу.

— Что же так? — служебно-сухо поинтересовался генерал Селезень и напрягся, ожидая любого поворота.

— Столько лет мы с вами рядом и вместе, и вы столько слов напрасно тратите, во мне сомневаясь. Не-

ужели я доверия вашего не заслужил? Тогда мне за себя стыдно. А если вы после стольких лет меня не раскусили по-настоящему, то мне стыдно за вас. Неужели вы могли подумать, что я откажу вам или завиляю?

Властное и жесткое лицо генерала Селезня медленно распустилось в такую отеческую растроганность — даже веки покраснели и набрякли, — так по-киношному плавно все это происходило, что Сахнин успел тоскливо подумать: значит, на пенсию, теперь он выгонит меня наверняка. Выгонит не сам, будет в отпуске в это время или в инспекционной поездке, а в кадрах просто издадут приказ. Вернувшись, генерал будет громко возмущаться близорукостью и формализмом, непременно пойдет по начальству, а после вызовет, разведет руками и обнимет. Ну что ж, и поделом тебе, полковник. При отказе вышло бы, наверно, то же самое, только раньше на полгода.

— Боря! — сказал Селезень и, нагнувшись вперед, чуть обнял Сахнина. — Я в тебе, поверь мне, не сомневался. Но эта замашка старого разведчика, она ведь в кровь уже нам въелась, Боря. Ты не обижайся на меня.

— Давайте лучше детали уточним, — сухо вато и поделовому сказал Сахнин. — Как меня подключат к группе?

— Я позвоню дежурному и попрошу тебя включить с целью ознакомления с квартирой. Меня подробнее никто не спросит, — старческой размягченности как не бывало, и уже совершенно сухими были глаза генерала Селезня. Шла будничная разработка операции. — Тебе я пишу служебную записку, а хочешь — объясню задание устно...

— Записку на всякий случай, — сказал полковник Сахнин, четкий и предусмотрительный работник.

— Очень хорошо. Сейчас же. Устно объясняю вам, полковник, что, по моим данным, в квартиру журналиста Рубина может переместиться явка по передаче клеветнической информации о наших специзоляторах в Казани, Днепропетровске и других городах. Прежняя явка — квартира врача, с которым наши сотрудники давно работали, — перестала функционировать. Наверняка. Вот, собственно, и все. Просто и элегантно. Есть орехи?

Теперь на полковника Сахнина смотрело лицо умудренного опытом, заботливого и вдумчивого руководителя. Сахнин молчал. Вроде бы чисто.

— Есть еще порох в старых перечницах, — сказал генерал Селезень. — Мы еще послужим родине с пользой.

— Когда намечается? — спросил полковник Сахнин, вставая.

— Сегодня вечером, — ответил Селезень. — Залог успеха чекистов — оперативность.

Знал, что я соглашусь. Куда бы я делся? Интересно, это тот Рубин или не тот?

Генерал Селезень открыл ящик стола и вынул спичечный коробок.

— Вот. Пересыпешь во что-нибудь, если найдешь нужным. А что это такое, я даже не знаю, признаться. Опиум или анаша.

— Что это, покажет следственная экспертиза, — невозмутимо ответил шутник Сахнин.

Генерал задохнулся от смеха, вытер рот платком и проникновенным голосом сказал:

— А за сопляка этого, за журналиста, ты душу не терзай, Борис Матвеевич. Сколько они там за это получают? Ну, год, ну два. А за литературу найденную — так один срок поглощает другой. Это ему на пользу пойдет. С настоящей жизнью познакомится, лучше писать станет. Вон Достоевский — в каких вольготных условиях сидел, и то великий писатель получился. А в наших лагерях и года хватит, чтобы ту же чашу хлебнуть. Так что он нас благодарить еще должен за такую творческую командировку. Глядишь, и роман тиснет.

— А мы его тогда — за клевету, — сказал Сахнин, и снова Селезень скис от удачной шутки.

— Разрешите идти? — спросил полковник Сахнин.

— За вами заедут, — кивнул генерал Селезень.

* * *

День выдался на редкость удачный, и Рубин сидел в кресле сбоку своего стола, лениво перелистывая тетрадь. Он поговорил сегодня утром со старушкой, хорошо помнившей лагерь в Ухте, и сказанное ею так резко отличалось от услышанного раньше, что он сейчас тихо торжествовал, размышляя, как бы это поточней написать. Маленькая сухая старушка с крохотным личиком в густой сетке тонких морщин быстро нащелкала ему, как она была счастлива все годы заключения, почти пять лет. Да, да, да, именно счастлива.

Была она когда-то (в начале тридцатых) балериной в Большом театре. Во втором составе, не ведущая солистка отнюдь, но уже замеченная знатоками балета. И уже однажды танцевала большую роль — по замене: заболела главная исполнительница.

— Честно вам сказать, не болела она, Илья Аронович, просто танцевать не могла. Знаете, там у нас был специальный человек, вел так называемый красный календарь — кто из женщин когда не может танцевать, — чтобы подменять нас на эти три дня. Ну, вы меня понимаете. Вот мне поэтому однажды и повезло с заменой. А так-то примы очень ревниво к своим ролям относятся, никогда бы я на сольный танец не попала. Так эти дни мне помогли!

— Этих дней не смолкнет слава, — заметил Рубин, вспомнив чью-то шутку. Старушка застенчиво расцвела и благодарно засмеялась.

— Обожаю людей с юмором, — сказала она. — Какой был у Названова юмор, если бы вы слышали!

— О ком это вы, Эльвира Эрастовна? — не понял Рубин. Старушка сбивчиво и горячо принялась объяснять.

— Я же потому и счастлива была все лагерные годы, Илья Аронович, я просто не успела объяснить. Я любила Мишу Названова, великого артиста, а он любил меня и мы оба были счастливы. Или вам по порядку рассказать?

По порядку все равно не получилось, но суть и главное Рубин уловил. То ли план на аресты спустили в Большой театр, то ли постарался выслужиться кто-то ретивый из труппы, но молоденькую танцовщицу Эльвиру взяли однажды прямо с репетиции.

Полуобморочную от ужаса девушку следовательно стал расспрашивать, как завербовали ее троцкисты для подрыва, клеветы и саботажа. Первые дни она не понимала даже, о чем идет речь, и только плакала. Но за это время и планы следователя изменились: он стал требовать от нее признания в шпионских связях за границей (театр был недавно на гастролях). Тут какой-то в словах старушки за клубился туман, из которого неясно проступала то ли внезапная страсть следователя к юной ошеломленной красотке, то ли просто жалость к растерянной и обреченной девчонке. За час разговора старушка упомянула оба варианта. Следователь вдруг сам сказал ей: знаешь, девочка, давай-ка лучше я оформлю

тебе бытовое дело, пострадаешь меньше и быстрее выйдешь. Тряпки привозила какие-нибудь? Продавала? Вот давай мы это и оформим. Только помоги мне как-нибудь их назвать, а то я в вашем барахле разбираюсь слабо, а баба у меня темная, как сибирский валенок. Юная Эльвира с готовностью нащебетала о тайно привезенных ею и проданных кофточках и чулках, быстро получила пять лет, не попав, таким образом, в гибельную категорию политических. Очень она была за это благодарна следователю. В лагере тоже сразу повезло. Об этом она поведала Рубину с простотой, достойной Шекспира:

— Меня бы сразу в театр не взяли, но тут как раз одну артистку отвезли в Ухтарку. Знаете, что это такое? Рубин не успел кивнуть.

— Там расстреливали, не знаю, за что ее, но так совпало. И меня сразу ввели в спектакль. И тут я увидела Мишу. После я в разъездной бригаде работала, мы так и жили в отдельном помещении — шесть актеров и актрис. Ах, милый мой, никто не знает, что такое — четыре года быть в одном бараке с любимым человеком. Вроде и ни голода не помню, ни холода, ни унижений, хоть их вполне хватало. После Мишу выпустили, у него срок вышел, он уехал в Алма-Ату, там Завадский взял его в свой театр, а бездарная эта стерва — в свою постель.

Она назвала очень известное театральное имя. Рубин его сперва недослышал и переспросить постеснялся, а потом услышал еще раз, но записывать не стал.

— И все померкло сразу, — тусклым голосом сказала старушка. — Тут я и увидела, что сижу в лагере. Мать мне написала, где Миша, когда письма от него не стали приходить. Он почему-то ей решил все объяснить. Вы ведь, мужчины, — трусы невероятные, даже иногда стыдно за вас делается.

— Это правда, — подтвердил Рубин, усмехнувшись. — Что есть, то есть.

— Решила я тогда с собой покончить. Трезво так решила, обдуманно. Вешаться мне не хотелось, некрасиво очень: висит на толстой веревке эдакая фитюлька хлипкая. Решила достать яду. Пошла к аптекарю, мы его давно с Мишей знали. Вольный он был, ужасный театрал. А он идет мне как раз навстречу. Что это, говорит, с вами, великолепная Эльвира? Это он так звал меня.

Я в слезы. Дайте, говорю, яду мне понадежнее, сделайте последнюю милость. Он подумал и говорит мне: вот что, великолепная Эльвира, я дам вам из любви к таланту и уважению в беде вашей ценность куда большую, чем никчемный яд, которого у меня нет к тому же. Я вам дам большую бутылку рыбьего жира, и пейте его три раза в день по столовой ложке. Восстанут у вас силы, а в здоровом теле душа легче врачует свои раны. Я засмеялась и согласилась. И вы поверите? — Полегчало мое горе! Только что-то вроде ссадины осталось. Где-то чуть правее сердца. Очевидно, там и есть у нас душа? Тоже не знаете? Вот такая история, Илья Аронович.

— Неужели так и жили вы наедине со своей трагедией? — спросил Рубин участливо и серьезно, заранее зная ответ. Старушка улыбнулась горестно и кокетливо. Конечно, нет.

— Нет, после я с другим сошлась. Когда освободилась, то за него и вышла замуж — не по любви, а как попало, за сухаря и зануду вышла, абы кто-нибудь рядом был, хотелось Мишу позабыть быстрее. Знаете, Илья Аронович, я даже танцевать хуже стала, я это сама ощутила, не было того чувства полета. Вам это не знакомо, конечно, это наше профессиональное. Легкость, невесомость, упругость, а вместе с тем — и сила, и готовность взлететь. Редко приходит такое полное ощущение, но это и есть счастье! В лагере ведь как было: трясешься в грузовике, в кузове, холод насквозь пронизывает, я всегда была хрупкого сложения; приезжаешь куда-то в грязный клуб, надеваешь пачку, а пальцы подмышками отогреваешь или печку обнимешь, так прильнешь к ней, как в детстве к матери, и еле-еле в себя приходишь. В зале публика мерзкая, мы ведь ее сразу чувствуем. Взгляды сальные, прямо всем телом их ощущаешь, им главное — на тебя козлиным глазом поглазеть. Холодно, а духота. За сценой конвой покуривает, всю тебя тоже с ног до головы обшаривают гнусными глазами. Аккомпаниатору на застывшие пальцы дуешь, такое с ним родство душевное в эти минуты! И вот твой выход, и все меняется. Нету ничего на свете, только сцена, свет и музыка. Говорили, что я удивительно танцевала. Обратишь, опять продрогнешь до костей. Но все время о Мише помнила. Так что, когда вышла на волю, все мне стало пресно и тускло. И ушла я тогда преподавать. Так всю жизнь и проходила

в педагогах. А сейчас спроси меня, что помню: только эти пять лет и помню.

— Уникальная вы женщина, — искренне сказал Рубин, и старушка просияла, приняв комплимент, и благодарно погладила его по плечу. Нет, она не помнила Бруни, она просто его не знала, хотя слышала, что есть такой в театре. Декорации он делал отменные, но она с ним не встречалась никогда.

— Нас ведь сразу уводили обратно, Илья Аронович. Это вы очень правильно сказали: настоящий крепостной театр. Только все равно театр: кулисы, рампа,дыхание публики, перевоплощение — особая жизнь, актер без этого не может.

Те, кто возьмется писать историю лагерных театров, думал Рубин, бредя обратно по Садовому кольцу, напишут, в сущности, всю историю искусства и литературы тех лет. На свободе так же сочиняли рабские тексты, полностью зависели от чужого самодурства, жили плюзией полноценных творческих ощущений, так же странно были счастливы и этим. Возможность перевоплощения — она даже в изгаженном виде привлекательна и завораживает, как бабочек — свет. Пошлость какая-то получается, как только пытаешься выразить все это словами. Замечательно рассказала старушка про знаменитого некогда режиссера и актера Эггерта: вот она днем была в его лагерьной камерке — запах грязи, нестиранного белья и немолодого запущенного мужика, невообразимое тряпье вместо постели; вечером со сцены читал стихи элегантный, подтянутый и артистичный хозяин этого жалкого жилья. Да и читал-то, когда не классику, то нечто раблепное, разрешенное, затасканное. Прославляющее, благодарственное, молитвенное. Но как читал! И за самую возможность жить не в общем бараке, не надрывать с ломом и лопатой на мерзлом грунте, а стоять на сцене и любимым делом заниматься — благодарен был судьбе и власти.

Рубин раздумья эти отогнал, остановился на углу возле площади Восстания и вытащил блокнот, чтоб записать еще одну историю, мельком рассказанную старой балериной. Про приезд к ним в лагерь, словно на гастроли, зека-певца, возимого по зонам. Это шел конец сороковых, Эльвира Эрастовна была уже вольной и работала в театре, зеков приводили туда изредка на концерты, они тесно заполняли все ряды, свободные от лагерного начальства. Когда зек-певец принялся петь

знаменитую тогда песню, концерт едва не сорвался. Артист с чувством вывел строчку: «где же вы теперь, друзья однополчане?» — а в далеком заднем ряду кто-то громко ему ответил: здесь мы, все мы здесь, — и громовой хохот зала чуть не разрушил стены клуба. В наказание за это зеков еще несколько месяцев после не пускали туда.

Рубин позвонил днем домой — не купить ли по дороге продуктов. Ирина сказала что не надо, но что Митька принес двойку по физике и вообще разболтался. Рубина это почему-то очень развеселило. И совсем он был счастлив через час, когда пришел домой, протянул сыну руку, сказав традиционное «здорово, сын», а двенадцатилетний Митька ответил ему с дивно отработанной надменностью: отцам двоечников руки не подаю. Ген не водица, радостно подумал Рубин, непедагогично смеясь. День был несомненно удачным.

Потому еще удачным, что прибавлялась одна маленькая история в тетрадке с условным грифом «русская душа». Рубин ее завел давно, однако пополнялась она медленно, Рубин отбирал придирчиво, надеясь, что собираемые им истории необычно и ярко осветят пресловутую загадочность этой души. Он уже догадывался, впрочем, что именно они осветят. Чтобы свою идею за столбить, Рубин сочинил стишок, открывавший тетрадку: «Блажен тот муж, кто не случайно, а в долгой умственной тщете проникнет в душ российских тайну и ахнет в этой пустоте».

В такой гипотезе не было ничего обидного, кроме уверенного отрицания уникальной своеобразности. Байки, собиравшиеся в тетради, были качества разного, но все до единой — о замеченных душевных особенностях, выразившихся в поступках или словах. Сегодняшнюю историю Рубин выписал из прочитанной утром книги.

Некий пожилой интеллигентный завсегдатай маленького кафе в проезде Художественного театра разговорился как-то, а постепенно и подружился с молоденькой профессиональной потаскушкой. Она обслуживала жителей центральных гостиниц, как иностранцев, так и советских, а в кафе забегала передохнуть и культурно выпить чашку кофе под сигарету. Они встречались очень часто, — она уже подсаживалась к его столику, завидев его, — и вели неторопливые приятельские разговоры. Тайны из своих занятий девушка не делала, и они спокойно беседовали обо всем на свете, очень нравясь

друг другу полной несхожестью и взаимным бескорыстием отношений. Как-то он спросил ее, каких клиентов она все-таки предпочитает — отечественных или заграничных. Ответ он, естественно, предвидел заранее, но когда она подтвердила, что иностранных, он на всякий случай спросил, почему. Ответ оказался неожиданно изумительным. Девчушка раздраженно повела плечами и объяснила:

— Наш, когда уже одевается, непременно спросит, а почему ты не учишься?

Тени Достоевского и Куприна маячили за этой историей, чисто русским сочувствием отдавал вопрос, задаваемый уже в процессе одевания.

После ужина, подумал Рубин, посижу с этой тетрадкой еще, часть баек должна войти в роман.

В дверь позвонили, Ира пошла открывать, любопытный Митька выскочил за ней.

Когда в прихожей коротко пробубнил что-то мужской негромкий голос, Рубин, все понял сразу, но прятать рукопись было уже поздно.

Молодой круглолицый штатский предъявил свое красное удостоверение, протянул ордер на обыск и похозяйски окинул комнату глазами. Второй был тоже молодой, остролиц, со взглядом колючим и неприязненным, а у третьего — пожилого и с красивой сединой — лицо было добродушное и интеллигентное. Высокий лоб его чуть морщился горизонтальными складками, когда он смотрел на книжные полки, и прорезался крупной вертикальной бороздой, когда он хмурился — Рубин поручиться мог, что видел это лицо, но где — не помнил. Рубин уселся в кресло плотно и неподвижно, решив ни на что не реагировать и не разговаривать с ними ни о чем. Ирина села за обеденный стол, приложив кулачки к щекам, и тоже молчала, искоса наблюдая за обыском. У дверей топтались двое понятых: соседи по лестничной клетке, полужнакомая семья, муж и жена, явно смущенные, что согласились идти на это позорище. Они то с ужасом следили за бесцеремонной деловитостью пришедших, то искательно смотрели на Иру, то со страхом взглядывали на Рубина. Все понимающий и сразу повзрослевший Митька неподвижно стоял у стены.

Круглолицый крепыш явно руководил, ибо курносый, сразу начавший перебирать книги, сомнительные приносил ему и с готовностью кивал, получая лаконичные указания. На столе возле Рубина быстро возникла гор-

ка книг, изданных за границей на английском и русском языках. Англиского оба явно не знали, книги были вовсе не опасны. А вот на русском — Рубин молча обругал себя за легкомыслие — подбиралось вполне достаточно для тюремного срока. Уже был обнаружен сборник русской неподцензурной частушки (Рубин хранил его, гордясь и хвастаясь при случае, что несколько частушек придуманы им), четыре книжки воспоминаний о лагерях, два тома Авторханова и книга какого-то француза о Солженицыне — набиралось, явно набиралось для криминала. Рубин хотел сосредоточиться и подумать, почему крепыш, предъявляя ордер, сказал, что обыск производится в связи с делом о краже на аптечном складе, но ничего придумать не мог, никакой идеи в голову не лезло. И причем здесь тогда книги и рукописи? Крепыш копался в столе, вытаскивая отдельные бумаги, папки, письма и записные книжки, наскоро заглядывал в них, бросал в кучу на диван ненужное, отобранное аккуратно складывал на столе. Уже лежала там подборка стихов, десяток рабочих блокнотов, три папки со старыми рассказами (вот уж за пустое схватились!), какая-то забытая рукопись, толстая пачка ксерокопий из Ленинки (статьи о фашизме на немецком языке, их переводил Рубину приятель). Когда крепыш взял папку с рукописью книги о Бруни, Рубин отвернулся в сторону с детской уловкой безразличия. Эту папку крепыш разглядывал недолго, сразу же наткнулся в ней на что-то и положил ее среди улова.

— А ведь обыск по уголовному делу, — вдруг громко и твердо сказала Ирина, — зачем же вы перебираете бумаги и книги?

Крепыш медленно обернулся к ней, сидя на корточках у ящика стола, но за него зло и быстро отчеканил курносый остролицый:

— Мы сами знаем, что нам нужно для дела и имеем право брать все, что считаем необходимым.

Ирина замолчала, снова уперев лицо в кулачки.

Рубин покосился на стол с горой отобранных папок и бумаг, увидел несколько желтых тетрадных листков под общей скрепкой и вздрогнул, узнав их. Значит, утром это было предчувствие, а не случайная и занимательная мысль. Он с утра сидел над рукописью странной и не очень интересной, только ее происхождение побуждало его читать. Года три назад умирал один врач-

рентгенолог, Рубин его не знал, хотя общих знакомых было у них полно.

Врач спрашивал у всех друзей, как ему лучше распорядиться последним оставшимся годом жизни (неумолимо прогрессировал рак горла. И поэт Самойлов, старый и мудрый человек, посоветовал ему посвятить весь год писанию мемуаров. Врач отнекивался, ссылаясь на отсутствие способностей и скудость памяти, но после согласился и был счастлив. Дав себе зарок писать хотя бы по страничке в день, он увлекся, и в те дни, когда чувствовал себя сносно, писал гораздо больше, а главное — погрузился в былое, что послужило отличной психологической анестезией. Умер он почти точно в предсказанный онкологами срок, оставив рукопись, которая изобиловала подробностями времени. Читая рукопись, Рубин потянулся сделать краткие выписки из нее, а бумаги под рукой не оказалось, и он выдрал несколько листков из давно лежавшей на его столе толстой общей тетради, заполненной на четверть. Выдрал, записал что-то и догло потом сидел, обдумывая и рассматривая со всех сторон обнаруженное знаменательное совпадение. Символика, которую он почувствовал, сильно взволновала его.

Дело в том, что ученическая эта тетрадь тоже была рукописью. Давний приятель отдал Рубину заметки своего отца: тридцать лет назад, вернувшись только-только из лагеря, тот решил записывать все, что вспомнит, но потом увлекся суетной городской жизнью и тетрадь забросил. Рубин оттуда тоже выписал одну историю. Она была о посрамлении какого-то лагерного придурка, случайно впавшего в немилость у начальства и оказавшегося вместе с отцом приятеля в БУРе — штрафном бараке усиленного режима. Там, развлекая уголовников, чтобы они его не тронули, этот придурок (поляк по национальности) разглагольствовал о своей ненависти к евреям. В частности, сказал придурок, он как раз поэтому терпеть не может многих опер. Ясно сразу, кто их написал, а вот оперу «Кармен» он любит — настоящее испанское произведение, автор которого, композитор Бизе...

— Французский еврей, — вставил с нар отец приятеля, ожидавший удобной возможности вмешаться. Презрительно покосившись, придурок решил не реагировать на общий смех и кисло сказал:

— Нет, опера все-таки и есть опера, в ней жизни не-

ту, темперамента нету и души. То ли дело, например, — «Севильский цирюльник», оперетта, написал Оффенбах...

— Австрийский еврей, — сказал отец приятеля.

Тут придурок совершенно взбеленился от хохота уголовников и закричал, что хоть евреи всех талантливых людей своими числят, но уж автор польской национальной мазурки композитор Венявский...

— Польский еврей, — сообщил с нар старик.

Разъяренный меломан обещал завтра же, когда выведут на работу, спросить об этом сведущего человека (в лагерях хватало людей, сведущих в любых областях знаний), и если это окажется враньем...

— А если правдой? — спросил отец приятеля. Это оказалось правдой.

Были в тетради и другие истории, просто Рубин сделать выписки еще не успел. Вырвав из нее сегодня утром несколько чистых пожелтевших страниц, он подумал, что вот она — преемственность поколений, в чистом виде случайно явленная бумагой, на которой он сейчас пишет, — и символикe этой очень обрадовался. Даже покурил от счастья, косясь на торопливые свои закорючки на листках предшественника-зека. А потом забыл об этой утренней радости, спеша на встречу со старушкой. И вот к вечеру связь поколений стала еще более реальной, тут было о чем подумать, и Рубин закурил опять, отвлекаясь от наблюдения за обыском.

Вывел его из раздумий хищный возглас крепыша.

— Вот оно! — торжествующе воскликнул старатель.

С полчаса назад он обнаружил между письменным столом и стеной некогда случайно завалившуюся туда забытую, густо уже поросшую пылью вторую половину книги Гинзбург «Крутой маршрут». Первая половина этой машинописной копии не возвратно потерялась когда-то, но крепыш-охотник, заботливо повторяя — «где же начало?», все-таки надеялся его найти. И вот теперь он вдруг наткнулся в столе на давнюю, начатую и брошенную Рубиным рукопись книги о народовольце Кибальчиче. Первая глава ее так и называлась — «Начало», что привело смекалистого чекиста в полный восторг.

— Вот и начало, — еще раз азартно повторил он и торжествующе сложил половины совершенно разных книг.

Несмотря на серьезность происходящего, Рубин удержаться от улыбки не сумел, чем привлек к себе неодобрительное общее внимание.

— Разрешите глянуть, — быстро сказал пожилой и подошел к столу. Коротко пролистнув страницы о Кибальчиче и заглянув во вторую половину, он тоже усмехнулся, но ничего не сказал и молча положил добычу на стол с остальным уловом. Обыск продолжался.

— Давайте я начну писать перечень изъятых, товарищ капитан, — сказал седой. Крепыш посмотрел на него с каким-то удивленным недоумением, как показалось Рубину, и молча кивнул головой.

Этот седой со знакомыми Рубину чертами лица вел себя странно с самого начала обыска. Вежливо попросив у Иры разрешения попить воды, он вернулся из кухни через минуту и сразу, взяв одного из понятих, пошел осматривать комнату детей. Через полчаса, а то и раньше он возвратился, ничего не принеся, потом слонялся по комнате и в обыске участия не принимал, только лениво перелистывал наугад взятые с полок книги. И крепыш, хотя был явно старшим в группе, никаких ему распоряжений не давал, а остролицый угодливо и готовно подвигался, если седой оказывался рядом. Рубин даже подумал, что у них ведь тоже есть наставники молодежи, — может, это ветеран сыска присутствует, проверяя свой подшефный коллектив. Впрочем, седой как-то стусевался на фоне охотничьего энтузиазма двух молодых, и Рубин все время терял его из вида, а теперь тот сел рядом за стол, по-хозяйски пододвинув к себе лампу Рубина, и с привычной ловкостью переложил копиркой три листа бумаги для составления перечня находок. Справа от него высилась на диване гора бумаг и папок, не вызвавших при осмотре интереса. Седой взял отуда одну папку, как бы проверяя процитированность крепыша, но почти сразу положил ее обратно и принялся за те, что на столе.

Полковник Борис Матвеевич Сахнин уже не чувствовал сегодня той душевной тяжести, что мучила его вчера. Во-первых, то изящество, с которым он исполнил поручение, доставило ему профессиональное удовольствие. Выйдя на кухню якобы попить, он незамедлительно обнаружил правоту своего предположения: соль и перец, что-то еще из пряностей держали здесь, как в очень многих сегодняшних домах, в стеклянных высоких баночках с дырчатыми крышками. Именно в такой ба-

ночке он и принес выданную ему вчера порцию наркотика — анаши, очевидно, судя по цвету и рыхлости порошка. Так что даже пересыпать не пришлось, он поставил свою баночку среди других и немедленно возвратился. После этого он наскоро и кое-как осмотрел в присутствии понятого комнату детей и больше в обыске не участвовал. Старший группы, капитан Ромась, по дороге ни о чем его не спрашивал и сейчас не просил помочь. Сахнин лениво листал книги, чтобы не торчать без дела, искоса наблюдая за обыском и поведением хозяев. По груде книг и папок на столе он понял, что материала для обвинения уже достаточно, так что положенный им наркотик решающей роли не играл, муками совести ему терзаться не следовало. Что Рубин племянник друзей отца, он догадался сразу, но это его ничуть не волновало — каждый выбирает судьбу сам и собственную платит цену; вольно было этому племяннику жить именно так, будет осмотрительней, когда вернется. Вернется, так и не узнав, что попался оттого, что некоему генералу понадобилось выручить своего остолопа-зятя. Вообще Борис Матвеевич издавна считал, что мозг, данный человеку, — это орган выживания, и если человек ведет себя неразумно с точки зрения необходимости выжить в доставшемся ему от рождения социальном климате, то, значит, — разум его нормален не вполне, и некоторая жесткая терапия послужит ему уроком и исцелит. Но где еще он все-таки слышал эту фамилию? В какой связи и от кого? Разные были у них круги знакомых — это очевидно, но вроде ни с кем он, кроме генерала Селезня, просто не мог о Рубине говорить, а ощущение, что все же говорил, не оставляло и беспокоило. Борис Матвеевич был человеком разума и такого дискомфорта не любил.

Вспомнил он в ту секунду, когда капитан Ромась — вот идиот! — совмещал, торжествуя, две половинки двух разных книг. Сразу стало легко, — первый признак, что вспомнил. Это полковник Варыгин ему рассказывал со слов отца: где-то сидит, мол, некий литератор Рубин, пишет роман о лагерниках и их судьбах, ездит, расспрашивает и не боится. Очень легко было проверить сейчас слова Варыгина-отца, и Борис Матвеевич вызвался составить опись изъятого. И почти сразу наткнулся на рукопись книги о художнике Бруни, а двух первых же страниц сполна хватило ему, начитанному профессионалу, чтобы подтвердилась мгновенная

догадка: она, та самая и есть, о которой говорилось случайно.

Остролицый досмотрел шкаф и книжные полки, раскрыв дверь в прихожую, поставил табуретку на стул ловко влез на нее — начал снимать с антресолей запыленные и пожелтевшие пачки писем: от родных за многие годы, от читателей книжек и статей Рубина, их с Ирой переписку, когда приходилось им бывать в разлуке. Остролицый, похоже, собирался все это аккуратно просмотреть. Лучше бы с собой забрал, злобно подумал Рубин, порылся с месяц в этой бесполезной трухе, мы что-нибудь еще на антресоли могли кинуть из ненужного барахла, растущего с годами. Кстати, вряд ли его буду складывать туда я, подумал он, меня-то заберут они сегодня. Интересно, на сколько лет. Страха не ощущалось; странное было безразличное оцепенение. Кажется, у Иры тоже. Молодец, что не плачет. А Митька — как он их ненавидит сейчас, все написано на его насупленном мальчишеском лице — этому полезно, мужчиной вырастет, повидав такое в собственном доме.

Краем глаза Рубин видел, как пожилой седовласый перелистнул рукопись о Бруни, положил на стол и чуть помедлил, думая о чем-то. После принялся что-то писать в протоколе обыска. Понятые ушли на кухню, их позвал за собой крепыш. В комнате висело молчание, и никто не шевелился, только седой шелестел листами, разбирая груды на столе. Ира улыбнулась Рубину вымученной улыбкой, Митька оставил стену, подошел к матери и уткнулся ей в бок. Ира стала гладить его по голове и беззвучно заплакала. Рубин напрягся и посмотрел на нее строгим, как ему казалось, унимающим и стыдящим взглядом, и Ира, снова улыбнувшись покорно, поняла и отерла слезы тыльной стороной руки. В комнату энергично вошел крепыш.

— Пожалуйста к столу! — громко сказал он. — Давайте опознавать.

Он поставил на стол четыре баночки из кухонного шкафа — соль, перец и что-то еще..

— Это ваши? — спросил он у Ирины. Она кивнула, ничего не понимая.

— Попрошу вас осмотреть каждую и опознать отдельно, — сказав, что в ней находится, — потребовал крепыш. — А вы подойдите ближе, пожалуйста, — об-

ратился он к понятиям. Те нерешительно придвинулись и застыли.

Ира взяла в руки баночку и повертела ее, словно играя в непонятную игру.

— Это соль, — сказала она.

— Следующую, пожалуйста, — потребовал крепыш. Седой, оторвавшись от описи, тоже смотрел на них.

— Это, по-моему, перец, — неуверенно сказала Ирина.

— Следующую.

— Даже не знаю, — Ирина пожала плечами. — Не помню что-то. Сода, может быть. Вон в той, это я помню: хмели-сунели. А в этой, может быть, другая приправа. Знаете, в пакетах такая, для супов? Забыла, как называется.

— Теперь посмотрите вы, пожалуйста, — седой говорил негромко, обращаясь прямо к Рубину. Крепыш замолк, едва услышав его голос.

Какой бы сволочью ни был генерал Селезень, подумал Борис Матвеевич, а поручения, которые он мне дает, всегда исполняются неукоснительно: должны быть отпечатки пальцев на банке, и вот они появятся сейчас.

— Кто у вас занимается хозяйством? — спросил он.

— Я, — ответил Рубин, идя к столу. Он не понимал, что происходит, но готов был всех заслонить собой и все взять на себя, только что подумав как раз, как он неграмотен и незащищен: даже не знает, одному ли ему придется отвечать за книги или они потянут и жену. Кажется, отвечает мужчина, однако черт их разберет, лучше принимать на себя все подряд.

— Собственно, обед варю я, если вы это имеете в виду, — растерянно пробормотала Ирина.

— Это соль, — говорил Рубин, — перебирая знакомые банки. — Это хмели-сунели. Это перец. Это, очевидно, яженка, если я не путаю название, такая приправа из пакетов — югославская или венгерская. А может, сода? — он показал банку Ирине. Она виновато улыбнулась. Не помню, сказала она, а понюхать можно?

— Можно, — сказал крепыш со значением. — Не узнаете?

— Нет, — неуверенно произнесла Ирина.

— Хорошо, разберется лаборатория. Давайте заполнить протокол, — решительно сказал крепыш. — А ты слезай, — приказал он остролицему, — и еще раз ос-

мотри всю кухню. Присаживайтесь, — это он сказал уже понятиям. — Вы опись закончили, товарищ...? — он почему-то запылся на обращении. Седой молча взял опись и положил ее перед Рубиным.

— Прочтите и распишитесь, — сказал крепыш.

Рубин уткнулся в опись скорее из интереса к тому, как составляются эти бумаги, ибо знал все отобранное, и саднящая боль была только при мысли о рукописи, которую заканчивал. Как можно было держать ее дома? Идиот безмозглый! Поделом.

Каждый пункт содержал точное описание. Цвет папки, название рукописи (или книги), количество страниц с какой фразы начинается первый лист и какой кончается последний. Рубин быстро просмотрел опись и напрыгся, не шевелясь. Рукописи о Бруни не было. Он просмотрел опять. Да, явно вместо нее была желтая такая же папка со старой, давно изданной научно-популярной книгой о кибернетике. Крепыш, помнится, заглянул и бросил ее в кучу ненужного на диване. Теперь она лежала здесь. А та? Рубин исподлобья посмотрел на диван. Краешек папки с рукописью книги о Бруни торчал в оставленных ненужных бумагах. Зачем седой совершил эту подмену? Какая-нибудь провокация? Рубин скорее испугался и насторожился, нежели обрадовался, и поднял глаза на седого. Тот смотрел на него прямо и не улыбочиво.

— Подписывайте, подписывайте, — резко и властно приказал седой.

Рубин подписал, так и не поняв, что произошло, хотя такая радость захлестывала его, что дальнейшее он улавливал слабо, только одного хотел: уйти отсюда поскорее, чтобы Ирина спрятала и увезла книгу подальше. Они хватятся, да будет поздно. Или это предлог для второго обыска? Какая с их стороны глупость...

За это время крепыш красивым почерком первого ученика составил зачем-то опись баночек с приправами.

— А почему вы суповую приправу назвали наркотиком? — спросил Рубин, прочитав.

— Потому что это наркотик. Вы этого, конечно, не знаете? — с подчеркнутой насмешкой спросил крепыш. С кухни вернулся долговязый остролицый, отрицательно мотнув головой на немой вопрос крепыша.

— Ладно, разберутся, я надеюсь, — покладисто ответил Рубин, торопясь закончить процедуру.

— Странно, — вдруг сказала Ирина, не сводя глаз с баночки. — Никогда я никуда не пересыпала суповую приправу, всегда держала ее в пакетах, как покупала. Да еще в холодильнике. Это не наша банка! — вдруг крикнула она. — Не наша, не наша! — и заплакала. Рубин оторопело смотрел на нее.

Хоть один нормальный человек в этом доме, подумал Борис Матвеевич. Он себя чувствовал сейчас очень рискованым и благородным человеком. Рукопись еще пригодится этому умалишенному, когда он вернется через несколько лет. Если не поумнеет, конечно, за это время. А потрафлять Селезню сверх обещанного — глупо и смешно. Вообще все найденное на большой срок не потянет.

— Давайте закругляться, — сказал он веско. — Что это такое, выяснит лаборатория. Возможно, что мы ошиблись. Но проверить необходимо. Подписывайте, пожалуйста, и собирайтесь с нами. Вы ему дайте с собой что-нибудь поесть, — он обращался к Ирине мягко, как к ребенку, и та немедленно послушалась.

— Это надолго? — спросила она покорно.

— Мы не знаем. Думаю, что нет, — успокоил ее седой.

— Ирочка, я скоро вернусь. Собери весь этот хлам и рассортируй, ненужное — выброси, ладно? — весело сказал Рубин. — Воспользуйся случаем и наведи порядок. Не засовывай обратно как попало, перебери, — повторил он, глядя на Ирину, как ему казалось, со значением и смыслом. Она смотрела на него, как на больного. Пакет с едой уже нес с кухни Митька.

— Спасибо, сын, — бодро сказал Рубин. — Давай руку и будь мужчиной. Оставляю на тебя мать. Катюшку поцелуйте, когда придет.

И, не отпуская Митьку, крепко прильнувшего к нему, он обнял Ирину. Жена не плакала, не подалась к нему — окаменев, она пыталась понять, отчего он так приподнято возбужден и что за глупости он ей поручил.

Понятые пятились из комнаты.

* * *

За тот месяц, что провел уже Рубин в Загорской тюрьме, он так и не понял, что случилось. Следователь приезжал к нему дважды, а один раз его самого вози-

ли в Москву. Первые два вопроса были совершенно загадочны для Рубина: его расспрашивали о знакомстве с людьми, которых он в глаза никогда не видел и слухом не слыхивал о них, — сплошь какие-то начальники аптекоуправлений и их сотрудники пониже рангом. А на третьем вопросе Рубин вдруг понял, что и для следователя его причастность к делу об аптечных хищениях — тоже непостижимая загадка. Более того, Рубину показалось, что следователь сочувствует ему или проникся какой-то странной симпатией. Он хмыкал и надолго замолкал, вглядываясь в Рубина, словно пытаясь расспросить его о чем-то постороннем и не относящемся к делу, но сдерживал себя и снова сидел с застывшим на губах вопросом. Был он молод, этот следователь, лет тридцати, безлик, аккуратен; в разговоре обронил как-то вскользь, что читал статьи и рассказы подследственного, так что очень удивлен его присутствием здесь. Третий вопрос был длиннее всех, ибо начался с трех подряд очных ставок: жухлые пожилые мужчины были совершенно незнакомы Рубину, он им тоже; фамилии их он уже знал по предыдущим вопросам. После их увели, и следователь, вежливо перед Рубиным извинившись, занялся собственным неотложным делом: он по телефону устраивал свою жену в кардиологическую больницу. Добившись удачи после трех или четырех звонков, следователь удовлетворенно откинулся на стуле и очень не по-казенному, доверительно и даже дружески сказал Рубину:

— Поразительно все-таки делят сейчас пациентов в больницах: на позвоночных и беспозвоночных. Слышали?

Рубин не слышал.

— Кто лежит по звонку, а кто — без звонка, — объяснил следователь. — Соответственно и отношение к ним. Правда, интересно?

— Правда, — согласился Рубин. Он сегодня странно как-то чувствовал себя — будто проснулся после длительной спячки или очнулся после тяжелой болезни.

Следователь длинно и значительно посмотрел на Рубина. Тень какой-то мысли промелькнула в его глазах, и зрачки сузились — так бывало и на первых двух вопросах, когда он долго и нудно, переспрашивая по многу раз, интересовался кругом знакомых и приятелей Рубина.

— Мой интерес к вам исчерпался, Илья Аронович, — сказал он официальным тоном. — Будем считать, что следствие закончено. Через неделю-другую получите обвинительное заключение. Могу сказать вам заранее: светит вам года три за хранение наркотика. От себя могу добавить: вы держались молодцом.

— Я никак не держался, — возразил Рубин. — Просто я здесь ни при чем, а как попал в эту завязку — ума не приложу. Честно я вам это говорю, не для протокола.

— Что ж, откровенность за откровенность, — следователь улыбнулся Рубину. Улыбка не красила и не озаряла его тусклое лицо. — Я тоже чувствую, что вы здесь ни при чем. И честно вам скажу, что не знаю, кем и зачем вы сюда впутаны. Однако отсидеть вам за это года два-три безусловно придется. Знаете, я думаю, что вы как раз из той серии позвоночных, о которых я вам только что говорил в связи с больными. И забудьте это, пожалуйста, немедленно.

— Но кому я понадобился? — изумился Рубин. — Зачем и за что?

— Не ведаю того, — следователь снова замкнулся в своей скорлупе. — И еще ваше счастье, что не возбудили дело по семидесятой статье, антисоветской литературы у вас достаточно хранилось. Кстати, это тоже кто-то вас уберег. Все, что у вас отобрано, выделено в отдельное дело, но дело это не возбуждено. Однако же оно лежит под вами, как динамит. Будете слишком на суде чертыхаться и дергаться, оно взорвется и добавит вам новый срок, когда вы уже отбудете заключение по старому делу. Так что совершенно по-дружески и по-мужски советую вам на суде не базарить.

— Понимаю вас, — медленно ответил Рубин. — А скажите мне, пожалуйста...

— Срок-то плевый, — перебил его следователь. — Но кому-то это было нужно. Смиритесь. Вы человек живой, общительный, вам на зоне слишком тяжело не будет. А там, глядишь, амнистия подойдет к какой-нибудь годовщине. Вы попали под какое-то случайное колесо и очень легко отделались, еще вспомните мои слова.

И следователь позвонил, вызывая конвой.

— Спасибо, — сказал Рубин, поднимаясь.

— Вот уж не за что, — улыбнулся следователь, и на этот раз улыбка его лицо украсила.

Рубина привезли обратно в Загорск уже под вечер, и попал он в прежнюю свою четырнадцатую камеру, чему очень обрадовался, ибо не было сейчас ни сил, ни желания знакомиться заново и общаться, а здесь он уже всех знал. Сидели с ним мелкие подмосковные хулиганы, незадачливый вор, грабивший зимой пустые дачи, двое пожилых спившихся бродяг, взятых за тунеядство, продавец, химичивший с мясом, — население простое и незамысловатое. К Рубину они относились не хорошо и не плохо — просто безо всякого интереса: типичный наркоман из культурных, а что отрицает свою вину — правильно делает, глухая несознанка — лучший способ вести себя на следствии. Да к тому же Рубин не играл в домино, не рассказывал никаких историй и невероятно много спал и курил, отключенно валяясь на нарах и думая о чем-то своем. Дольше всех он проговорил как-то с испитым бродягой Валерой — тот оказался его ровесником, хотя выглядел далеко за шестьдесят. Уработала меня судьба, сказал он Рубину. Злодейство судьбы заключалось в пьянстве, настолько многолетнем, что Валера даже не помнил, когда он последний раз ходил на регулярную работу. Жил он, в основном, сбором бутылок на стадионах после крупных матчей, но Рубину рассказал о еще одной своей профессии. В грязных вокзальных сортирах на станциях вокруг Москвы отбирал Валера портфели и чемоданчики у присевших по нужде приезжих. Только бедолага раскорячится над очком, рассказывал Валера со вкусом, я ему хлесть по бестолковке — он так в очко и садится. Пока встанет, пока штаны натянет, да еще дерьмо стряхнет — я уже от него за две станции ридикиюль его шмонаю. Пустяки все больше попадают, однако за ридикиюль всегда на бутылку выручаешь, а иногда и в нем уже бутылка есть или пожрать чего-нибудь. А бумаги, документы — это я в сортир не выкидывал, не зверь какой, я их аккуратно в мусорную урну положу где-нибудь, всегда найти можно, если очень хочется, их уборщицы ментам сдают. Сколько лет так промышлял, ни разу не попался.

После Валера из камеры ушел — за двушкой, как объяснил он, прощаясь: знал наверняка, что получит верхний предел за тунеядство — два года, и ничуть не огорчился. Самая пора мне подлечить организм, сказал он Рубину, и ты подтягивайся, вместе в санчасти покантуемся. Больше никого из сокамерников Рубину

разговорить не довелось, да он и не очень пытался: с утра до вечера жил он в гипнотизирующем, сковывающем потоке воспоминаний обо всем, оставленном за порогом тюрьмы. Воспоминания текли весь день, а ночью становились снами, и во всех снах он снова переживал разговоры, происшествия, встречи последних лет — словно окунался в ту былую жизнь и пролистывал ее, незримо в ней присутствуя.

Днем он чаще всех вспоминал Фальку: представлял себе, как тот ходил по камере, как разговаривал, играл в шахматы, шутил. В тюремной камере острая тоска по Фальку охватила Рубина сильнее, чем на воле, только здесь он понял и сполна ощутил, кого лишился. Время от времени всплывали слова Фальки, разговоры с ним, Рубин их записывал, вспоминая, — отнимают ли в тюрьме записи, он не знал, но на всякий случай писал так, чтобы только он мог их расшифровать. С раннего утра и до самого отбоя в камере не выключалось радио. На воле Рубин почти не читал газет, никогда ему не была интересна эта жвачка — здесь же он вынужденно слушал всякие известия и песни, радуясь, что не тратил на них времени раньше. Сокамерники с подъема до отбоя ожесточенно стучали в домино, разделившись на три четверти и подначивая друг друга. Рубин лежал на нарах и вспоминал то дом, то недописанную книгу, то стариков, которых успел или не успел расспросить. О своем деле, о близком суде, о загадочно попавшем к нему наркотику, о странном чекисте, спасшем его рукопись, думал он только изредка и быстро отвлекался.

Постоянно мучило его беспокойство за семью и чувство вины перед ней. Ира пойдет, конечно, работать в библиотеку, из которой ушла, когда родился Митька. Зарплата мизерная, так что Катька, кончив кое-как десятый класс, тоже немедленно пойдет работать — но что она умеет делать, домашний ребенок? Книжки продавать им будет жалко, да их и хватит только месяца на три.

Очень хотелось спать. В камере шел громкий разговор. Дебиловатый Колька, слегка вывихнутый во всех суставах и с искривленным позвоночником (последствия какой-то детской болезни) отработывал вслух свою защитительную речь на суде. Он сидел за изнашивание, на которое был спровоцирован. Три подружки-подавщицы из городского универмага решили за

что-то наказать четвертую, для чего устроили вечеринку, зазвав туда не избалованного женским вниманием подсобного рабочего Кольку. Девицы крепко подпоили его и здорово напились сами. Потом они все четверо разделись и немного поплясали перед ним; после этого три заговорщицы накинулись на четвертую и, держа ее, пригласили обезумевшего от счастья Кольку попользоваться подружкой, что он и не замедлил сделать. Пострадавшей это было настолько не впервой, что она со смехом рассказывала всюду, как забавно отомстили ей подруги за какую-то мелкую перед ними провинность, и рассказ этот дошел до ее матери. Та подала заявление в милицию; забрали и Кольку, и трех шугниц. Огромный срок ломился, разумеется, Кольке. Теперь он с пафосом репетировал свой оправдательный монолог.

— Гражданин судья, граждане народные заседатели, скажу я, гражданин прокурор, — посудите сами: ведь я ее не бил, не раздевал, не сильничал. Они сами ее раздели, сами повалили, сами ее держали, сами меня позвали и на нее толкнули. Разве же это насилие с моей стороны?

Колька остановился, подыскивая еще какие-нибудь слова, доминошники прекратили играть, ожидая продолжения речи. С нар возле окна лениво подал голос дачный вор Серега:

— А прокурор тебе на это скажет... — Серега сделал паузу для эффекта, и все теперь обернулись к нему, — прокурор тебе на это скажет... — снова пауза, — а чей был хуй?

Камера взорвалась хохотом, и развинченный в суставах Колька тоже ржал вместе со всеми, словно это ему, а не прокурору был подсказан убедительный аргумент.

Это все надо записывать, вяло думал Рубин, засыпая, все записывать. Когда попаду в лагерь, стану все подряд записывать, что увижу и услышу интересное. Может быть, в Ухту попаду. Бог наверняка не зря послал меня в такую творческую командировку.

1985-86 гг.
Москва

Эту книгу про Вас, уважаемый Николай Александрович, я закончил несколько лет назад, а сейчас опять сижу над ней — вычеркивая, правя, сокращая. Потому что невообразимое множество событий пронеслось за это время, потому что рухнула и распалась та империя, что некогда убила Вас и миллионы других. А еще потому, что сам я изменился и по-иному прочитал написанное раньше. Начав тогда расспрашивать старых зеков, я понял, что не смогу не записать услышанное — даже непосредственно не относящееся к Вам. Ибо их рассказы возлагали на меня какой-то долг, я ощущал его, не зная, как мне поступить. Тогда и сочинил я литератора Рубина, отдав ему свои черты характера, свои стишки, детали собственной судьбы и все-все-все, что слышал, переходя из дома в дом. В середине восьмидесятых это делалось еще с оглядкой, рукопись я прятал и совсем не ожидал, что нерешительная оттепель так полно и стремительно растопит монолитную незыблемую мерзлоту.

А закончив книгу, я уехал из империи, начавшей расплзаться. Так получилось. Нам с женой сказали замечательную фразу: «Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде». И мы сопротивляться не стали. Очень много всякого и разного я прочитал, увидел и передумал с тех пор. А рукопись так и лежала, дожидаясь издателя. Хлынул поток немислимых доселе сведений о лагерях тех жутких десятилетий и — естественная человеческая ситуация — немедля притупился интерес к этой запретной и закрытой ранее

области жизни. Многое из того, что мне хотелось сохранить и донести до читателя, стало содержимым общедоступных журнальных страниц. Хорошо, что книга про Вас перележала это шумное время. Хорошо, что она выйдет сейчас, когда в России еще только начинает проглядывать грядущая судьба. Я приезжаю туда время от времени, чтобы обнять друзей и почитать стихи, которые ходили раньше тайно из рук в руки (нас ведь потому и пригласили уехать). Среди множества записок в каждом зале (в каждом городе, где я бываю) непременно есть одна или несколько с вопросом: что вы думаете о будущем России? Большею частью я отнекиваюсь и отшучиваюсь, ибо ничуть не обладаю пророческим даром и недостаточно глуп, чтобы осмелиться на прогнозы. Но на самом деле я знаю, что я мог бы ответить на такой вопрос: я думаю, что будущее России будет прекрасным, когда в ней снова начнут рождаться и вырастать такие люди, как Вы.

Прощайте, Николай Александрович, спасибо Вам за счастье общения с Вашим образом и Вашей судьбой. Мне отчего-то кажется, что мы еще непременно свидимся с Вами в какой-то из жизней.

94 г.

Иерусалим.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая	24
Глава вторая	61
Глава третья	91
Глава четвертая	138
Глава пятая	187

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая	221
Глава вторая	276
Глава третья	336

Губерман И. М.

Г 93 Штрихи к портрету. Роман. — М. : Мол. гвардия, 1994 — 368 с.

ISBN 5-235-02244-0

Книга рассказывает о журналисте, который пытается по документам и рассказам написать о жизни и судьбе Николая Бруни, одновременно сталкивается с судьбами и жизнью в зоне многих репатриированных в разные годы Советской власти.

**Г 4702010201 — Без объявл.
078(02)—94**

ББК 84 87

ИБ № 7883

**Губерман Игорь Миронэвич
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ**

Художник Б. И. Жутовский

Техн. редактор Л. И. Курлыкова

Сдано в набор 06.07.94. Подписано в печать 28.07.94.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 19,32. Тираж 30 000 экз. Заказ 47216.
ЛР № 040224 от 20.01.92.

Отпечатано в типографии АО «Молодая гвардия»,
103030, Москва, Сушеvская, 21.

ISBN 5-235-02244-0

10

